

№ 2(8). 2015

Берега



Калининград

Берега

Литературно-художественный и общественно-политический журнал

Цитата номера

К полудню я управился с обрезкой сада на своих палестинах. Стоял, сняв и парящую шапку, и куртку. В саду посветлело, путаной сеткой обрезанных веток покрылся под ними снег. Ничего, завтра соберу, да возьмусь завтра и за брошенный сад, чтоб дать и ему воздуху, и своей усадьбе вольного утреннего света со стороны зари.

Александр Новосельцев

Пройдя тернистые дороги,
Босая, по своим грехам,
Иду к отцовскому порогу,
К твоим, Россия, берегам.

Татьяна Грибанова

Март 2015 № 2 (8)
Калининград

Главный редактор: Лидия Владимировна Довыденко

Телефон: +7 9118630467

E-mail: dovidenko_L@mail.ru

<http://www.dovydenko.ru>

Редакционная коллегия:

- Дмитрий Воронин** — заместитель главного редактора, раздел «Проза»,
E-mail: pimin00@rambler.ru
- Виктор Геманов** — член Союза писателей России
- Игорь Ерофеев** — член Союза писателей России
- Николай Иванов** — сопредседатель Правления Союза писателей России
- Александр Казинцев** — член Союза писателей России, заместитель главного редактора журнала «Наш современник»
- Юрий Крупенич** — член Союза писателей России
- Валентин Курбатов** — член Союза писателей России, член Совета по культуре при Президенте РФ
- Александр Николашин** — заместитель главного редактора, ответственный редактор
- Андрей Растворцев** — член Союза писателей России
- Светлана Супрунова** — заместитель главного редактора по разделу «Поэзия»,
E-mail: suprunova60@rambler.ru
- Владимир Шемшученко** — член Союза писателей России
- Олег Щерблыкин** — член Союза писателей России

Журнал зарегистрирован

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калининградской области.

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 39-00302 от 24 сентября 2014

Дата выхода номера в свет: 19 марта 2015 года

Тираж: 1000 экз.

Адрес редакции, издателя: 236010, Калининград, ул. Белинского, 44-58

Издание предназначено для лиц от 12 +

Дизайн обложки — Анна Степанова

Фото на обложке Валентины Архиповской

Вёрстка — Елена Балантаева

Отпечатано в типографии ООО «График Артс»

г. Калининград, проспект Мира, 5, тел. 92-14-90, e-mail: 921490@mail.ru

При перепечатке материалов, в том числе использовании их в электронных СМИ, ссылка на журнал «Берега» обязательна.

Редакция не несёт ответственности за содержание рекламных материалов, может не разделять точку зрения опубликованных авторов.

Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются.

Правила подачи материалов в журнал «Берега»

Материал, предлагаемый для публикации, должен являться оригинальным, не опубликованным ранее в других печатных изданиях. Присылаемые рукописи должны быть сохранены документом Word (шрифт — Roman, кегль 14, межстрочный интервал — 1). Текст не форматировать, не подчеркивать, разрешается части текста выделять курсивом. Файл называть своей фамилией, в начале текста — краткие сведения об авторе. Решение о публикации принимается редакционным советом журнала.

СОДЕРЖАНИЕ

Проза

Александр Новосельцев. Ивановы беседы. Из цикла рассказов «Иваново окошко»	6
Александр Проханов. Крым. Роман. Окончание. Начало в № 6 -2014, в №1(7)-2015	17
Наталья Романова. Шлоссберг. Повесть	86

Берега Воронежские

Александр Нестругин. Стихи	14
Сергей Луценко Стихи	73
Сергей Чернов. Музыканты. Рассказ	76
Иван Щёлоков. Стихи	79

Поэзия

Татьяна Грибанова Стихи	4
Анатолий Лунин. Стихи. Из цикла «Похвальное слово Слову»	82
Галина Димитрова. Стихи	111

Переводы

Миленко Ергович. Пасхальная притча с одного католического кладбища для иноверцев. <i>Перевод с хорватского Алены Солодовниковой</i>	130
---	-----

Публицистика

Дмитрий Стахорский. Украина — печаль и надежда	114
Мария Титенич. От Червонной Руси до пьемонта украинства	118
Михаил Полищук. Безвременно русский	123

Берега культуры и искусства

Владислав Краснов. Без царя в голове	146
Лидия Довыденко. Прорыв русского искусства	153
Марта Логвин. Рисование книги. <i>О творчестве художника Ильи Горностаева</i>	159

Безбрежный Русский мир

Оксана Карнович. О легитимности престолонаследия дома Романовых. <i>Беседа с князем Дмитрием Шаховским и Юрием Трубниковым</i>	136
Елена Лебедева. Один день в Монморанси под Парижем.....	142

Критика

Маргарита Шварова. Святая Москва Н.С. Арсеньева	166
Вячеслав Лютый. «Возговори, ночная чаша...» Чувство рода и земли в поэзии Александра Нестругина.....	170
Владислав Краснов. Рецензия на книгу Дмитрий Тамойкина «Советское золото и серебро»	181

Наши друзья

Наши друзья	184
-------------------	-----

Поэзия

Редакция журнала сердечно поздравляет Татьяну Ивановну Грибанову, талантливую, яркую, красивую, нашего доброго друга, светоносную, глубокую, жизнелюбивую, чье творчество — служение Отечеству, с юбилеем!

Татьяна Грибанова

Родилась в деревне Игино на Орловщине. Окончила факультет иностранных языков Орловского государственного педагогического института. Член Союза писателей России. Печаталась в отечественных журналах и альманахах, лауреат многих премий Всероссийских и Международных конкурсов и премий. Автор четырёх поэтических книг. Живёт в Орле.

* * *

Гукнет голубицей вечер на повети,
Бабушка лампадку Боженьке засветит.

У ключей атласных ленточкою алой
Догорят-погаснут кущи краснотала.

Заиграют в небе золотые рыбки,
«Спи, мой месяц ясный», – мати скрипнет зыбкой.

Заголосит сонный кочеток крылечный,
А в анисах песню заведёт кузнечик.

Дух укропный терпкий прокрадётся в сенцы...
Светом несказанным озарится сердце.

СОЛЬ

Листья смородины, зонтик укропа,
Перец забористый да чесночок.
Свойских огурчиков первая проба —
Намолосолим дубовый бачок.

Мама командует, я — на подпорье,
С детства на кухне знакомая роль.
«Батюшки, Таня, вот горе так горе!
К тётке скорее, закончилась соль!»

Хаты — бок о бок, тётка — соседка,
Настежь калитка, дохнуло парным.
Дома — нечасто, точней — очень редко,
Летом — на отпуск, зимой — к выходным...

Два великана в углу, две кадушки
Крупною солью до края полны!
Взгляд оценив, не стерпела старушка:
«Ты не отведала, детка, войны!»

Завспоминала под вздохи и ахи
Рабство в Германии, беженки путь:
«Горя пришлось под завязку хлебнуть,
Соль мне казалась послаще, чем сахар...
Знаю соль жизни.

И цену, и суть...»

* * *

Скатёрка льняная, с малиною ранней лукошко.
Веранда в плену у докучных, прожорливых ос.
В полынной дали — разглядеть из окна

невозможно —

Скрипит и скрипит вдоль просёлка
натруженный воз.

Июнь надломил духовитые первые соты
И снова на липы кропит в палисаде меда.
Просыпалась таволга пшёнкою за поворотом,
Где славят лягушки в купавах и рясках пруды.

В просвирник атласный шмели золотые слетели,
Из венчиков манной небесною сыплет пыльца,
В садах соловьиные всё ещё плещутся трели,
И верится: лету во веки не будет конца.

И ягодкой тает за свежими копнами солнце,
И воздухи манят и тайнами веют из роц.
Ах, бабий наш век! И всего-то осталось на донце
В лукошке пригоршня малины да реденький
дождь.

А мне бы обнять эти сизые, вольные дали,
А мне бы прильнуть к косякам обездоленных хат,
Чтоб (дай-то Господь!) мои дети со мною впитали,
Как пахнет в деревне малиной и мёдом закат.

* * *

Разве может быть так: за сто вёрст, а я всё-таки слышу —
 На Успение в мальвах в отцовском заросшем саду
 Осыпаются груши, грохочут по шиферной крыше,
 Мягко шмякают оземь, где осы их жадные ждут.

И горою гора, на сносях, в рыжих бархатных латках,
 Кошка Муська на стёжке лежит, будто дедов треух,
 И пеструхи, как бабы, судачат на луковых грядках,
 И бранится на них на чём свет заполошный петух.

Это дивное времечко в липовых, гречневых сотах!
 Снова семечки-звёзды роняет подсолнух луны.
 То ль от спелых плодов, а быть может, ещё от чего-то
 Сладко-сладко воркуют над хатой душистые сны.

* * *

Пыль-зола просёлочной дороги.
 Всё поля, поля да хлипкий лес.
 Придержи, отец, залётки-дроги.
 Чтобы стороной прошли тревоги,
 Видишь: ладят на распустье крест.

Православный. С образком. Дубовый.
 Из былых времён, издалека
 Светоч веры праведной Христовой.
 Нет для Родины пути иного.
 Вдаль бредут паломники-века.

Мимо не пройти, не затеряться,
 И кропит кипрейник, словно кровь.
 Может, сняли *здесь* Христа с распятия?
 Плащаницей — погребальным платьем —
 Стало *это* небо, *эта* новь?..

* * *

Когда-то гору называли Поповкой.
 Церквушку взорвали. Связавши верёвкой,
 Стащили кресты в тот же день с колокольни.
 Давно это было... Но, вольно-невольню,
 Бывая на месте израненном том,
 Себя осеняю поныне крестом.

Чуть выше сирень укрывает стеной
 Времён стародавних погост крепостной.
 Здесь кость на кости, среди них — мои предки.
 Век с веком сплелись, перепутались ветки,
 Замшели кресты, и сровнялись могилы.
 Здесь память и грусть моей родины милой

* * *

Мимо посадок дорога.
 Рябь от кукушкиных слёз.
 Зелень вдоль горки отлогой,
 Сосны меж рыжих берёз.

Родина! Тихое поле
 В дымке закатного дня.
 Светлой пронзительной болью
 Сердце щемит у меня.

Ситцем затянуто небо,
 Простенький сельский пейзаж
 Зёрнышком спелого хлеба,
 Каждой былинкою — наш.

* * *

Земля лугов душистых, росных,
 Российских далей глубина.
 О край июньских сенокосов,
 И синь прудов, и тишина!..

Вишняк за тыном полудикий,
 Горой сосновые дрова,
 Пучки сушёной костяники,
 Иван-да-марья, трын-трава,

Далёкий скрип телеги в поле,
 И вновь анисовый покой.
 Здесь всё идёт по Божьей воле,
 До неба здесь подать рукой.

Толпой бегут под горку сливы,
 И в окна, с простенькой резьбой,
 Крадётся вечер сиротливый,
 Дед спорит с кем-то за избой!..

Пройдя тернистые дороги,
 Босая, по своим грехам,
 Иду к отцовскому порогу,
 К твоим, Россия, берегам.

Проза

Александр Новосельцев



Александр Васильевич Новосельцев родился в 1958 году в Сталинграде. Член нескольких творческих Союзов: Союза Писателей России, Союза Писателей Сербии, Союза Архитекторов России, Советник Российской Академии архитектуры и строительных наук. Автор научных и научно-популярных книг и статей по истории и архитектуре Елецкого края, литературоведческих работ. По его проектам построены и отреставрированы храмы, жилые и общественные здания. Живет в Ельце и деревне Польское, рядом с Бунинскими Озерками. Пишет прозу, в которой преобладает тема родной земли, уходящей русской деревни и ее жителей. Первая же книга прозы А. Новосельцева «Пал» была отмечена высшей литературной наградой Союза Писателей России за 2006 г. — Большой литературной премией России. Его успехи в области литературы отмечены также Всероссийской премией «Имперская культура», Шукшинской и Бунинской премиями, Патриаршей Грамотой.

Ивановы беседы

Из цикла рассказов «Иваново окошко»

Весь март в деревне держалось осторожное тепло. Стояли ровные, матовые дни. «Наволоченные», как сказал Иван. И все эти безветренные, молочные дни я не отходил от дома и двух десятков шагов — все что-то делал рядом: обрезал яблони, таскал дрова, да спустился раз к пруду — набрать воды для хозяйства. Вода и харчи — в доме, дрова на верандочке — в три стенки, их и на всю зиму хватит с ежедневной топкой! И вот — первое утро с морозцем и — стал наст. Вечером взял я из припасов буханку хлеба — лучший подарок для непроезжей деревни, баклажку под воду и посулял на тот край деревни, к Ивану.

Иван только что пришел со двора — ходил за дровами. Следы его от крылечка видны лишь ко двору, к его небогатой дровяной кладочке. Прошлым летом пал зашел в его сад и сжег в нем двухлетний запас дров, едва не дойдя до дома и сараев. Во дворе у него дров хоть и немного, но на сиротскую зиму хватит, да и весна уже подошла. А в избе у Ивана едва теплее, чем на улице. Перед печкой лежат подстеленные мешки, на них охапка — штук восемь — поленьев. Иван стоит на мешках перед печной дверкой на коленях и, низко кланяясь печи, осторожно кладет в нее поленья. Тут же, перед дверцей топки — банка из-под консервов, в нее он макает двумя лучинами.

— А это что у тебя в банке — керосин?

— Соля-а-арка, — говорит он с довольным видом. И, намочив щепки, зажигает их спичкой и укладывает между поленьев. — Ну вот, — медленно говорит он, прикрывая дверцу печки. — И нету таперя нашего Николая Иваныча.

— М-да-а, — вздыхаю я. Последняя, самая скорбная для деревни новость — три недели назад в городе умер художник Коля Климов. Из-за больных ног он почти всю свою «деревенскую жизнь» простоял у своего крыльца перед мольбертом и нарисовал отсюда сотни деревенских видов: выгон, пруды за бурьяном, березки и лозины над прудами, наши домишки и лес на знаменской стороне. На Иванов вопрос: а отчего же он умер? в который раз уже рассказываю, как его настиг инсульт...

Молчим... Коля, Коля...

Смотрим на печку...

Дым из-за дверцы медленно идет в избу, пробивается между чугунных колец плиты, в щель за-слонки: на дворе сыро, тепло и безветренно. В три минуты его сырые рваные клочья, наполнив избу под самым потолком, опускаются все ниже, и мы сидим на корточках на полу, склонив головы ниже,

где меньше дыма. С полчаса дрова никак не разгорятся, и долго, несмотря на открытую в сени дверь, стоит в избе дым.

— Ну, ты посидишь? — этот вопрос Иван неизменно задает мне, надеясь, что я посижу у него, и будет ему с кем поговорить.

— Да посижу...

Дальше следуют неизменные вопросы: надолго ли приехал, и как добирался до деревни, и почему сразу не зашел. Свет окошка на моей стороне Иван замечает сразу — он как сигнал, что вот скоро и ему будет «беседа».

Сидеть у Ивана на месте долго нельзя — холод пробирает до дрожи. Топчусь у печки, где Иван стряпает ужин. Он сидит на маленькой скамеечке, подложив под себя ногу и облокотившись на широкую лавку, стоящую у печки и служащую ему и лавкой, и местом для стряпни, и подставкой, чтоб забраться на печь. Наливает из бутылки в кастрюльку воду, сдвигает кольца и ставит на открывшийся огонь свои кастрюльки. И все — не торопясь, с прерывистым дыханием. Стою у печки, а тепла нет нисколько — раз в сутки достается ей с полдюжины поленьев, и она не успевает прогреться. К концу топки воздух в избе едва только потеплеет на пару градусов, а спать Иван будет все в той же своей фуфайке, что на нем, укутавшись в одеяла и во все то, что хоть чуть способно сохранить тепло.

Сегодня он сварил макароны, кладет в них из банки остатки тушенки, и предлагает мне.

— Нет, Иван, я только чуть — за компанию.

— Ну, вот и хорошо.

Пар валит от тарелки с макаронами. Съедаю быстро — вкусно. Иван норовит подложить еще, и — как ни отказываюсь — он кладет добавки.

Иван снял шапку и сел за стол, но через пару минут, помаленьку черпая ложкой парящее варево, он медленно отходит с миской от стола и садится опять на свою лавочку у печки, склонившись над ней, продолжает есть.

Отъев пару ложек, оборачивается ко мне, проводит ладонью по волосам, чуть улыбаясь и, словно извиняясь, что ушел из-за стола, говорит:

— А то у mine макушка мерзнет...

Порция макарон, даже жирных, не согревает, хоть я не только не снял овчинного тулупа, как вошел, но, спустя минут десять, даже застегнул его под самый кадык.

Лишь после кружки чая чуть стал согреваться, стали отходить и застывшие в резиновых сапогах ноги.

За обедом я все пытаю Ивана, не нужно ли ему что привезти? И на все он, как обычно, отвечает уверенно:

— Ничего mine, Аляксандр, ня нада. Хлебушка вот принес — и спасибо.

И все у него, по его же словам, есть. Он даже перечисляет, побуждаемый мною, пытающемуся вспомнить — что же еще такое бывает нужно одиноко живущему человеку.

— Может, консервы какие?

— Консервы у мене усякия, вон банок полон стоять. — Он склоняется в углу над скамейкой, вынимая по порядку банки. — Вот у мене тушенка, вот куриныя, и рыбныя есть.

— А крупа?

— И крупа есть у мене усякая. Сахару мяшок цельнай. Я табе даже капускай угощу квашенай. — Он достает из банки. — На, пробуй.

Я пробую: солоновато, но — вкусно.

— Ну как?

— Вкусная. А с картошкой так вообще будет замечательно.

— Ну, вот и накладай себе, — и протягивает пакет и ложку.

Накладываю — иначе обидится и от меня ничего в другой раз не возьмет.

— Муцицы толька у мене нету. Затаялси бы блинчиков испечь, даже яичка у мене есть одна, а муки нету.

— Вот, — радуюсь я, что нашлось, что нужно привезти. — Муки, значит.

— Ну, с килограммчик толька.

— А иголки у тебя есть?

Задумывается — и я сразу предлагаю:

— У меня набор целый есть, иголок.

— А большая?

— Да всякие... больших, правда, особенно нет.

— А мелкия мне не годятся, я у их ушки не увижу...

Жалко. Сижу, вытянув ноги, перебираю в сапогах пальцами застывших ног — и вдруг вспоминаю:

— А тебе сапоги не нужны?

Он заинтересованно смотрит на меня, и я не отстаю.

— А то у меня вот такие же точно есть, я их не ношу.

— А они длинные?

— Да точно такие же вот, только я эти подвернул, а те прямые, до колен.

— Да ты меня, Ляксандр, уже и одел, и обул.

— Ну, что ты! Я все равно две пары носить не буду, а она, резина-то высохнет и их — хоть выкидывай.

Он заходит за кухонную загородку, вынимает из-за нее вдребезги разбитый, старый, потрескавшийся сапог. Из него торчит палка.

— А у мене вона какие.

— А палка в них зачем?

— А я на нее их вешаю, чтобы они прямые были.

— Ну, вот. Какие это уже сапоги — потресканные, дырявые.

Он ставит их обратно, за печную загородку, а когда выходит оттуда, то все таким же ровным, обычным голосом вдруг говорит:

— Да я б табе, Аляксандр, за сапоги в ножки бы поклонился.

Ну, что за человек! Сапоги его, конечно, жизненно интересуют — куда ж в деревне без сапог! Но ведь сдерживает себя — и лишь слова выдадут. Конечно, сапоги ему край как нужны, и он все так же спокойно спрашивает:

— А размер у их какой?

И за его внешним спокойствием видно, как же ему хочется, чтобы сапоги пришлось бы впору, да чтобы были они с высоким голенищем, да размером чтоб лучше чуть побольше — тогда можно и носок потолще надеть — и ходи где хочешь, и все тебе будет нипочем — ни грязь, ни вот такой же набухший снег, чуть не по колено.

Да милый же ты мой Иван! Я едва сдерживаюсь, чтобы тут же не сходить к себе и не принести сапоги. Но он, словно уже понимая это, спокойно предлагает:

— Ты завтра ко мне зайдешь?

— А как же — обязательно зайду! — и думаю уже о сапогах, и о пакете муки, без дела стоящем у меня в столе.

— Вот. Мы тогда с тобой картошечки достанем.

— Из погреба?

— Из погреба.

— Да давай сейчас схожу, достану.

— Нет, Аляксандр, не торопися. Уж темнеет, а ты без мене не достанешь.

— Да почему? Скажешь где лежит, я тебе наберу.

— Нет, там стенка у погребе завалилася, надо там потихоньку, а то не дай Бог! Осторожно там надо. Снег тама еще надо разгрывать.

— Так давай, сейчас пойду и разгребу. Там видно еще.

— Нет, сейчас ня надо. Он еще, может, нападает, снег-то...

Никакого снега и не предвидится, тем более такого, чтоб заново завалило, но у Ивана свои мысли, и я с ним больше не спорю.

— Ну что... Я тогда пойду, надо еще за водой сходить, а завтра зайду — и дела твои поделаем, — я встаю из-за стола.

— Заходи, заходи. У в обед заходи. Да капуску-та забяри. — И он протягивает мне пакет с капустой. — Дай, я табе провожу. Там, у сенцах, тьмно.

Он встает, идет в сени, включает там свет, привычно нащупывает на верандочке засов, приоткрывает осевшую дверь, скребущую наклонившийся пол веранды, и выпускает меня на крыльцо.

— Ну вот, Иван Филиппыч, пойду, свет у себя включу.

— Уключи, уключи, мне усе повеселей будеть.

— А тебе видать лампочку мою?

— Хорошо видать. Я-то усе сижу: тьмно, за лозинками ничего не видать, цельными вечерами — ни огонька, ни человечка.

— А к тебе давно кто-то заходил?

— Давно.... Вон, как пенсию приносил, сын Гальки — почтальонши. А так — никто. А как увижу огонек на твоей стороне, мне и веселя: О! — говорю, — Ляксандр приехал, может, зайдеть. Побеседуем. Хорошо мы нынче побеседовали.

— Хорошо, Иван Филиппыч. Спокойной ночи.

— С Богом!

Я делаю десяток шагов, и все еще не слышно, как дверь, закрываясь, скребется по полу. Видно, Иван все еще стоит, как обычно, уперев ладони в колени, тяжело вздыхая, дышит, будто долго бежал и остановился. И я останавливаюсь сам, оборачиваюсь:

— А то, может, надумал Иван, что привезти тебе, я ведь на днях еду в город на пару дней — и назад. Так что давай заказ.

— Да чаю... Бараночек если толька, да пряничка. Да много-то не бери — чуть только угоститься, а то дорога-то тяжелая.

— Вот и хорошо. Привезу.

Проснулся я рано — где-то на чердаке в сухих дубовых листьях шебуршилась мышь. Вышел на крыльцо. В предрасветной темноте над лесом, что к западу, к Знаменке, висело серебряное, молодого серебра блюдо луны, трогая своим холодным, печальным светом поднимающиеся от краев горизонта тихие облака. Тишина — до прозрачности: в машине, едущей за три-пять километров по знаменской дороге, слышно, как жужжит какая-то шестеренка и кажется — остановись сейчас машина и выйди из нее водитель, поглядеть — что там с шестеренкой, а кто-то нетерпеливо спросит его из машины: — Ну, скоро ты там? — и все это будет так ясно слышно, словно я стою рядом. Было зябко, но уходить в дом не хотелось, и я пошел в сад, посмотреть — как лучше его обрезать. Сразу за моим садом чернел гложивший, запущенный сад бывшей здесь когда-то усадьбы. За кущей спутанных ветвей холодно проглядывало небо. Постепенно светлея, оно будто оттаивало, быстро набухало теплой зарей. Когда я вернулся к дому, верхушки знаменского леса были облиты расплавленным янтарным светом — вышло солнце, и на плотной, густой синеве неба загорелись молодые березовые свечки. В те считанные минуты, пока солнце согревало предвесенний лес, я стоял, глядя на молодящуюся разноцветную деревню, и лицу было тепло от лучей юного солнца. И само солнце, неяркое еще, казалось молодым. Деревня все еще была погружена в синюю тень, розово светился лишь лес на высокой знаменской стороне. Иванов дом солнце отыщет позже — он зарос лозинами и открывается лишь к полудню; Иван год от года подпиливает лозины, но они от этого только разрастаются и буйно зеленеют шапками молодых, спорых к жизни побегов.

В устоявшемся тепле дома, пропитанного жилым духом, я все думал об Иване. В этих местах, где цивилизация является одной лишь приметой в виде столбов с проводами, скрывающихся в зарослях, не таким и нелепым кажется чувство, что время здесь остановилось пять сотен лет назад, и в самом Иване все живет «та Русь» — первобытная, отмеченная в однодворцах еще Буниным. Душевная, и духовная эта первобытность сохранилась в нем — ему бы «только хлебушка» — и боле ничего не надо!

В доме, по привычке, пока ставил чайник — одолел неистребимый соблазн — включить радио. И оно опять забубнило что-то из «того», не-Иванова мира, и самой важной вестью была о всемирном кризисе, беспощадно сократившем на две трети количество миллиардеров в мире, и о том, что Россия стала с первой аж на вторую строчку по их количеству. Я выключил эти страсти и подумал: а что б сказал Иван об этой горькой новости, если б у него работало радио.

«Ды какая ж горя!» — послышалась его интонация. Но так никогда он не скажет оттого, что его, по-детски блаженный, мир не может охватить той невероятной бездны, что так разделяет его,

лишенного простой и единственно необходимой роскоши, и оттого ценимой им — общения — от тех немислимых запросов «олигархов», покупающих в казино кружку пива за сумму, равную его двухгодовым пенсиям. И никогда они — те самые олигархи (да даже и не олигархи, а «простые» посетители этих неведомых Ивану казино) не поймут — как важна единственная ценность, которую способен оценить и определить такой человек, как Иван или одинокие старухи, безвыездно протрудившиеся от рождения в затерянных от руководящего ока деревнях — буханка хлеба. Черного. Вот она — пропасть нынешнего дня. И ее, эту пропасть между жизненной необходимостью и запросами олигархов никогда не сравнять, как не сравнять гор и низменностей на Земле. И есть лишь одна простая сила, что и оценит, и сравнивает их Там, пред Судом Божиим — заповеди, которым две тысячи лет. Уже тогда было сказано — и ничем пока не опровергнуто, разве только русскими благотворителями Третьяковыми и подобными им: легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царствие Небесное...

Игольное ушко. И я усмехаюсь над собственной привычкой буквально представлять все себе, будто увидев верблюда и это узкую, недоступную уже моим «севшим» глазам, игольную щель. Что-то ж я вчера об иголках вспоминал. Ах, ну да... Обещанные Ивану иголки. Я отыскиваю набор иголок, что хранятся у меня в ящике деревенского стола — и мелкие, и с большими ушками — для штопки, беру сапоги и пачку муки, да к ним еще и пряников... Подумал: сейчас ли сходить к Ивану или пойти обрезать сад. Нет, Иван подождет, он знает — я приду, и томиться в ожидании он не станет, а будет в обед топить печку. «Как дым увидишь, так и приходи, — говорит он обычно. — Я картошечки поставлю, пообедаем и побеседуем с тобой. У нас с тобой хорошия беседы». И я взялся обрезать свой сад, в котором стоят яблони, посаженные вернувшимся с войны прежним хозяином, и молодые, сажанные уже мной лет десять назад и так оберегаемые от зубов голодных зайцев и мышей.

К полудню я управился с обрезкой сада на своих палестинах. Стоял, сняв и парящую шапку, и куртку. В саду посветлело, путанной сеткой обрезанных веток покрылся под ним снег. Ничего, завтра соберу, да возьмусь завтра и за брошенный сад, чтоб дать и ему воздуху, и своей усадьбе вольного утреннего света со стороны зари.

Небо затянула белесая патина; с него, неплотного, спархивали снежинки. Мелкие, тихие, одинокие. Все в природе опять словно замерло в этой «нулевой» точке, ожидая: куда перетянет? Но за окошком даже в такой белесой тишине слетают с крыши капли. Редкие, мгновенно пролетающие и словно заполняют чашу весны — скоро совсем явно перевесит она, и бессильны уже будут и ночные морозы и даже большие снега — все сойдет, все стает. Собрал обещанные Ивану гостинцы, побрел по плотине. На деревенской стороне остановился: по левую руку белеют стены дома Коли Климова. Перед его крылечком на снегу едва видны заплывшие следы: сегодня три недели, как Коли не стало. Отсюда, с деревенского бугра, «с Колиной стороны» хорошо видна моя избушка, и вид этот он рисовал не раз. От дубовой полосы, стоящей у поля за моим домом, летит, шумя крыльями, пара воронов. Летят парой, и играют, резвятся на воле, набухающей весенними красками и запахами. Нет теперь художника Коли Климова, и не наберет он на свою кисть густой синевы, и не наложит на верхнюю половину холста, а потом, вытерев кисть, макнет ее в белое, выдавленное на палитру пятнышко и не проведет ее вертикально, обозначив холодный весенний ствол березы...

Коля, Коля... Как теперь без тебя деревня?

Я обернулся, чтобы идти к Ивану. Над трубой его избы уже вился дымок.

12 марта 2009 г. Польское — 22.05. 2013 г. Волгоград



Разговор с Иваном. Февраль 2009 г. Рисунок С. Гудилина.

Предпоследние

До чего ж зимой долги ночи в пустой далекой деревеньке.

Не спалось Ивану. Лежал, закинув руки под голову, смотрел в темноту. И вот — новое, о чем вдруг подумалось — никогда не думал он, что можно жалеть себя. Сроду не думал. А теперь, наслушаешься радио, по которому раз, другой нет-нет, да и скажут: вчера на таком-то году жизни умер такой-то, или после продолжительной болезни и задумаешься... Умирают люди, — думалось Ивану. — Помирают. — И вдруг подумал: а ведь мне-то уже куда больше, чем тому, который на семьдесят втором — то... И странно как-то, и неожиданно пришло к нему: а ведь и я помру.

— О как! — подумал вслух и пошевелился, словно проверяя — я ли это. Он...

За окном — зима, ночь, темень безлунная. С утра еще заволочло небо, день — и тот словно в сумерках прошел, а теперь и вовсе не то что в избе, а и на дворе ничего не видать, хоть и снежно. Он вытянул руку — нет, не видать, поднес ближе, к самым глазам — и так не видать. И до того неуютно, до того томительно стало... Ничего не видать, никаких признаков жизни, часы — и те стоят второй день. Одно лишь дыхание с присвистом. Он полежал, слушая, как в груди что-то тихонько сипело, словно дрожал какой-то язычок; задержал дыхание. Стало так тихо, что уши сдавило. Он закашлялся, зажег свет.

Оказалось, что прежде некогда было и подумать о смерти: все работа, все дела домашние. Когда и думать-то. А теперь — пенсию носят, здоровье неважнецкое, кашель одолевает.

Остались они в деревне двое. Два старика. Зимой поле так переметает, что автолавка, и та не проезжает. Раз только за зиму приезжали на вездеходе электрики, счетчики проверяли — не воруют ли свет. А так — только на лыжах эти пять километров до магазина в соседней деревне, да и то, если с силами соберешься. Ивану с его болезнью тяжко, Алексей ходит чаще — раз в неделю, но хлеб берет только себе. С Иваном они в старом разладе. Утром возьмется Иван сухари мочить, подсядет

с кружкой кипятка к столу, в окошко глянет — вот и след свежий мимо окна — ага, пошел Алексей за хлебом. Не углядел Иван.

Еще Ивану представлялось — как же это, если он умрет. И вдруг вспомнил: а ведь в окошке света — то нет. Он подумал хорошенько: точно или нет? Да нет же, он и руку подносил, и все равно не видно было ее. Обычно-то от Алексеева окна и в Ивановой избушке чуть виднелись часы на стене. Он погасил свет, едва дождался, когда глаза снова пообвыкнут к темноте, с нетерпением отодвинул занавеску. У Алексея всегда ночью лампочка в сенях горела, и ее всегда видно из окошка. Всегда, а теперь — нет. Иван протер рукавом окно — может, мешаает что-то? Но в темноте не видно было ни огонька, едва угадывалось зарево от соседней деревни в трех километрах отсюда. А огонька Алексея не видно.

— Может, и не зажигал? — сказал Иван. Он последнее время часто говорил вслух сам с собою, так было легче быть одному. — Может, приболел?

Алексея Иван видел позавчера, тот спускался к пруду. Шел медленно, осторожно, долго пробивал лунку топором, черпал ведром, потом, пока поднимался, два раза останавливался. Видно, болеет Алексей.

Зима — не лето, деревня пустая. Летом гостей, ребяташек, дачников — полон. Шум стоит на пруду, с утра уже, чуть свет рыбаков видать. Потом — день тихо разгорается в окошках, тогда можно и не ждать, а накинуть зипун, чтобы не зазябнуть, и выйти да посидеть на бревнышке перед домом, ожидая, когда солнце от едва угадываемой ласки на лице начинает все больше прогревать, и он сначала расстегивал ворот зипуна, потом уже не прятал стынущие руки, поначалу валетом засунутые в рукава, пока не становилось совсем жарко. Тогда он снимал тулуп. Как раз кончалась утренняя поклевка и от пруда поднимались рыбаки. Он дождался, пока они подходили ближе и спрашивал: Ну, как, рыбы много? — и не дождался ответа, а сам отвечал. — Полон пруд!

День летний долог, а ненадоедлив. Зимой же редкий день порадует солнцем, и кажется, что нет ни конца, ни края ни ночам, ни зиме.

И вот мысли у Ивана: ведь кто-то из нас, рано или поздно, а первым умрет. Ой, как не хотелось бы умирать-то первым. Пожить еще, выиграть этот поединок. Мысль о смерти оказалась страшной: ведь не будет тогда ни холода, ни изнуряющей жары, тяжелых, ставших с возрастом почти непосильными, работ по посадке и уборке картошки, ни мучающего, в жару — особенно, кашля. Но ведь и ничего вообще не будет: ни этих летних зорь с сидением на бревнышке с ласкающим солнцем, ни разговоров с проходящими мужиками. Не будет и стопки по праздникам, когда из соседней деревни нет-нет, да приедет прежний его сосед Витька, перебравшийся пятнадцать лет назад ближе к школе, где учились его ребяташки, но по-прежнему сажающий картошку на своей родовой усадьбе. Не поможет ему Витька вспахать поле, и само поле не будет больше радостно, мучительно тревожить сырым запахом отходящей от зимы, теплой земли. Ничего не будет... Но и эти мысли не были такими страшными: не будет, ну и не будет, ни хорошего, ни плохого, все для него сравняется, придет в равновесие, баланс. Но пришли мысли еще страшнее, оттуда, откуда придти должна была мысль о странной победе в старом, непонятно откуда в их с Алексеем начавшемся соревновании — кто первый. В школе оба хорошими отметками не отличались, как ни старались, в драках деревенских друг перед дружкой ни тот, ни другой верх не брали. Да и в начальники не выбились — всю жизнь в рядовых колхозниках. Алексей, правда, побригадирил немного, но его из-за кражи в бригаде быстро сняли. Девка, за которой оба в парнях ходили, не досталась никому. Потом их извечное деревенское соревнование — у кого раньше народится телок, или у кого картошка крупнее, или... Да мало ли что! В один год овдовели, у обоих дети далеко — не докличешься который год. И вот теперь — кто первый. Помирать. Кто же победителем выйдет? Кто будет стоять на краю могилы соперника? И Иван потешил себя мыслью: ну, пусть тут-то Алексею он уступит, пусть Алексей будет первым. А он останется жить. Радоваться каждому рассвету, мучиться со своими болячками, тянуть одному эти долгие холодные ночи... Да что говорить- то — жить! Ну, победил он, похоронил Алексея, живет один. Не так как сейчас — один. Он-то сейчас все одно не один, ведь Алексей-то рядом, хоть и не ходят они друг к другу. А, выходит, он все-же не один. А помри Алексей, и никто не будет высматривать в окошко — выходил ли нынче Иван? Иван-то знает, что Алексей высматривает его, так же, как незаметно для себя и он ищет приметы Алексеевой жизни и ревностно отмечает их:

зимой лишь на мгновение окинет взглядом Алексеев дом — ага, вон и следы на снегу. Пусть тот и не ходил за водой, а только вышел на крыльцо и на нем постоял или приступки подмел — все видать. Осенью ведро оставит у крылечка, или удочку летом, или рубашку стиранную повесит, да хоть и снимет, а все ж — примета. Спокойнее становилось ему. И понял Иван, что, сам не замечая, день за днем делал то же самое!

И вот теперь, ежели помрет Алексей первым, то уж его очередь наступит непременно. Рано или поздно. Коли летом, когда дачники в деревне, его будут высматривать те же рыбаки: нет его на бревнышке утром, зайдут, стукнут в окошко — не раз уж так было, вроде как поздороваться, а ежели зимой, вот как сейчас? А ты — последний.

— Победитель хренов, — с досадой сказал Иван и стал собираться. Укутался потеплее, взял фонарь, вышел на улицу. Постоял у крыльца, не зажигая фонаря, потоптался, выглядывая с надеждой: может, ветка старой ветлы, стоявшей как раз у Алексеева окошка, сломалась и закрыла его? Нет, не видно огонька. И он пошел, все еще не зажигая фонаря, привычно нащупывая на дороге колдобины. Сердце его заколотилось. У плотины он остановился: Чего это я всколготился? У него, может, лампочка перегорела? И всех делов-то!

И так это ему показалось просто, что он уже собрался идти назад, и сердце заколотилось еще сильнее от радости. А ежели нет?

— Ежели — нет, тогда чего? — сказал он, и поглядел через плотину, на едва видневшийся Алексеев дом. — А я вот чего сделаю!

Он вернулся домой, нашел на полке лампочку, сунул ее в карман и пошел опять. Он часто дышал, но не кашлял, он вообще за это время, пока вышел на улицу, не кашлянул ни разу, но теперь почему-то и не удивился этому. Некогда было. Он подошел к плотине, опять к тому месту, на котором стоял. Ему надо было решить — точно ему идти к Алексею или вернуться домой?

Может, утром схожу?

Но он понял, а что, если бы Алексей за день не заметил его следов на улице, и не пришел бы, каково было бы? И хотелось бы ему, чтобы Алексей не пришел, ведь ему же тогда должно быть все равно. Лежал бы и остывал бы вместе со своей избой. И понял, что — не все равно. Он — хотел бы. И он зажег фонарь и пошел, думая, что будь что будет, что он ко всему готов и что Алексею, может быть, было так плохо, что он не мог подняться.

У крылечка он остановился, решая, в окошко стукнуть или в дверь, и вдруг дверь открылась, на остекленной веранде брызнул свет, и осветил двор с истоптанным перед нею снегом и стоящего на пороге, улыбающегося Алексея.

— Тьфу, дурак! — Иван опустился на крыльцо, держась за левый бок.

Алексей склонился над ним:

— Ты чего, сердце прижало?

— Нет, ничего, — и Иван зашелся в кашле. — Я тебе, кха-кха, я лампочку... кху, кха, я тебе, дураку... кху, кху ... и-кха, и-и-кх.

Никак не мог откашляться, трясся всем телом и, стараясь не глядеть на Алексея, протягивал ему лампочку.

4-8 января, Польское, 2015 г.



Берега Воронежские

Александр Нестругин

Александр Гаврилович Нестругин родился в 1954 году в селе Скрипниково Калачеевского района Воронежской области. Окончил юридический факультет Воронежского государственного университета. Публиковался в журналах «Наши современники», «Молодая гвардия», «Роман-журнал XXI век», «Подъём», «На любителя. Русский литературный журнал в Атланте» и других. Автор семи сборников стихов. Лауреат премии «Имперская культура» им. Э. Володина, международного литературного конкурса им. А. Платонова «Умное сердце», им. С. Есенина. Живёт в райцентре Петропавловка Воронежской области.

* * *

Здесь, где филин лает на луну,
Здесь, где лес-валун и листьев пена,
Я держу свои слова в плену —
И зову, зову бежать из плена!

Этот луг до самых звёзд открыт,
И раскрыты звёздные скрижали.
Но повсюду лунный свет стоит,
И слова к молчанию прижались...

* * *

Как шуршит, шелестит, шевелится толпа!
Сердце медлит, сверяя: «Свои — не свои».
...А под кронами дней — ледяная крупа
И опавшей листвы ледяные слои.

Жизнь моя, ты случилась судьбой, не игрой:
Ветер встречу — да секущие брызги крупы...
Как пружинит, как дышит лесной перегной,
Когда вновь ухожу от набитой тропы!

Он ещё не промёрз... Он листвою согрет —
Этой вот, ледяной... Но верней и сильней —
Той, что падала тут — там, за тысячи лет —
И упруго кружит меж тяжёлых корней.

И её не собьёт ледяная крупа
И потуги подошв моих — тяжких, литых.
Недвижима, незряча, глуха и слепа —
Та листва отогреть эти кроны летит...

* * *

Никто не звал остаться с ней,
С дорогою, где в прахе тонут
Столетия, — но песчаный свей
С утра строкой ничьей не тронут...

Сухой хвоинкой, не пером
Ты поведёшь судьбу по свею —
И смеркнет вихрь, и смолкнет гром,
Хвоинке помешать не смея...

Поклон

старинному романсу

Пусть манит свечкой синеватой
Сквозь побелевшую кугу —
Не говори ты с поздней мятой
На опустевшем берегу.

Не говори; в пустыне ночи
Не вспоминай и моли, —
Хоть вы росли из одиночеств
И не ко времени цвели.

И неосыпавшимся цветом
Не достоять вам до зари...
Не говори ты ей об этом,
Себе о том не говори!

Пусть манит свечкой синеватой
Сквозь побелевшую кугу —
Не говори ты с поздней мятой
На опустевшем берегу.

* * *

Проснёшься ты: окно в узорах,
Все звёзды, насыпом, твои,
А гусь пролётный на озёрах
Раскачивает полыньи...

Покой, надёжный и дремотный,
И — бред зазимков и порош...
Ты повторишь: «А гусь пролётный...» —
И больше слов не соберёшь.

Оденешься, из дома выйдешь,
И там, где стынет чернотал,
Вдруг воду чёрную увидишь —
Ту, что повыплеснулась там...

* * *

Среди ничьих речных потёмок
Стоишь — как будто виноват.
Что голос был не слишком громок —
Не для речей, не для эстрад.

Что не услышала Россия...
Но для кручины нет причин:
Твоё негромкое осинник,
На губы глядя, заучил.

* * *

Я не просил судьбу: замолви
Словцо пред стужей за меня!
Я ладил сам себе зимовье —
И сам засеял зеленыя.

Я сам, как дым, над стужей вырос,
Сам, как росток, себя согрел,
Но не хотел, чтоб свет весь вымерз,
А я зато остался цел.

Я сам надежду, как синицу,
Что заманил в силки мороз,
Нашёл — и сунул в рукавицу,
И, замерзая, к людям нёс...

Молодость

Стерляжий мыс... И в горле ком.
И всё стоит перед глазами:
Мы огненную воду пьём,
Пьём ночь, галдим, как на базаре.

А нашу дружескую речь
Роса лозою долу клонит.
И хочется былинкой лечь
В траву, где век чужой не тронет —

Ни в тёмном сне, ни наяву,
Где шум дубов — не шелест денег,
И я, откинувшись в траву,
Звезду ресницами задену...

А сердце бьёт меня: «Трезвей!»,
И я безмолвье расклоняю,
Как не нашедший брода зверь,
С обрыва шорохи роняю.

И осокорник, став на край,
Качнётся, бездну освещая,
Прошепчет: «Саш, не умирай!» —
И я ему пообещаю...

* * *

Ничего не надо лишнего...
Только плащ и только дождь —
Не приятельства столичные,
Не застолія галдёж.

Только жизнь, и там со сколькими
Хороводы не води,
Лишь обрыва глина скользкая
Да бессмертие в груди.

Сказка

...Дразнил её: «Мой головастик!
Когда царевной станешь ты?» —
И подарил однажды ластик —
«Стереть случайные черты».

Обидеть не хотел глубоко,
Он так шутил, не обижал,
Она же приютила Блока,
Что возле мусорки лежал!

Он говорил: «Всё носишь, носишь —
И к ним сбегашь по ночам...
Твой стихоплёт таких курносых
Разинь — в упор не замечал!»

И было ей темно и душно,
И был один, кто утешал:
Отволпый уголок подушки
В лицо ей жалостью дышал.

И сон пришёл, смешное горе
Смахнув, как крошки со стола...
И девочка в церковном хоре
С небес к ней ангела звала.

И ангел, брат родной туману,
Что на руках носил Оку,
Сошёл — открыть глаза Ивану,
Её Ивану-дураку...

* * *

Не вспомнят? Может, и не вспомнят...
Нас много, трудно помнить всех.
Но всё равно слова из комнат,
Слова крылатые из комнат
Не отпустить на волю — грех.
Пусть воробьями липнут к липам,
Зовут родней синичий люд

И, тая журавлиным кликом,
В глазах заплаканных живут...

* * *

Тот ледоход оковы рвал,
Не заикался и не мялся —
Тот, что меня на кручи звал
И в сердце глыбисто вздымался.

Он журавлям кричал: «Курлы-ы!»,
Крылат от края и до края,
Вода шарахалась в талы,
Дорог, дворов не разбирая.

И я кричал, и я бежал —
По краю, дуралей, по краю!
...А кто мне нынче сердце сжал,
Кто вывел на берег? Не знаю...

Хоть голос не похож на тот,
Я всё стою, стою и стыну.
Понурий, постаревший лёд
Волна подталкивает в спину.



Проза

Александр Проханов

Александр Андреевич Проханов — писатель, публицист, общественный деятель. Родился 26 февраля 1938 года в Тбилиси. Член секретариата Союза писателей России. Главный редактор газеты «Завтра». Лауреат премии Ленинского комсомола. Кавалер орденов Красного Знамени, Трудового Красного знамени, «Знак Почёта», Красной звезды. Автор свыше тридцати книг, переведенных на многие языки, к самым известным из которых следует отнести «Семикнижие», «Господин Гексоген», книга из 4-х частей «Поступь русской победы». Лауреат премии «Национальный бестселлер», Международной Шолоховской премии, Бунинской премии, имени Н.С. Лескова, «Белые журавли России», «Золотой Дельвиг» и многих других.

КРЫМ

Роман

Окончание. Начало в № 6 - 2014, № 1 (7) - 2015.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Лемехов возвращался в Москву через Бейрут и Стамбул. Аэропорт в Дамаске был закрыт. Повстанцы обстреляли пассажирский самолёт. Самолёт, получив повреждения, совершил вынужденную посадку. Бойцы спецназа из охраны посольства сопровождали его до Бейрута и посадили на борт. Он видел в иллюминаторе море и крохотные корабли, оставлявшие на воде окаменевший след. Он перебирал чётки, с усмешкой представляя, как именитый художник Филипп Распевцев изобразит его на портрете в вальяжной позе, в домашнем кабинете с чётками в руках. На его груди, под рубахой, висел алюминиевый крестик, и где-то, уже бесконечно удалённый, мчался в боевой машине солдат, его брат во Христе.

Лемехов стремился в Москву, исполненный веры, сосредоточенный, готовый к свершениям. Он выдержал ещё одно испытание. Тогда, в Сталинграде, у заветного фонтана, его испытали водой. Здесь же, в пылающей Сирии, его испытали огнём. В Сталинграде он слышал шёпот волшебных струй. В Сирии он слышал «скрежет пуль по броне».

Он искушал судьбу, подвергал себя страшному риску, как в «русской рулетке» у смертельной черты. Желал убедиться в том, что судьба к нему благосклонна. Что он избранник судьбы, и над ним простёрта «длань божья». И он убедился в этом. Теперь он возвращался в Москву, чтобы продолжить своё неуклонное движение к власти.

Он представлял, как встретит его в аэропорту синеокий чародей Верхоустин, и они обсудят грядущее взаимодействие с членами «тайного ордена». Как партийный «канцлер» Черкизов расскажет о волшебных технологиях, с помощью которых «Жёлудь» будет пересажен на партийную почву, и из него взрастёт дубрава русской цивилизации. Как преданный заместитель Двulistиков сообщит о подготовке грандиозного космического старта.

Лемехов перебирал чётки, смотрел с высоты на Средиземное море, и могучие турбины несли его в небесах к заветной цели.

Стамбульский аэропорт был грандиозным месивом разноязычных народов, которые сдвинулись со своих насиженных мест, текли по миру, сталкивались, слипались, вновь распадались, вовлечённые в кружение по континентам. Словно искали и не находили заветного места.

Ночью в самолёте из Стамбула в Москву он погрузился в дремоту. Его сон напоминал мглу, в которой что-то рокотало, переливалось, струилось. Эта мгла вдруг сложилась в отчётливый образ. Он видел купол, построенный из грубых камней, какие бывают в старинных палатах и храмах. Под этим куполом, глубоко внизу протекало действие — то ли многолюдное собрание, то ли церковная служба.

Пёстрые оживленные люди, огоньки, детские и женские лица. Купол над ними начинал сотрясаться, камни шевелились, крошились. Сверху на них давила чудовищная сила. Вся устойчивость кладки держалась на одном-единственном камне, помещённом в центр купола. Этот «замковый камень» дрожал, был готов упасть. И тогда вся груда камней обрушится на людей и раздавит. Он, Лемехов, подпирает руками «замковый камень», не даёт упасть. Чувствует жуткое дрожание свода, страшную силу, сокрушающую кладку. Руки его отекают кровью, жилы набрякли и рвутся. Он из последних сил удерживает «замковый камень», чувствуя чудовищную, неземную природу этой кромешной силы.

Очнулся от глухого толчка. Самолёт выпустил шасси, снижался. За окном в утреннем свете зеленели подмосковные леса, сияли озёра и реки, переливались крыши посёлков.

В вип-зале он ожидал увидеть встречающих. Рукопожатия, приветливые лица, бодрые пожелания. Дорожный саквояж — в руки охранника. Беглый обмен впечатлениями. Глаза Верхоустина, которые станут подобны василькам, когда он услышит о «скрежете пуль по броне». Уютный, с запахами лаков и кожи, салон автомобиля. По пути в Москву — несколько неотложных звонков. Голос Ольги напоминает переливы флейты. Сказать ей или нет о золотом кольце с изумрудом? И прямо с аэродрома, не заезжая домой, — на работу, проводить совещание работников космической отрасли, посвящённое «лунной программе».

Он сидел в вип-зале, но встречающих не было. Он принялся звонить Двulistикову, телефон молчал. Принялся звонить охране, но та не откликнулась. Молчали телефоны Верхоустина и Черкизова. Он не понимал, что случилось. Встал и направился к выходу. На выходе он встретился с шофёром, который пугливо и неуверенно приветствовал его.

— Что случилось? Сколько я могу ждать?

— Я не виноват, Евгений Константинович.

— Какой там «лунный проект», если на земле сплошное разгильдяйство!

— Вот, смотрите, Евгений Константинович.

Шофёр протянул ему правительственную газету, где на первой полосе, под рубрикой «объявления» было краткое сообщение: «Указом Президента РФ освобождён от должности заместителя Председателя Правительства РФ, курирующего оборонно-промышленный комплекс, Е.К. Лемехов. Временно исполняющим обязанности назначен Л.Я. Двulistиков».

Лемехов, ошеломлённый, смотрел на заметку. Так стремительно несущийся автомобиль ударяет в бетонную стену. Секунда остановки, за которой начинается крушение...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Лемехов из аэропорта помчался на работу в Дом Правительства, чтобы там найти объяснение случившемуся. Заместитель Двulistиков, верный соратник, закадычный друг Лёня откроет ему интригу, объяснит недоразумение, поможет его уладить. Ошибка прессы, ложная информация, административная путаница — всё это будет устранено и исправлено. А виновные — будь то зловерные журналисты, или нерадивые чиновники — подвергнутся жёсткому наказанию.

Он почти бежал по коридору, приближаясь к своему кабинету, замечая, как редкие сослуживцы, встречаясь на пути, испуганно шарахаются. Он готовился увидеть Двulistикова, подыскивал первые, ироничные фразы, в которых должны отсутствовать возмущение и растерянность, а напротив, быть свойственная ему твёрдая властность. Ту, которую он проявлял в своих отношениях с заместителем. Но когда он подбежал к кабинету, на дубовых дверях висела таблица, где чёрным по золоту значилось: «Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Двulistиков Леонид Яковлевич».

Лемехов почувствовал, как что-то лопнуло в голове, и золотое превратилось в красное. Он смотрел на траурную чёрно-красную надпись, и мозг его заливало липким и жарким, как при кровоизлиянии.

Он шагнул в приёмную, увидев ужаснувшееся лицо секретарши, пролепетавшей:

— Евгений Константинович!

Толкнул дверь в кабинет. За его рабочим столом, в его кресле сидел Двulistиков. Завершая разговор по правительственному телефону, властным жестом возвращал трубку на место. И прежде,

чем сосредоточиться на Двудлистикове, Лемехов успел бегло осмотреть кабинет, обнаружив перемены. Исчезла фотография, на которой Лемехов стоял рядом с Президентом Лабазовым на фоне «истребителя пятого поколения». Её заменила фотография Двудлистикова на фоне баллистической, готовой к старту ракеты. Произошли изменения на маленьком столике, где Лемехов собрал несколько «фетишей», напоминавших о крупных производственных достижениях. Там находилась лопатка турбины сверхмощного авиационного двигателя, голубоватая линза прибора звёздной навигации, «умная пуля», не ведающая промаха. Всё это исчезло, и на столике появился лакированный деревянный корень, напоминавший лесного старичка. Двудлистиков был равнодушен к лесным деревьяшкам, вытаскивая из них забавные фигурки.

Исчезновение любимых «фетишей» и замена их на чужого идола сразили Лемехова. Захват его рабочего стола и кресла, хозяйский жест, которым Двудлистиков держал телефонную трубку, искоренение святынь, разрушение духовных символов, связывающих Лемехова с делом всей его жизни — всё это было чудовищно.

— А ты не поторопился прилепить своё смехотворное имя к дверям моего кабинета? Не поторопился приволоочь сюда своего дурного уродца? Своего деревянного чёрта, который мерещится тебе в каждом сучке? Не думаешь, что вся эта дурь будет сложена в мешок и выброшена на помойку? — Лемехов чувствовал, как едкая кислота жжёт горло, как разливается по жилам укусовая ирония, как презирает он сидящего в кресле Двудлистикова.

— Этот кабинет теперь мой. А ты — всего лишь посетитель, который вошёл без стука. Вместо того, чтобы записаться на приём.

Двудлистиков оставался сидеть, и Лемехова поразило его лицо. Все те же маленькие, сдвинутые к переносице глаза, обведённые красной кромкой. Тот же утиный нос в микроскопических капельках жира. Те же плотно прижатые уши с белыми, словно отможенными, хрящами. Но в этом лице не было обычной угодливости, собачьей преданности, стремления угадать малейший каприз Лемехова и кинуться его исполнять. Лицо Двудлистикова было злое, жестокое. Лемехов напоролся на это лицо, как на невидимый кол.

— Как? Это говоришь ты, который слепо выполнял все, даже самые ничтожные мои поручения? Кто клялся мне в верности и любви? Говорил, что готов кинуться и заслонить меня от пули? Что я твой кумир? Что я статуя на носу корабля, которая указывает тебе путь в океане? И теперь ты говоришь, что я должен записываться к тебе на приём?

— Нет, ты не статуя на носу корабля. Ты не мой кумир. Я не кинусь заслонять тебя от пули. И больше никогда не выполню ни одного твоего поручения. Я ждал, когда ты придёшь в этот кабинет, в котором столько раз меня унижал. Ждал, когда ты придёшь, и я скажу, как я тебя ненавижу.

Двудлистиков произносил слова длинно, чтобы они звучали дольше и причиняли Лемехову больше боли. Так мучитель отрезает у жертвы кусочки плоти, насыпая в порезы соль.

Двудлистиков возбудился. Как всегда, в моменты волнения его железы стали выделять едкий запах, как это делает пахучий зверёк. Лемехов чувствовал отвратительное зловонье, которым Двудлистиков метил кабинет, закреплял его за собой.

— Я ненавижу тебя! Ненавижу сейчас, ненавидел вчера, ненавидел всю мою жизнь! Ненавидел твою великолепную квартиру, изысканную мебель, хрустальную люстру, библиотеку твоего отца с английскими и французскими фолиантами, дорогой фарфор и хрусталь, который твоя мать выставляла на стол во время обедов. Твоя благополучная великосветская семья была не сравнима с моей, бедной, шумной, грубой, с частыми ссорами в нашей утлой квартирке, в пятиэтажке, рядом с дымной Капотнёй. Ты помог мне написать сочинение, исправил в слове «удовлетворительный» три ошибки. Как я тебе ненавидел за это! В институте я не отходил от тебя, оттенял тебя, был уродливым фоном, на котором ты ярче блистал. Девушки обожали тебя, и ты выбирал самых красивых, самых недоступных, а мне доставались те, которых ты отвергал. И они, находясь со мной, продолжали тебя обожать. Ты занимался русскими общинами в Казахстане и на Украине. Тебя принимали как объединителя русских земель, как спасителя Русского мира. А я ненавидел тебя за твой успех, за ту наивную и чистую веру, которую ты внушал обездоленным и обманутым людям. Когда ты стал депутатом Думы и взял меня помощником, себе в услужение, как я ненавидел тебя во время твоих блистательных выступлений, во время интервью, во время эфиров на радио и телевидении. Когда тебя пригласили в Академию генштаба, и ты читал курс геополитики заскорузлым генералам, я видел, как

твой интеллект превосходит все эти приземлённые тупые умы, не способные видеть мир в целом, а только его случайные осколки. И я ненавижу тебя. Я подражал тебе во всём. Покупал костюмы в тех же бутиках, что и ты. Ходил стричься в те же салоны. Старался усвоить твою походку, вальяжную, плавную, как у сытого хищника, готового мгновенно осуществить смертельный прыжок. У меня получалась карикатура, и надо мной смеялись. И я тебя ненавижу! В министерстве я делал за тебя всю черновую работу. Я таскался по всем загнивающим предприятиям, улаживал склоки между армией и оборонной промышленностью, падал в обморок на бесчисленных совещаниях. А ты барственно появлялся на пусках ракет, на испытаниях танковой брони, на открытии авиационных заводов. Тебе удавалось несколькими эффектными фразами описать всю крошечную, дённую и ночную работу, которую я выполнял. И начальство благодарило тебя, награждало, повышало по службе. И за это я тебя ненавижу! Я шёл за тобой по пятам, как велосипедист движется за лидером, позволяя ему разрезать встречный ветер, хоронясь за его спиной, оставаясь вечно вторым. До того момента, когда лидер выдохнется. Или на его пути встретится камень. Или сломаются спицы его колеса. И тогда второй становится первым, а первый валится в кювет и смотрит оттуда, как удаляется победитель. Так и случилось. Тебе попался камень. Он разбил тебе голову. И ты лежишь на обочине, и смотришь, как тот, кого ты считал своей тенью, стал победителем, отрывается от тебя навсегда!

Двулистиков торжествовал, улыбался длинной улыбкой. На его белых хрящеватых ушах загорелись пунцовые мочки. Запах, который он источал, был невыносим, вызывал у Лемехова рвотные спазмы.

— Ты ненавижу меня? Столько лет ненавижу? Твоя ненависть была растянута на десятилетия? Ты сложился как личность в поле ненависти? Твой скелет, клеточная ткань, полушария мозга формировались в поле ненависти? — Лемехов был сокрушён. Его ответ напоминал вопль. — Ты — источник страшной заразы, от которой страдает жизнь. От таких, как ты, выбрасываются из моря киты. Пустыня пожирала Африку. Образуются озоновые дыры. Мы бы давно погибли, если бы подобные тебе ненавистники восторжествовали. Но твоё присутствие в мире уравнивают праведники. Святые и праведники спасают мир от таких, как ты!

Двулистиков хохотал. Его маленькие глазки, красные, как у вепря, мерцали. Он потирал пальцы, и они хрустели.

— Ты-то святой и праведник? Родную жену заточил в сумасшедший дом, чтобы не мешала развлекаться с красотками. Нарушил клятву верности, которую дал Президенту Лабазову и возмечтал его свергнуть. Вот тебя и сбили. И ты, кувыркаясь, упал и разбился. Я этому рад! Ах, как я этому рад!

— Ты подлец! — Лемехов чувствовал, как пол становится мягким, не держат ноги, и он готов провалиться в какую-то зыбкую топь.

— Не стоит уж нам портить до конца отношения, — мнимо успокаивал его Двулистиков. — Я тебе пригожусь. Могу предложить место в одном из отделов. Нехорошо кидать в беде старых товарищей!

Лемехов видел жёлтые зубы во рту Двулистикова, чувствовал исходящий от него запах уксуса. Хотел выкрикнуть какое-то страшное слово, но забыл его. Мычал, заикаясь. Хотел ударить Двулистикова острой стальной лопаткой от сверхмощной турбины, но вместо этой изысканной, как лепесток стального цветка, лопатки на столике торчал уродливый корень.

Лемехов, проваливаясь в прорубь, как по тонкому льду, перепрыгивая через промоины, выбежал из кабинета. Побежал по коридору к лифту.

На пути у него возник всклокоченный старик с крючковатым носом, весь в морщинах и складках. Глаза его безумно сияли:

— Бог-то есть! Есть Бог! Погнали тебя грязной метлой! Как мусор, как мусор!

— Вы кто? — старался обойти его Лемехов.

— Я Саватеев! Как умолял, упрашивал: «Оставьте меня на работе!» Нет, при всех растоптал! Я «Бурани» запускал. Я его гладил, тёпленького, по загривку, когда он вернулся на землю. А ты меня как промокашку! Теперь и тебя на помойку! У павлина хвост ощипали!

Старик вцепился ему в рукав, не пускал. Лемехов оттолкнул старика. Минувя лифт, побежал вниз по лестнице. И вслед ему нёсся стариковский кашель и смех:

— Павлин! Бесхвостый павлин!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

Лемехов убежал от стариковского клёкота, скатывался по лестнице, вырывался из огромного здания. А оно валилось на него как белый ледник, сыпало на голову ледяные глыбы этажей.

«К Президенту, идти к Президенту! Всё объяснить, найти клеветника и доносчика! Это Премьер, наш застарелый конфликт! Отвратительный карлик, лупоглазый, с водянкой мозга! Какая мерзость! Быть может, «Лунный проект»? Отставание по срокам? Давно вошли в график, композитные материалы, разгонный блок! Саватеев, мерзкий старик! Почему я павлин? Нет, скорей к Президенту!»

Он торопился к стоянке, где ждал его автомобиль, пока ещё служебный, с шофёром. Хотя охрана была снята, и он чувствовал, как опустело вокруг него пространство, ещё недавно заполненное сослуживцами, просителями, помощниками и советниками. Все отпрянули и испарились, словно кто-то невидимый отсосал воздух. Он перемещался в пугающей пустоте.

«Президент меня примет, и всё разъяснится! Я его друг, истинный друг, один из немногих!

Кругом него льстецы, обманщики, проходимцы! Филипп Распевцев, придворный художник. Портрет на фоне «Медного всадника». Он и мне предлагал позировать с чётками, в вольной позе. Эти чётки подарю Президенту, передам привет от Башара Асада. Как звенели стекла от залпа «Катюши»! Какие золочёные спинки кресел! Забыл, как зовут генерала. Женский гребень в руках Али. Велосипед, раздавленный танком. Как славно было мчаться на велосипеде, который подарил мне отец! Голубой, перламутровый перелетал через ручей, поднимая фонтаны брызг. Да при чём здесь велосипед? Скорей, скорей к Президенту!»

Ему казалось, что сходит оползень. Он захвачен лавиной, старается удержаться, цепляется за камни. Но они начинают двигаться, летят вместе с ним в пропасть.

Он позвонил в Администрацию Президента, желая добиться скорейшего свидания с Лабазовым. Но чиновник Администрации, всегда любезный и словоохотливый, замялся, услышав его имя. А потом нетвёрдо, заикаясь, сказал:

— Невозможно, Евгений Константинович. Все встречи с Президентом расписаны на два месяца вперёд. А новые списки пока не составлялись.

Лемехов позвонил чиновнику протокола, который обычно приглашал его на встречу с Президентом. Но чиновник холодно ответил:

— Видите ли, Евгений Константинович, вы теперь, как я понимаю, являетесь частным лицом. А это подразумевает совсем иную процедуру.

Пустота, которая окружала Лемехова, безвоздушное пространство, которое образовалось вокруг него, гасили звук. Эту пустоту не мог пробить вопль о помощи, зов отчаяния, крик, которым он хотел бы привлечь внимание к своему несчастью. У него отобрали не только телефоны правительственной связи, отключили не только от источников информации, но рассекли его связи со всем остальным человечеством. Люди, проходившие мимо, не замечали его. Воспринимали, как пустоту. Он был человек-невидимка.

Лемехов старался пробить этот невидимый кокон. Пронзал своей большой мыслью, своим беззвучным криком, обращая его к Президенту. К его бледному лицу с блёклыми глазами, к белёсой голове с глубокими залысинами, к вялым губам, которые он складывал в трубочку, похожую на хоботок, к его насмешливой едкой улыбке, которая появлялась в минуты раздражения, к бравой офицерской походке, когда он выходил из золочёных кремлевских дверей.

«Услышь меня! — умолял Президента Лемехов. — Позови к себе! Я твой верный соратник! Самый преданный и надёжный!»

Но зов оставался без ответа. Кокон был непроницаем, как бронезилет из сверхпрочного сплава.

Он вдруг вспомнил, что есть человек, который может ему помочь. Этим человеком был генерал Дробинник, доверенное лицо Президента, исполнитель его тайных поручений. Лемехов набрал телефон генерала:

— Пётр Тихонович, я вернулся из Сирии. Вы сказали, что после возвращения я могу повидаться с Президентом. Мне очень нужно. Помогите мне.

Дробинник некоторое время молчал. Потом произнёс:

— Вы же понимаете, Евгений Константинович, что обстоятельства изменились. В этих новых обстоятельствах Президент откажется вас принять.

— Но почему, Пётр Тихонович? Это недоразумение, абсурд! Меня оговорили, какой-то враг, какой-то могущественный соперник. Уверяю вас, если Президент меня выслушает, он все поймёт, и недоразумение рассеется. Помогите встретиться с Президентом, умоляю вас!

— Думаю, что это невозможно.

— Объясните, что случилось! Хоть вы-то мне объясните! Выслушайте меня, и доложите о нашем разговоре Президенту. Умоляю, Пётр Тихонович!

Дробинник помолчал:

— Ну, хорошо. Через час встретимся в ресторане «Боттичелли». Вы, кажется, любите этот ресторан?

Они встретились в полупустом ресторане, среди античных колонн. Бесшумно скользили официанты в облачении флорентийских дождей. Метрдотель в золочёной парче, с маленьким бутфорским мечом на боку приветствовал Лемехова низким поклоном.

— Здесь вас ценят как великого деятеля. Мы рады, что вы не забываете наш ресторан. Что вы желаете, господа? — он положил перед Лемеховым и Дробинником кожаные карты меню.

— Чай и что-нибудь сладкое, — не раскрывая меню, сказал Дробинник.

— Лучшие сорта тайского чая и фруктовый торт.

— Несите, — сказал Дробинник. Отослал метрдотеля холодным взглядом прозрачных глаз, в глубине которых темнели две свинцовые точки. Через лицо пролегал розовый шрам, и казалось, что это лицо можно разломить на две части, как надрезанный плод.

— Что случилось, Пётр Тихонович? Почему эта нелепая отставка? Это какая-то ошибка! Президента ввели в заблуждение. Меня оклеветали!

Дробинник смотрел на него прозрачными, как апрельская вода, глазами, в которых темнели две чёрных икринки. Спокойно произнёс:

— Видите ли, Евгений Константинович, наш Президент очень восприимчив к вопросам чести. Как офицер он привержен чувству долга. Он держит свои обязательства перед соратниками, заслуживает их всей силой своего авторитета, если они споткнутся или совершат неточный шаг. Но он не выносит вероломства, предательства. Его предавали те, кого он вывел в люди, наделил достатком и властью. Его предал целый класс, который вдруг повалил на Болотную площадь и требовал для него смертной казни. Он, я знаю, относился к вам очень сердечно, рассчитывал на вас, связывал с вами далеко идущие планы. И был, Евгений Константинович, разочарован в вас.

Им принесли чай и фруктовый торт. Официант с изящным поклоном разливал в розовые чашки душистый чёрно-золотой чай. Присутствие официанта мешало им говорить. Но как только тот скрылся за колонной, Лемехов заговорил — жарко, нестройно. Вонзал одну незавершённую фразу в другую:

— Я преклоняюсь перед Президентом, служу ему верой и правдой! ...И правдой и верой! ...Он для меня великий лидер и вождь! ...И вождь и лидер! ...Как Пётр Первый, как Иосиф Сталин! ...Иосиф Виссарионович Сталин! ...Он для меня путеводная звезда! ...Он статуя на носу корабля! ... Если какой-нибудь враг или террорист, ну, вы это знаете лучше, я кинусь и заслону его от пули! ...Хотя, это не я говорил, это Двулистиков, мелкий интриган и предатель! ...Для меня Президент — глава Государства Российского, которому я поклоняюсь, как божеству! ...Не Президенту, а Государству Российскому! ...Но и Президенту, и Президенту тоже! ...Дробинник смотрел на Лемехова, как смотрит естествоиспытатель на биологический вид. В глубине его прозрачных глаз трепетали дробинки.

— Вы создали партию «Победа», которая задумана вами как президентская партия. Присутствие Патриарха на съезде многим напоминало помазание на царство. Вы не скрывали своих президентских притязаний.

— Это ошибка, ошибка! ...Неверное толкование! ...Партия «Победа» — президентская партия, но Президента Лабазова! ...Новая идеология, новый рывок! ...О котором говорит Президент! ...Гвардия инженеров! ...Алтари и оборонные заводы! ...Я готовлю новый Большой проект, проект «Россия»! ...Я начертаю образ русского будущего! ...Все устали от бессмыслицы, эгоизма! ...Я провозглашу новую философию государства! ...Философию русского будущего! ...Мессианский лидер грядёт! ...Не я, конечно не я! ...Президент Лабазов! ...Это его президентская партия!

Дробинник спокойно слушал, как врач выслушивает пациента. Лемехов чувствовал, что не в силах убедить собеседника. Шрам на лице Дробинника был похож на порез, хлюпающий кровью.

И надо сомкнуть порез, соединить две половины лица, чтобы они не распались. Соединить две половины рассечённого мира, по которому прошёл порез, и неведомое лезвие полоснуло по его, Лемехова, жизни.

— Вы ездили по оборонным заводам, уговаривали директоров и инженеров войти в вашу партию. Говорили о своём будущем президентстве. Неуважительно отзывались о действующем.

— Напротив, напротив! ...Спускали лодку, и я говорил, что это личная победа Президента Лабазова! ...Проводили пуск ракеты с подводного старта, и я сказал на фуршете, что это салют в честь Президента Лабазова! ...В честь нашего Президента! ...Много злых языков, много скептиков, недовольных! ...Критикуют власть, критикуют Президента, что, дескать, устал, даже болен! ...Не хочет руководить государством! ...Всё какие-то развлечения, прихоти! ...То журавли, то уссурийские тигры, то подводная амфора, то таймень величиной с кита! ...И коррупция, и жену в монастырь, и связи с певицами и балеринами! ...Я всё пресекал, пресекал! ...Вырывал языки! ...Да не все, видно, вырвал! ...Один остался, который оклеветал меня в глазах Президента!

Дробинник смотрел на Лемехова, как следователь на арестанта, добиваясь признательных показаний. Слепящая лампа в лицо, бесстрастный голос перечисляет улики. И от этого ледяного голоса глубинный страх, сжимающий сердце, притаившийся в памяти ужас, который достался от давней родни, прошедшей сквозь ночные допросы и железные лязги дверей.

— Было странно наблюдать ваше зимнее плавание по Москве-реке вдоль Кремля, когда на облаках, над кремлевским дворцом возник ваш портрет, как Нерукотворный Спас. Президент заметил, что подобный лик появлялся над Кремлем только в эпоху Сталина, и это был лик самого Сталина, некоронованного монарха.

— Ну, это пустяки, просто шалость! ...Выдумка стилиста Самцова! ...Он искал новый образ, и с помощью лазеров, на облаках! ...Заоблачная фантазия! ...Он говорил, что мне нужны чётки, и портрет в новом стиле! ...Не как с Медным всадником, а в новой имперской манере! ...Я привёз Президенту чётки! ...Удивительный рынок, как волшебный фонарь! ...И лампы Аладдина, и кальяны, как стеклянные птицы! ...Как цветные павлины! ...Почему я павлин? ...Этот мстительный старик Саватеев! ...Я забыл, что хотел сказать!

Лемехов путался. Прозрачные глаза взирали на него неподвижно. В светлой глубине темнели икринки, в которых зрела молчаливая смерть. Лемехов страшился этого медленного неуклонного созревания. Смерть прянет из глаз Дробинника и поглотит его.

— Я не могу устроить вам свидание с Президентом, — сказал Дробинник. — Я не должен был с вами встречаться. Но я испытываю к вам симпатию и не хочу, чтобы вы напрасно обивали пороги инстанций. На этом направлении ваша карьера завершилась. Попробуйте начать всё с начала, но от другой отправной черты. Может быть, вам следует уехать из Москвы? — он подозвал официанта и рассчитался. Поднялся и, не протягивая Лемехову руки, с лёгким поклоном удалился. А тот остался сидеть, бормоча:

— Я привёз от Башара Асада послание! Не письменное, а на словах, из уст в уста! Я выдержал испытание водой, у фонтана любви! И огнем, на сирийской войне! Скрежет пуль по броне! Господи, что же мне делать?

Он поднялся, пошёл среди античных колонн туда, где тихо журчал фонтан. Ему навстречу брызнула музыка, засверкали цветные лучи. Вода в фонтане вспыхнула небесной лазурью. Божественная в своей красоте, обнажённая, прикрывая грудь и живот золотом пышных волос, на перламутровой раковине появилась Венера. Ещё один шедевр Боттичелли, явленный Лемехову, ничтожному и уродливому.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Его немощ и подавленность длились недолго. Сменились бурной, застилающей разум ненавистью. Он возненавидел генерала Дробинника, его водянистые лягушачьи глаза с чёрными икринками, в которых дёргались злые головастики, готовые превратиться в чёрных ужасных жаб.

«Это он, ищейка Лабазова! Выслеживал, вынюхивал, доносил! Агенты были на съезде, были на заводах, были у «фонтана любви»! Он знал про ресторан «Боттичелли»! Метрдотель — его платный

агент, с диктофоном в бутаторском мече! Официант — его платный агент с диктофоном в фарфоровом чайнике! Венера на раковине — платный агент, с диктофоном в золотых волосах!»

Ненависть бурлила, поднималась, как лава, из бездонной дыры, чёрно-красная, удушающая. Сердце разбухало, изрыгало ненависть. Он ненавидел Лабазова, мелкие черты лица, редкие белёсые волосы, длинные губы, которые он вдруг складывал в хоботок, становясь похожим на муравьеда. Ненавидел шелестящий голос, бравую походку, которой он маскировал свою неуверенность. Ненавидел большую потребность постоянно быть на виду, позировать перед телекамерами, на фоне боевых кораблей, самолётов и танков, которые своей грозной мощью компенсировали его слабость и безволие.

«Меня нельзя загонять в угол! В угол нельзя загонять! Хотите войны, её получите! Получите, если хотите войны! Нанесу удар по объекту! По объекту удар нанесу!»

Он был отвергнут Лабазовым, а Лабазов будет отвергнут им. Будет им свергнут и выброшен из Кремля. Для этого существует партия, имя которой «Победа». С помощью партии он одержит победу. В партии лучшие люди страны — оружейники, технократы, военные. Патриотические художники и писатели. Самые виртуозные журналисты, такие, как Артур Лемнон. И, конечно, священники, и сам Патриарх. И муллы, и даже раввины. Синеглазый маг и волшебник Верхоустин. Ясновидец и конспиролог Черкизов. А также тайный орден «Жёлудь» с огромными деньгами и связями, перед которыми бессильны все президентские ищайки, все его «прослушки» и «наружки», вся хитроумная, но прогнившая власть.

«Хотите вторую Болотную? И вы её непременно получите! Получите вторую Болотную! Хотите коалицию всех антикремлёвских партий? И вы получите коалицию! Да, коалиция! Да, коалиция!»

Лемехов продолжал ненавидеть, но теперь его ненависть превратилась в отточенное остриё. Этим остриём, направленным в сердце Лабазова, была партия «Победа».

Он стал набирать телефон Верхоустина, а затем Черкизова. Оба телефона отзывались длинными гудками, но знакомых голосов он так и не услышал. Раздражённый, он сетовал на обоих. В трудную минуту они оказались недоступны.

Он помчался на Олимпийский проспект в штаб-квартиру партии.

Овальная громада Олимпийского стадиона. Множество стеклянных дверей и витрин. Самодельный паровоз, «чучело паровоза», зачем-то поставленное на пандусе. Лемехов взбежал по лестнице. Торопился к дверям, на которых висела табличка с наименованием партии, и краснел геральдический щит. Но двери штаб-квартиры были распахнуты, таблички не было, на полу валялся красный осколок щита с золотой буквой «П». Рабочие выносили из апартаментов последнюю мебель. Администратор покрикивал на них:

— Легче, легче, ребята!

— Что случилось? — Лемехов пытался им помешать. — Почему выносите мебель? Это партийный офис!

— Ничего не знаю, — ответил администратор. — Арендаторы съехали. Освобождаем площадь для других арендаторов.

Лемехов, поражённый, вновь стал набирать Верхоустина и Черкизова. Но теперь вместо длинных гудков жестяной женский голос сообщал: «Данный телефонный номер снят с обслуживания».

Он стоял, ошеломлённый, боясь сделать шаг. Мир, в котором он жил, ещё недавно столь прочный и зримый, теперь превращался в пустоту. Всё, к чему он приближался, на глазах разрушалось, оседало пылью. Если он коснётся стены, она осядет тихим прахом. Если шагнёт на лестницу, ступени провалятся, и нога уйдёт в пустоту. Это было похоже на бред. Реальность, которую он создавал столь упорно и яростно — стальные машины, людские радения, могучие свершения — всё было мнимым. Великолепные машины, дерзкие замыслы, незыблемые дружбы — всё осыпалось лёгкой бесцветной пылью, едва он хотел их коснуться рукой или мыслью.

Он смотрел на рабочих, протаскивающих через дверь рабочий стол, за которым обычно восседал Черкизов. Под ногами рабочих увидел газету. Растрёпанная, истоптанная подошвами, она была раскрыта на странице, где он увидел свою фотографию, большую, почти во всю полосу. Фотограф вырвал мгновение, когда выступавший с трибуны Лемехов раскинул руки, растопырил пальцы, раздул щёки, воздел брови. Был похож на нелепую птицу, которая собиралась взлететь. Над фотографией красовалась надпись: «Павлин». Следовал текст статьи.

Лемехов подобрал газету и стал читать. Статья была написана известным либеральным журналистом Артуром Лемноном, тем самым, что был приглашён на учредительный съезд партии.

Лемнон писал: «В нашем политическом птичнике обитают пернатые, которые с определённого момента начинают вдруг раздуваться. Живёт себе никому не заметная птичка, клюёт свои зёрнышки, и то ли не то зерно склевала, то ли не на ту ветку села, как вдруг начинает раздуваться. Вырастает зоб, который яростно квохчет. Вырастает клюв, которым можно убить. Раскрывается хвост, «что не можно глаз отвести». Был так себе, Воробей Воробеич, а стал Павлин Павлиныч. К числу таких распушивших хвост павлинов относится Евгений Константинович Лемехов, вице-премьер, курирующий оборонную промышленность. Человек вполне себе заурядный, наподобие обыкновенных российских чиновников. Но вдруг он стал раздуваться, словно ему в одно место вставили насос. Он возомнил себя будущим Президентом России и созвал свой партийный съезд. Партия его зовётся «Победой», видимо, в расчёте на победу в президентской гонке. Патриарх приезжает на съезд и произносит речь, будто это Успенский собор, и он на помазанника Лемехова возлагает шапку Мономаха. Участвуют в съезде создатели танков, подводных лодок и атомных бомб, а также казаки, приходские батюшки и офицеры спецслужб.

Что нас ждёт, если Президентом станет господин Лемехов? Смесь военщины и поповщины. Танки вместо масла, казачьи нагайки вместо художественных выставок, «Закон Божий» в школах и дикторы телевидения в офицерских мундирах на северокорейский манер.

Каковы же человеческие качества претендента на кремлёвский кабинет господина Лемехова? Он набожен, ходит в храм и молится перед иконой Божьей матери «Державной». Но при этом заточил жену в психиатрическую больницу и развлекается с актрисами, музыкантшами и балеринами. Он уверяет нас, что из России скоро прозвучит новое «слово жизни», но сам на охоте недавно убил медведицу и двоих её медвежат. Кстати, ружьё, из которого была убита медведица, подарил Лемехову крупный западный предприниматель, поставляющий станки для российских оборонных заводов. А постоянная патриотическая проповедь господина Лемехова находится в странной связи с дорогим особняком в Ницце, куда время от времени наезжает его патриотический собственник.

Весьма сомнительны и достижения господина Лемехова при создании новых видов вооружения. По оценке экспертов, танки, самолёты и подводные лодки, о которых Лемехов рапортует народу, являются безнадежно устаревшими и не способны составить конкуренцию американским аналогам. Не дай Бог, случится вооружённый конфликт, и мы узнаем об «эффективном менеджере» Лемехове по числу погибших лётчиков, танкистов, подводников.

Таким образом, скромный воробей, клюющий зёрнышки со стола Президента Лабазова, превратился в раздутого павлина с радужным хвостом. Но он, видимо, забыл, что жареные павлины, — любимое царское блюдо. И стол, с которого склёвывал зернышки господин Лемехов, может быть украшен радужной, искусно зажаренной птицей».

Лемехов выронил газету. То место, куда она упала, превратилось в чёрный провал. Он летел вслед за газетой в пропасть, и ему вслед раздавался хохот Лемнона.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Лемехову казалось, что в мир, где он пребывал, просунулась огромная рука, жилистая, с набрякшими венами, в буграх и наростах, и сметает всё, что он возводил с таким рвением и любовью. Он видел жёлтые ногти этой руки, чёрные тромбы в венах, вздутые мускулы. Видел дыру, в которую просунулась эта рука. Слышал рёв ветра в этой чёрной дыре, куда рука убирала его упования и мечты, и кто-то незримый, чудовищный, чавкал, сжирая его жизнь.

У него больше не было любимого дела, не было друзей и соратников. От него отвернулись недавние обожатели и поклонники. Газеты, радиостанции, многочисленные блоги и интернет-издания глумились над ним и злорадствовали. Отовсюду высывались жадные клювы и больно клевали, отщипывали живую плоть, добивались до печени, сердца. Он испытывал нестерпимую боль, бежал от этих клювов, но они настигали, пронзали. Всё тонуло в клёкоте, писках, хохоте. Оставалось единственное место, где можно было найти спасение. Возлюбленная, ненаглядная Ольга обнимет его, накроет шатром душистых волос, и он скроется в этом шатре от всех напастей. Заслонится

волшебным покровом, и забудется, измученный и спасённый. Прижмётся губами к её чудной руке, слушая переливы волшебной флейты, которая поведёт его в несказанные дали, к цветущим садам, изумрудным горам, бирюзовым озёрам.

Вечереющая Москва остывала после раскалённого дня, зажигала огни ресторанов, сверкала бульварами. Оплетённые гирляндами деревья напоминали хрустальные голубые вазы. Лемехов звонил Ольге. Стремился к ней всем сердцем.

— Это ты? — услышал он её голос, — Вернулся?

— Любимая, мне нужно тебя увидеть.

— Я сейчас не могу. У меня репетиция.

— Мне очень нужно! Где репетиция?

— В джаз-клубе «Коломбо». На Фрунзенской набережной.

— Я к тебе еду.

— Ты сорвёшь репетицию.

— У меня срывается жизнь! Буду ждать тебя у клуба на набережной!

Москва была, как смуглый, спелый плод, переполненный терпким соком. Воздух был сладкий и приторный. Казалось, разрезали дыню, и она лежит, отекая медовой влагой. Лемехов стоял у гранитного парапета, чувствуя, как остывает дневной зной. Москва-река, тёмная, маслянистая, крутила золотые веретена огней, покачивала плавучие рестораны, стаи уток, проплывавшие речные трамвайчики. Хрустальный мост, перекинутый к Нескучному саду, казался бокалом, в котором кипело шампанское. Крымский мост был похож на крылатую железную птицу, отливавшую синевой. Синева начинала розоветь, становилась изумрудной, оранжевой. Птица была готова взлететь, сжимая в клюве блестящую реку. За рекой в Парке отдыха шумело гулянье, гремели аттракционы. Крутились карусели, раскачивалась ладья качелей, звенели «американские горки». Лемехов, окружённый огнями, запахом женских духов и сладких табаков, с нетерпением ждал Ольгу. Он приготовил ей изумрудное кольцо, купленное на восточном рынке. Представлял, как наденет кольцо на её нежный палец. Драгоценный камень отразит Хрустальный мост, проплывающий кораблик и уток, темнеющих на золотом отражении.

«Да, да, так и будет! Только она, только с ней! Мир отринул меня, а я отринул мир! Скроюсь в шатре её чудных волос, её душистых и восхитительных! Только я и она! Уедем прочь из этого вероломного города, где мой позор, мои унижения! Забыть, забыть! В какой-нибудь тихий город! В какой-нибудь маленький русский город! В Торжок, где старые особнячки, палисадники, старинная колокольня».

Он достал кольцо и играл драгоценным камнем. Посылал фиолетовый луч в проплывавший кораблик, где его ловила танцующая на палубе свадьба. Посылал через реку к далёкой карусели, где луч скользил по лицам влюблённых. Посылал к тёмной воде, где утки кидались к лучу, принимая его за блестящую рыбку.

«И у нас будут дети, и долгая, долгая жизнь! Там много чудесных озёр и дубрав, и лугов, белых от цветущих ромашек! Вместе с детьми в эти ромашки! Она сидит, распустив колоколом свой сарафан, и плетёт из ромашек венки! Как та безымянная девочка, с которой мы дружили на даче! И никого, только я и она! Наши милые дети!»

Он увидел, как она подходит, и всё в нём дрогнуло и счастливо запело. Её плавная поступь, грациозные движения плеч, стройность её ног, которые она ставила так, словно шла по подиуму. Перетянутое в талии платье, которое он прежде не видел, тёмное, с вырезом на груди. И лицо, любимое лицо, которое она опустила, зная, что он видит её, неотрывно любит, жадным взглядом торопит её приближенье.

— Какое счастье видеть тебя! А где твоя флейта? Я не мог тебя не увидеть! Утром, с аэродрома, такие события! Это ошибка, дурная ошибка! Или чья-нибудь злая воля! Ты не верь! Забудем об этом! Уедем, и только вдвоем! Ты и я! Ты и я!

— Что случилось? — она воздела золотистые брови, и её глаза показались ему того же цвета, что и кольцо, и он радовался тому, что драгоценный камень имеет цвет её глаз.

— Ты была права, нам надо уехать! Тогда я не мог, честолюбие, мнимое дело! Теперь я свободен! Мы поженимся, муж и жена, только мы, только наша семья! Повенчаемся, в какой-нибудь скромной церкви! Волочёр, такой милый чудесный город! Впрочем, нет, милый — это Торжок! Такие там славные домики, и речка, и зелёная гора! Милая, а где твоя флейта?

— Что произошло, ты мне можешь сказать? — ему почудилось в её голосе раздражение, а в глазах, в любимых глазах качнулась тёмная тень.

— Всё будет у нас хорошо! Прошлого нет, только будущее! Ты и я, и наши милые дети! Там есть такие поля, ромашки до горизонта! И мы сидим в ромашках, наши дети играют, а ты мне плетёшь веночек из белых чудных цветков, как та безымянная девушка! Ведь, правда, это чудесно?

— Не понимаю, о чём ты? Я сама собиралась тебе звонить. Хотела с тобой объясниться, — её золотистые брови сдвинулись, потемнели, и между ними легла морщинка — то ли гнева, то ли страдания. В глазах, в её чудных глазах, которые он так любил целовать, чувствуя, как дрожат ресницы, словно крылья бесшумной бабочки, — в её глазах появилась враждебность. Её губы, мягкие, нежные, которые темнели от красного вина, и он сжимал их своими губами, чувствуя пьяную сладость, — теперь на её губах вдруг за клубилась тьма. В этой тьме трепетали ещё не произнесённые, злые слова. Он не давал им явиться, не давал им сорваться с её рассерженных и испуганных губ.

— Потом, потом объяснишься! А сейчас мы должны уехать! Нам никто не будет мешать, никто не будет глумиться! Мы будем много читать, стихи великих поэтов, и на эти стихи ты будешь сочинять свою музыку! Я так тебе благодарен! Ты одна осталась для меня драгоценной! Одна спасаешь меня от жестокого вероломства. Хочу тебе сделать подарок! — он раскрыл ладонь, на которой лежало кольцо. Он хотел лучом драгоценного камня запечатать её уста. Но она отшатнулась:

— Перестань бормотать свои заклинания! Я ждала твоего возвращения, чтобы объясниться. Мы с тобой расстаёмся. Я выхожу замуж. За Вениамина Гольдберга. Мы завтра уезжаем в Европу. Ты мучил меня целый год, забавлялся мной. Я была для тебя игрушка. Ты женат на другой, а я для тебя утеха. Вениамин сделал мне предложение, и я покидаю тебя. Не удерживай, не трать понапрасну слов. Между нами всё кончено!

— Нет, нет, я это не слышал! Эта смоляная борода и блестящие мокрые зубы! «И темнела за пригорком смоляная борода!» Эти выпуклые глаза, что смотрят на мир, как на еду, которую можно есть, будь то заводы, красивые женщины или креветки! «И следила взглядом зорким воронёная беда!» Это не я, это мой отец! Ты нежная, восхитительная! Я люблю тебя, люблю твои духи, твои пальцы, звук голоса, звук твоей божественной флейты. Где твоя флейта, родная? Ты не можешь уйти!

Он протянул к ней руку, хотел надеть на палец кольцо. Но она оттолкнула его:

— Оставь меня! Не смей ко мне прикасаться! — и побежала вдоль набережной туда, откуда явилась. Удалялась. Он слышал стук её каблучков. Навстречу ей выехала машина, огромная, мощная, брызгая хрустальными фарами. Остановилась. Дверь приоткрылась, и чья-то тучная рука помогла ей скрыться в салоне. Джим с мягким шелестом прошёл мимо, и за тёмными стёклами была она, её флейта, смоляная борода с блеском белых зубов.

Он стоял на набережной и испытывал небывалую боль. Болела и умирала душа, кричал от боли рассудок, стонала каждая клеточка. Содрогался своим железом Крымский мост, хрустальный мост осыпался осколками. Казалось, вместе с ним погибает и плавится мир, растворяясь в раскалённой бесцветной боли.

Он раскрыл ладонь, и кольцо с изумрудом покатило и упало в реку. Мимо плыл речной трамвайчик, играла музыка, и люди на палубе махали Лемехову.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Мир, в котором он прежде жил, напоминал великолепный дом с сияющими по всему фасаду окнами. Но стоило ему потянуться к сияющему окну, как оно гасло. На его месте возникала черная дыра. Одно за другим гасли окна, и скоро вместо дома с празднично озарёнными окнами, зияла огромная чёрная пустота.

Все его приобретения и сокровища были расхищены. Двулистиков украл у него любимую работу. Генерал Дробинник украл расположение Президента. Черкизов украл партию. Вероломный колдун Верхоустин исчез, похитив сокровенную мечту. Судьба мстила ему за неведомую оплошность, за нарушенный закон, за грех, который он совершил в погоне за величием и успехом.

Он рассматривал свою жизнь в её крутых поворотах, когда приходилось жёстко действовать, принося людям, навязывая им свою волю. Но никогда эта воля не губила, не уничтожала, а вовлекала в творчество, которое было наградой за все понесённые траты.

Он блуждал среди воспоминаний. Перебирал в памяти конфликты и ссоры, огорчения, которые причинял людям, обиды, которые люди ему причиняли. Вдруг ясно увидел человека, который страшно от него пострадал. Был обречён на муку, оставлен им и забыт. Это была жена Вера, которая уже несколько лет томилась в психиатрической клинике. Она лишилась рассудка после того, как избавилась от ребёнка, вняв его уговорам. Прелестная, радушная, женственная, она вдруг погасла. Стала подвержена страхам. Несколько раз она пыталась отравиться. Впадала в затяжную депрессию, которая переходила в свирепые истерики. Он лечил её у лучших врачей, которые сошлись на том, что ей необходимо длительное лечение в клинике. Он поместил её в клинику, испытав облегчение.

Теперь он думал о ней, живущей в загородной частной клинике, под присмотром медиков, которые обладали дипломами лучших психиатров Европы. Он почти не навещал её, тяготясь её сумрачной немотой и дремотой. Но теперь вдруг ясно, страстно, с большим раскаянием, понял, что Вера была его виной и проступком. Была грехом, за который ему мстила судьба. Он должен немедленно к ней явиться, покаяться, обнять её исхудалое тело, прижаться губами к её холодному виску, вернуть домой, где она окажется среди любимых вещей, целебных растений и снова воскреснет для любви и семейного счастья.

Служебная машина, которая его обслуживала, была отозвана вместе с шофёром. Лемехов пересел в «Вольво», домашний автомобиль, и рано утром отправился под Подольск, где в дубравах располагалась клиника.

Она напоминала небольшую, хорошо оснащённую крепость. Железный глухой забор с угловыми каменными башнями, стилизованными под башни средневекового замка. Стальные ворота с камерами наблюдения, с оконцем, в котором мутно белело лицо охранника. Кровля дома едва виднелась над кромкой забора, островерхая и готическая. Сходство с тюрьмой больно ранило Лемехова, и он вдруг горько подумал, что в этой тюрьме томится Вера, и это он её туда заточил.

Охранник долго рассматривал паспорт Лемехова, куда-то звонил, и, наконец, бесшумно растворилась стальная калитка. Лемехов проник за ограду. Зеленели газоны, возвышались дубы и липы. Светлели посыпанные песком дорожки. Двухэтажный дом напоминал красивый особняк с чистыми окнами, на которых почти были незаметны решётки. По тропинке навстречу Лемехову шёл доктор в белом халате и шапочке, блестели очки, подбородок украшал благородный клинышек бороды.

— Замечательно, что приехали, Евгений Константинович. Ваш визит скажется на нашей подопечной благотворно. Но только прошу, разговаривайте о чём-нибудь хорошем, приятном. Намечалась положительная динамика, и мы должны её постепенно углублять.

Доктор был чем-то похож на Чехова, благородный, изысканный, вкрадчивый, с золотым кольцом на крупном чистом пальце. Такие доктора внимательны и чутки к пациентам, бережны, как садовники, которые поднимают смятые дождём цветы. Но этот благообразный и доброжелательный доктор был для Лемехова горьким укором. Был нанят за большие деньги, которыми Лемехов откупился от Веры. От её страданий, от её невыносимой муки. Отгородился от них железным забором, камерами наблюдения, этим благородным доктором, в котором сквозь мягкое благодушие просвечивала жёсткая властность.

— Мне кажется, вам не нужно идти в палату. Подождите супругу в нашей уютной гостиной.

Лемехов остался один в гостиной, среди тихого солнца, зелёных растений. На столе в хрустальной вазе стояли розовые пионы, несколько лепестков упало на стол. В изящной клетке чистил свои цветные перышки милый щегол. На стене висели пейзажи лесных опушек, холмов с белыми колокольчиками. От каждого предмета веяло покоем, детскими безмятежными воспоминаниями.

Послышались шаги, и в гостиную вошла большая женщина с сильным свежим лицом, в белых брюках и белом халате, видимо, санитарка. Крахмальный халат вкусно шуршал, поднималась высокая грудь, на крупном лице улыбались сочные губы, синели чуть выпуклые глаза. И за ней покорно, понуро, опустив голову, появилась Вера, словно её привели на невидимом поводке. Лемехов беззвучно ахнул, потянулся к ней, исполненный жалости, нежности и вины.

— Ну вот, — произнесла санитарка. — Здесь вам будет уютно. Если что понадобится, позвоните, — и она удалилась, оставив на столе серебристый колокольчик.

Вера села чуть поодаль от Лемехова, и он видел, как слабо под её тяжестью прогнулась кожа дивана.

— Здравствуй, — сказал он, боясь, что его сочный звучный голос спугнёт её, и она встанет, уйдёт.

— Здравствуй, — ответила она, и её голос был бесцветный, угасший, прозвучал, как слабое эхо его голоса.

На ней был домашний розоватый халат, висевший на худых плечах. Её ноги были в приспущенных тёплых носках, в матерчатых шлёпанцах. Волосы, когда-то чёрные, со стеклянным блеском, с пленительными завитками у висков, теперь были пепельно-серые, коротко, по-больничному подстрижены. А виски провалились, и в них синими струйками обозначились вены. Её лицо, когда-то яркое и прекрасное, излучавшее счастье, с ликующим блеском глаз, — её лицо было серым, безжизненным, в пепельном налёте усталости. Лемехов с болью смотрел на её приспущенные носки и матерчатые шлёпанцы, вспоминая, как восхитительно она шла на высоких каблуках, и её стройные ноги, обтянутые шёлком бедра, приоткрытая с незагорелой ложбинкой грудь страстно трепетали, и она, зная свою неотразимость, позволяла Лемехову собой любоваться.

— Ну, как ты? — спросил он, стесняясь своей плотской силы и крепости. — Чувствуешь себя хорошо?

— Хорошо, — отозвалась она, как эхо.

— Погода такая чудесная!

— Чудесная.

Она была пустая. Звук его голоса залетал в неё и возвращался обратно, ослабленный и печальный. У неё вынули душу, вынули сердце. Пустота, которая в ней образовалась, ненадолго наполнялась звуком его слов. Вера отдавала их обратно, оставаясь безучастной.

— Доктор сказал, что тебе лучше. Мы скоро поедем домой.

— Домой, — тихо повторила она.

Перед ним сидела женщина, которую он когда-то обожал. Которая дарила ему дивное счастье, чудные наслаждения. Чей голос звучал для него, как пленительная сладость. Чьи волосы благоухали у него на губах. Чьё жемчужное тело он целовал, глядя, как её плечо сверкает в свете луны. Теперь же она была околдована, находилась в больном полусне. Кто-то неведомый навёл на неё порчу, наслал злые чары. Отделил её душу от солнечного света, от блеска вод, от стихов, которые она учила каждый раз перед пушкинским днём рождения и шла к памятнику. Наивно и истово, как восторженная школьница, читала «Клеветникам России» и «Цветок засохший, безуханный...» Теперь же она была погружена в мучительную дремоту, в мутные сновидения, среди которых не узнавала его. Возвращала обратно обращенные к ней слова.

И ему захотелось обнять её, поцеловать запавшие виски, коснуться губами мучительной морщинки на лбу, вдохнуть в неё силу и свежесть, разбудить, отвести злые чары. Чтобы она поднялась с дивана на стройных ногах, в прежней ликующей красоте, и они вместе, взявшись за руки, пойдут вдоль берега недвижимого озера с малиновой негасимой зарёй.

— Ты помнишь, как в Карелии, по утрам выходили к озеру, и оно было ослепительное, расплавленное, и в лодке у мостков блестела рыба чешуя, и над крышей избы пролетала гагара?

Он увлекал её в их чудесное прошлое, когда, едва поженившись, они уехали в Карелию, и там, среди красных сосняков, фиолетовых туманов, серебряных разливов восхищённо и неумоимо узнавали друг друга. Открывали один в другом восхитительные тайны, в каждом мгновении, в каждом плеске весла, в каждом произнесённом слове находили сходство друг с другом. Праздновали свою чудесную встречу, чтобы больше никогда не расстаться.

— Ты помнишь, как летела гагара?

Вера молчала, её голова вяло клонилась, а глаза тускло смотрели мимо Лемехова.

— А помнишь, как приходили на берег кони, красный и золотой, заходили в озеро и пили? Вода была густой и синей, они пили эту синеву, и ты сказала, что запомнишь этих коней на всю жизнь.

Она молчала, и глаза её не помнили этой синевы, расходящихся по озеру кругов, серебряного пузыря у конской ноздри.

— А помнишь, как нам сделали баню, и ты ужасалась этого шипящего пара, медного ковша, тусклой керосиновой лампы? Ты вытянулась на лавке, длинная, белая, а я прикладывал к твоей

спине шелестящий веник. От него оставалось розовое пятно, и прилипало несколько березовых листиков. Мы выскочили из бани и с мостков кинулись в ночное озеро. Плавали среди брызг, стеланий и хохота.

Он вдыхал в неё дух распаренных берёзовых веток, будил её шумным плеском воды, когда ловил под водой её плечи, целовал её грудь. Но она не просыпалась, оставалась среди тусклых сновидений, и её глаза отрешённо и слепо не откликались на эти виденья.

— А помнишь, как мы лежали в нашей светёлке, и оконце было полно белесого света, и в оконце танцевали и прыгали крохотные паучки, развешивали свои паутинки? Ты сказала, что это маленькие канатоходцы, показывают нам своё мастерство.

Он не оставлял своих усилий. Вдыхал в неё драгоценные воспоминания, подносил к её глазам чудесные картины, на которых краснели на закатах сосняки, горсти были полны лиловой черники, перебегала тропку пугливая, с перламутровой грудью тетёрка. Старик и старуха, блаженные, как дети, синеглазые, выйдя из бани, сидели на лавке, не стесняясь своей наготы.

Её глаза вдруг дрогнули. Она повела ими и остановила свой взгляд на Лемехове. Среди тусклого тумана задрожала блестящая каряя искра.

— Помню тетёрку. У неё была такая чуткая прелестная головка, и вся она была изящная, грациозная, позволяла собой любоваться.

— А помнишь, как на маленьком озёрке я оставил тебя одну, а сам крался за утками? Ты стала меня звать, и утки все улетели, — он старался поймать мелькнувшую в её глазах карюю искру и не дать ей исчезнуть.

— Я сидела тогда у воды и смотрела, как бегают по ней водомерки. Тебя нет и нет, и я закричала. А ты рассердился, что я уток спугнула.

— А помнишь, как мы ночью читали стихи Пушкина: «Встаёт луна, царица ночи», и взошла луна, и мне захотелось уплыть на лодке в это ночное лунное озеро?

— Помню. Я смотрела на лунную дорожку, сверкающую, в таинственных вспышках, и ждала, когда твоя лодка появится на этом серебре. Загадала, что если появится, то мы проживём вместе счастливую жизнь, и у нас с тобой будут дети.

Её голос слабо дрогнул, и он испугался этого перебоя. На её горле вдруг задрожала голубая вена. Он почувствовал, как в ней поднимается волна тревоги и паники. Хотел отвлечь, выхватить её душу из тёмной воронки, куда её вновь засасывало.

— Доктор сказал, что тебе намного лучше. Скоро я заберу тебя отсюда, и мы поедем в Карелию, в наши святые места. Поселимся в том же доме, в той же светёлке. И всё то же совиное перо на стене, всё тот же томик Пушкина на столике, и в сенях стоит бочка с мочёной брусникой, а на заборе висит ожерелье из сушёных щучьих голов. Мы будем идти по дороге, которая вся пропахла рыбой, потому что по ней рыбаки возят телеги с уловом. И губы твои будут тёмные от черники. И подол твоего разноцветного платья потемнеет от воды, когда ты присядешь и станешь пить из лесного ручья, а я буду смотреть, как вода подхватила твой разноцветный подол.

Он заговаривал её, отвлекал, уносил в чудесное прошлое, где было обожание, бережение друг друга. Но она не давалась, в ней начиналось кружение тёмных сил, открывался мутный водоворот, утягивал в свою глубину.

— Мы сидели на кровати, на этом пестром лоскутном одеяле, — Вера заговорила торопливо, страстно, словно боялась лишиться дара речи. — Ты посмотрел на меня. Твой взгляд вдруг стал золотым, из твоих глаз брызнули на меня золотые лучи. И я почувствовала, что люблю тебя бесконечно, что ты мой суженый, ненаглядный, послан мне свыше, и нас не разлучат болезни, напасти, сама смерть. Я прижала тебя к себе, чувствовала, что из тебя пролилась раскалённая сила. Я приняла её в своё лоно, и оно удержало в себе этот жар, эту дивную силу. Я почувствовала миг зачатия. Я носила в себе плод, твой образ, твои золотые лучи. Но ты заставил меня убить его. Как ты меня убеждал, как уговаривал. Как грозил несчастьями, ломал мою волю, топтал мою душу. Я убила его. Его зарезали прямо во мне, рассекли на куски. Его ручки, ножки, его беззащитное тельце. Его вынули из меня, изрезанного, моего беззащитного мальчика. Он теперь приходит ко мне. Его безрукое тельце, его изрезанное лицо. Я слышу его голос: «Мама, мама!» Кидаюсь к нему, а вместо него открывается чёрная дыра, и из этой дыры дико смотрит твоё лицо!

— Вера! Вера! — Лемехов старался её обнять, — Всё не так! Всё будет у нас хорошо!

— Оставь меня! Ненавижу!
 Он пробовал целовать её руки:
 — Прости меня!
 — Уходи! Ты чёрт, чёрт!

Она кричала, визжала, била его по лицу. Её глаза безумно метались, на губах показалась пена. Птица в клетке истошно верещала и билась о железные прутья. Колокольчик со звоном упал на пол.

В комнату вошла санитарка, высокая, мощная. Схватила Веру, оторвала от пола и понесла. А та визжала, билась в её могучих объятиях.

Лемехов, потрясённый, смотрел, как розовеет на полу матерчатая тапка.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Лемехов, обезумев, гнал по Москве, не замечая перекрёстков, не видя светофоров, порождая вокруг себя вихри визжащих машин. «Я — чёрт! Я — чёрт!» — повторял он безумно, и ему казалось, что тело его под рубахой покрывается собачьей шерстью.

Всю жизнь судьба благоволит ему. Он счастливо вписан в потоки жизни, как самолёт совершенной конструкции. Эти потоки создают подъёмную силу, возносят его всё выше и выше. Он находится в таинственной гармонии с законами бытия. И эти законы способствуют его возвышению. Находясь в согласии с этими законами, он получил знак о своей исключительности, о своей мессианской доле, которая ведёт его к божественной цели.

Теперь же оказалось, что всей своей жизнью он попирает эти законы. Своими поступками искажал и искривлял потоки бытия. Разрушал гармонию мира. И был за это страшно наказан. Был выброшен из этих потоков. Бытие сбросило его с себя, как непосильную ношу. Он был урод, был грешник, был чёрт, чьё лицо до глаз покрылось звериной шерстью, от которого в ужасе, визжа тормозами, шарахались встречные машины.

Он убил своего нерождённого ребёнка, отдал под нож крохотное беззащитное тельце. Заточил жену в сумасшедший дом, чтобы та не докучала ему своими страданиями. Измучил и извёл возлюбленную Ольгу, в которой ценил только одно её прелестное тело, держал подле себя как источник чувственных наслаждений. Многие годы унижал Двумлистика, превратив его в слугу и раба, попирая его гордыню, не замечая в нём чуткую и ранимую личность. Безжалостно унизил и прогнал с работы старейшего инженера Саватеева, не услышав его слёзной мольбы. Вероломно изменил своему благодетелю Президенту Лабазову, который приблизил его к себе, наградил доверием, поручил громадное государственное дело. И, наконец, поддался безумной прелести, возомнил себя божьим избранником. Вознамерился со своей слабой волей и ограниченным разумом стать вершителем русской истории. Уподобиться великим царям и вождям. И ещё он убил медведя, восхитительного лесного зверя, могучее божество, охранявшее леса и озёра, черничники и камышовые заросли, земные цветы и небесные звёзды. И всё это делает его проклятым грешником, извратившим законы и заповеди. Делает его чёртом.

Он гнал по Москве, желая разбиться.

Вдруг подумал, что есть человек, способный вернуть его в потоки жизни, отпустить грехи, помолиться за него возвышенной, угодной Богу молитвой. Это Патриарх, которому он уже исповедовался, который благоволил ему, благословил на великие труды. Он встретится с Патриархом, падёт ему в ноги. Тот накроет его золотой епитрахилью, и этот чудесный покров заслонит его от жестокой тьмы.

Лемехов повернул машину и помчался в Переделкино, в резиденцию Патриарха.

Ворота в резиденцию были закрыты, и над ними, подобно райским цветам, возносились купола и шатры, голубые, алые, золотые, в лучистых звёздах, будто само небо осыпало ими чертог Патриарха.

Лемехов представился охраннику, указал на свою высокую должность, утаив правду о своём увольнении. Охранник просматривал списки, не находя в них Лемехова.

— Нету вас. Не значитесь.

— Да мне без ваших дурацких списков, по срочному делу!

— Не значитесь.

Лемехов звонил в протокольный отдел Патриархии, в канцелярию, в приёмную Патриарха. Но все телефоны молчали, словно номер Лемехова был внесён в чёрный перечень, и с ним не выходили на связь. Внезапно железная калитка отворилась, и к Лемехову вышел высокий суровый монах с чёрной гривой, яростно торчащей бородой и огненными, гневными глазами. Лемехов узнал в нём отца Серафима, келейника Патриарха.

— Мне передали, что вы пришли. Что вам угодно?

— Какое счастье, что я вас вижу! Телефоны молчат, протокол, канцелярия! Понимаю, иерархи, много дел, много видных владык! Патриарх — государственный! Если смута, и все предадут, и всё распадется, он один во главе государства! Гермоген или Никон! Он великий подвижник!

Лемехов волновался, чувствуя на себе пылающий взгляд монаха. Купола цвели и дышали, отделённые от Лемехова железными воротами, и он хотел, чтобы врата растворились, и его пропустили в рай. Но перед ним стоял грозный посланец, сжигал его огненным взором.

— Мне нужно пасть в ноги, и он исповедует! Только Святейший! Я заблуждался, грешил! Он отпустит мой грех, и я искуплю! Моя жена, моя бедная Вера! Ей уже лучше! Мы уедем в Карелию, в ту же избу! Чудесное озеро, гагара над крышей! Вере там будет спокойно! И снова, как в юности, в наше райское время!..

Купола в небесах расцветали, как клумба райского сада. Он слышал благоухание, ангельское нежное пение. Стремился туда, в этот райский сад, где добрый садовник примет его, обнимет, прижмёт к груди, поведёт по дивным аллеям, и больше не будет страданий.

— Мне нужно к Святейшему! Он исповедует! Ужасная тяжесть греха!

— Замолчите! — оборвал его отец Серафим. — Святейший вас не может принять. Вы нанесли тяжкий урон его репутации. Вы едва ни поссорили его с Президентом. Вы вкрались к нему в доверие, пригласили на свой крамольный съезд, где собрались заговорщики. Святейший в своей наивной доверчивости пришёл на ваш совет нечестивых. Ступайте и больше не появляйтесь! Вы враг православной церкви, одержимы сатанинской гордыней. Вас нужно предать анафеме!

Монах повернулся и исчез за железной калиткой. Врата в рай оставались закрытыми. Лемехов уходил, и ему казалось, что его изгнали из рая, и кто-то гневный, с пылающими глазами, летит за ним следом, поливая из ковша смолой.

«Но нет, — думал он. — Святейший — не есть Святейший, ибо он не святой. Он не святой, и оттого совсем не Святейший. Он человек из костей и плоти. Из плоти и костей человек. Есть тот, кто выше его, кто сияет над ним. Тот, кто сияет над ним, и выше его. И к нему принесу я мои грехи и паду к ногам. Паду к ногам и сложу перед ним грехи. И буду прощён!»

Так думал Лемехов, окрылённый последней надеждой получить отпущение грехов и вернуться в живую жизнь, откуда был изгнан. Он решил отправиться в церковь, где, подобно бриллианту, сияла икона «Божья Матерь Державная». Он покроеет её поцелуями, она отзовется теплом, в ответ поцелует его, и он будет прощён.

У церковной ограды сидели нищие, похожие на серые комочки тряпья, из которых выглядывали одинаковые, бурачного цвета, лица. Разом потянули к нему просящие руки.

Он вошёл в храм, в его смуглый сумрак, где золотился иконостас, и висели лампы. Старушка извлекала из подсвечника огарки и складывала в коробку. Кто-то недвижно застыл на коленях. И сразу же, от порога, он увидел «Державную». Как бриллиант, она брызнула на него разноцветными лучами, алая, золотая, лазурная, Раскрыла руки, словно выпускала из объятий младенца, и он парил в невесомости. Лемехов с обожанием устремился к иконе, осеняя себя крестным знаменем. Прикоснулся к иконе жаркими губами и горячим лбом.

Его поразил холод, исходящий от иконы. Не было таинственного благоухающего тепла и телесной нежности. Казалось, икона была плитой, прикрывавшей холодный погреб. Он молился, целовал икону, стремясь растопить холод, услышать ответный поцелуй.

Он отступил от иконы и встал на колени. Он рассказывал Богородице о своём нерождённом сыне, подносил к ней изрезанное окровавленное тельце. Рассказывал о медведе, который умирал от страшной боли, брызгая на траву кровью. Умолял простить его за жену, которая состарилась и поплёкла в клинике, в своих приспущенных носках и уродливых тапочках. Каялся за старика Саватеева и за

друга Двухлистикова, которых унижал своим властным превосходством. Умолял простить за вероломство по отношению к благодетелю Президенту Лабазову, у которого хотел отобрать власть. Стоя на коленях, он страстно просил Богородицу простить его, откликнуться на мольбу, отозваться на его поцелуи.

Поднялся, приблизился к иконе. Прильнул губами и тотчас отпрянул. Губы обжёг ледяной холод. Икона покрылась инеем, сквозь который тускло просвечивал лик. Словно икона была заморожена в огромную глыбу льда, которая образовалась от его отвергнутых молитв.

Тоскуя, он выбежал из храма. Шёл через двор к машине. Нищие тянули руки. Один из тряпичных комков распахнулся, и из него выскочил человек в красной засаленной куртке с мохнатым собачьим лицом. Один глаз заплыл синеватым бельмом, другой жутко мерцал рубином. Он кинулся к Лемехову, схватил его за рукав.

— Ты, Женька, чёрт, чёрт! От тебя калёным котлом пахнет! Ты Россию на куски изрубил и в котел положил! Она в котле кипит, а ты навар сымаешь! В тебе глист сидит, изо рта лезет! Я Колька Кривой, а ты Женька Поганый! Возьми денег, верёвку купи и повесься! — он тянул Лемехову железную банку с замусоленными деньгами. Лемехов выдирался, отталкивал нищего. Убегал, слыша, как тот лает ему вслед.

Он был проклят, ему не было места среди людей. Его не гнали, не побивали камнями, а в ужасе от него убегали. Он был страшен и омерзителен для всех, с кем встречался. Для нищих, скрывавших среди рубищ свои обрубки и язвы. Для священника, переходившего церковный двор и с отвращением от него отпрянувшего. Для молодой женщины с ребёнком, которая подхватила своё чадо и в панике убежала. Для водителя машины, который увидел его сквозь стекло и резко свернул в проулок. Мир отшатнулся от него, и между ним и миром зияла жуткая пустота, в которой не было воздуха, не было травы и деревьев, не было звёзд и света. Он был чёрной дырой, которую проткнула в мироздании чья-то беспощадная воля. И эта отчуждённость от мира порождала невыносимую боль. Он подчинялся жестокой воле, уходил от мира. Покидал его. Отступал туда, откуда был явлен в этот мир. Он стремился обратно к матери, в её лоно, где свернётся в крохотный клубочек, прижав к подбородку колени, окружённый её теплом, её берегающей любовью.

Озарённый этой последней спасительной надеждой, он развернул машину и направил её к Старо-Марковскому кладбищу, где находилась могила матери.

Кладбище было тихим, солнечным, с высокими елями, среди которых темнел мрамор, пестрели цветами могилы, редкие посетители ухаживали за цветами или сидели на лавочках за железными оградками, пребывая в благоговейной печали. В высоких вершинах, невидимые, пели две птицы, слово оповещали одна другую о появлении Лемехова. Он шёл по аккуратным дорожкам, среди знакомых памятников, ожидая, когда его слабо коснётся тепло. То, что исходило от матери, которая издавна слышала приближение сына.

Он миновал памятник какому-то армянину, видимо, картёжному игроку, который был высечен в рост на мраморной плите, и у его ног рассыпалась колода карт. Прошёл мимо памятнику какому-то ветерану в военно-морской форме с наградными колодками. Ожидаемого тепла всё не было, и он удивлялся, почему мать не встречает его.

Увидел знакомый крест и розовый камень с материнским именем. Над могилой пламенели оранжевые цветы распутившейся лилии. Папоротники, которые весной раскрывали свои косматые спирали, теперь превратились в зелёные пышные перья. Вся земля внутри оградки была в перистых листьях. Они слабо колыхались от ветра. Но не было тепла, не было слабого свечения в воздухе, которым мать встречала его, окружала своей нежностью и умилением.

Он вошёл в оградку и сел на лавочку, стараясь не потревожить папоротники.

— Мама, это я, — тихо произнёс он, ожидая услышать отклик. Быть может, она, как это бывало с ней во время болезни, задремала и не услышала его появления. — Это я, мама.

Но отклика не было. Не было тепла. Воздух был прохладный, пахнул землей, хвоей, в нём редко перекликались высокие птицы, но материнского тепла не было.

— Мам, я пришёл, — он старался её разбудить, напоминал о себе. Напоминал, как в детстве они вышли в метро на станции «Площадь Революции», и он с изумлением рассматривал бронзовые скульптуры матросов, солдат и рабочих, их револьверы, винтовки, и тёмная бронза в нескольких местах сияла от множества людских прикосновений.

— Мама, это я, — он напоминал, как вместе они шли по осенней вечеряющей улице мимо ампирных чахоточных клиник, где в чёрных деревьях истошно кричали вороны, и мама показала ему памятник Достоевскому, горький и страшный. Безумец выбежал в больничном халате и шлёпанцах под чёрные сплетения ветвей, с криками воронья.

— Мама, это я, Женя! — он умолял, чтобы она проснулась, подняла свою седую голову, устремила на него свои серые любящие глаза, и он станет гладить её усталую руку, поправлять на ногах тёплый плед. — Мамочка, это я!

Не было тепла, а был холод. Солнце скрылось, дул холодный ветер, волновал перья папоротников. Начинался дождь. Мать не принимала его. Отдалилась от него. Чуралась его. Не пускала под свой сберегающий покров.

Он звал её:

— Мама, мама!

Рыдал, и тяжёлый дождь бил его сквозь еловые ветки, и от могилы исходил ледяной холод.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Он вёл машину почти вслепую, плутал среди посёлков, утыкался в тупики и вдруг очутился в лесном массиве, перед бетонными брусками, которые преграждали въезд на лесную дорогу. Сама дорога, покрытая голубоватым асфальтом, уходила вдаль, и на ней по-стрекозиному вспыхивали спицы велосипедистов. Лемехов узнал эту дорогу. Ещё недавно, весной, он гулял здесь вместе с Верхоустиным, и тот рассказывал ему о таинственном ордене «Жёлудь», который должен был составить глубинную мощь партии «Победа». Тогда дорога была окутана сиреневой дымкой, на обочине в зеленоватой воде плавали бирюзовые лягушки, цвели ивы, и гудели в золотых цветах шмели. Теперь огромные зелёные дубы во всей красоте могучей листвы обступали дорогу. Лемехов, чувствуя, как неясные силы влекут его на эту дорогу, переступил бетонные бруски и двинулся в светлой просеке.

Редкие велосипедисты проносились мимо. Там, где прежде стояла талая вода, теперь цвели белые цветы. С деревьев проливались тягучие свежие ароматы. Он шёл, всматриваясь в даль, испытывая мучительную тревогу, исполненный большого ожидания. Почти не удивился, когда вдали на дороге возник человек. Ещё неразлично было его лицо. Была неясна его походка. Иногда казалось, что он останавливается и поворачивает вспять. Иногда казалось, что он идёт, не касаясь земли. Лемехов тянулся к нему, уже зная, с кем ему уготована встреча.

Они поравнялись. Верхоустин, худощавый, в лёгком костюме, в широкополой шляпе, сиял васильковыми глазами. Поклонился Лемехову, коснувшись шляпы.

— Здравствуйте, Евгений Константинович.

Лемехов смотрел на худое лицо, в котором играл таинственный металлический отсвет. Тонкие губы чуть улыбались. Синева глаз имела неземную природу.

Лемехов ощущал, как всё в нём начинает перестраиваться, мучительно подчиняясь воле этих колдовских глаз.

— Каким образом вы меня отыскали? — произнёс Лемехов, чувствуя, как трудно даются ему слова.

— Это было не так уж трудно. С того момента, когда вы сошли с самолёта, оказались в вип-зале и получили известие об отставке, вы стали источником столь мощного излучения, что открылась возможность фиксировать ваши перемещения на дисплее. Было видно, как вы направились в Дом Правительства, затем в ресторан «Боттичелли», затем в Олимпийский центр в партийный штаб. Я видел вас на набережной, где вы встречались с женщиной. В психиатрической клинике, где столь неудачно прошла ваша встреча с женой. У резиденции Патриарха, где получили отповедь фанатичного монаха. Затем вы отправились в церковь к «Державной», где на вас набросился безумный Колька Кривой. А оттуда вы навестили могилу матушки, царствие ей небесное. От Старо-Марковского кладбища было недалеко до этой дороги. И вот мы встретились.

Губы Верхоустина слегка улыбались, и трудно было понять, являются ли его слова тонкой насмешкой над Лемеховым, или это горькая улыбка сострадания.

— Почему вы не появились раньше, если знали о моей катастрофе?

Лемехов испытывал цепенящее чувство. Из синих глаз Верхоустина проливалась сила, не имевшая определения в земной реальности, исходила из других миров, завораживала и душила. Было бессмысленно ей противиться. Её власть была беспредельна. Она была ни доброй, ни злой, она была неодолимой.

— Почему вы не явились раньше? — бессильно произнёс Лемехов.

— Я ждал, когда разрушительная цепная реакция, которая вас захватила, осуществится во всей полноте. Когда в вас не останется ни одной уцелевшей клетки, ни одного живого органа, и вас ничто не спасёт. Теперь эта реакция завершилась. Вы истреблены и не подлежите восстановлению.

Лемехов чувствовал себя бабочкой, которую насадили на булавку и поместили в расправилку. Вонзает тонкое острие, раздвигают крылья, накладывают ленты бумаги, закрепляя на деревянном распятии. И огромные глаза надвинулись сверху, рассматривают узор и орнамент, голубые вкрапления и красные метины, предсмертное дрожание усиков и пульсирующую спираль хоботка.

— Всё моё горе — это ваших рук дело? Как вам удалось завладеть моей волей?

— Помните, на заводе, когда вы любовались изумительным ракетным двигателем, я произнёс имя Пушкина? Это имя действует магически на сознание русского человека. В детстве русский человек слушает сказки Пушкина и верит в «диво дивное». В юности он учит наизусть романтические стихи из «Руслана и Людмилы» и замирает от восторга и ужаса, декламируя: «О, поле, поле, кто тебя усеял мёртвыми костями»? В зрелые годы он восхищается «Полтавой» и «Медным всадником», самозабвенно восклицая: «Лоскутья сих знамен победных, сиянье шапок этих медных, насквозь простреленных в бою». В старости он понимает мудрость «Бориса Годунова» и религиозных стихов об «отцах-пустынниках и жёнах непорочных». Пушкин, как на клавишах, перебирает все русские коды, представление русского человека о природе, государстве, Божьем промысле. Его стихи переложены на музыку, которая омывает глубинные чувства и верования русского человека. Я произнёс имя Пушкина, и этим завладел сначала вашим вниманием, а потом и волей. Я проник в ваше сознание через врата, имя которым «Пушкин». В Йельском университете, где я учился, я прослушал курс пушкиноведения, который читал нам старый эмигрант, работавший на американскую разведку. Но это вовсе не значит, что я агент ЦРУ.

Лемехову казалось, что его окружили зеркалами, которые множат его отражения, раскручивают их, устремляют в бесконечность. Его личность теряется среди бессчётных подобий, мчится в чудовищном циклотроне, расшвыривается по Вселенной. Он старается вырваться из зеркальной западни, но зеркала хватают его, перебрасывают из одной сверкающей плоскости в другую. Он сходит с ума от этой пытки, не в силах одолеть помешательство.

— Но как вы это сделали? — спросил он, ослепнув от зеркальных вспышек.

— О, это было не так трудно. Как только я угадал вашу потаённую страсть, невысказанную мечту, которая скрывалась в сумерках вашего подсознания, как только я вывел её на свет Божий и сделал вашей путеводной звездой, вы оказались в плену у этой мечты, в плену моих замыслов и построений. Труднее всего мне дался перевод вашей скрытой мечты с бессознательного уровня на уровень неодолимой страсти. Это произошло в охотничьей сторожке, когда я пел вам северную песню. С помощью её магических повторов, её волшебных ритмов вводил вас в транс. Под наркозом извлекал из глубин вашей души потаённую мечту стать Президентом России. Так рыбак ловит драгоценную рыбу в тёмном омуте, дожидаясь, когда рыба метнётся и схватит наживку. Во время песни рыба несколько раз срывалась и уходила в глубину. Но, в конце концов, я выловил её из омута и пересадил в прозрачный водоём, где мог управлять её поведением. Вы ушли убивать медведя, ещё до конца не уверовав в своё мессианство, в предначертанную вам судьбу. Но медвежья кровь окропила вас, и ваш дальнейший путь обрызган звериной кровью.

Лемехову казалось, что страшная рука проникла сквозь лобную кость, погрузилась в мозг, и там сжимает мягкие доли. Управляет его мышлением. Возбуждает и гасит мысли.

— Но как вы управляли моей судьбой и, в конце концов, меня погубили?

— Каждый ваш взлёт, каждый поступок и неосторожное слово, где вы раскрывали свой «кремлёвский проект», — всё становилось известно Президенту Лабазову. Особенно его возмутило ваше выступление в Сталинграде, где толпа скандировала: «Лемехов — наш Президент». И он принял решение об отставке.

— Значит, Президент Лабазов здоров? И разговоры о его болезни, рентгеновские снимки позвоночника, тайная история болезни — всё это ваша ложь?

— Президент абсолютно здоров. Разве что перенёс лёгкий грипп. Какой-нибудь олигарх или чиновник чихнул, и у Президента лёгкий насморк.

Лемехов испытал миг безумия, как и тогда, когда заглянул в чёрное зеркало телескопа, и на дне этой вогнутой чаши дышала чёрная бездна, шевелились бесконечные миры и галактики, и эта бездна влекла его, обрекала на сумасшествие.

— Почему вы устроили мне западню? Вам-то это зачем?

— Когда я сулил вам великое будущее, я не обманывал вас. Среди всех российских политиков, всех высокопоставленных чиновников, всех претендентов на кремлёвское кресло, вы — самый лучший. Вас действительно была готова выбрать мистическая птица русской истории, которая искала дерево, где могла бы свить гнездо. Вы были самым высоким, крепким, цветущим деревом, и выбор мистической птицы пал на вас. Я должен был спилить это дерево, пока к нему не подлетела птица. Она уже приближалась, уже сложила крылья, готовая сесть, но я успел спилить дерево, и птица улетела. Пусть теперь ищет другое место для своего гнезда. Быть может, и не найдёт.

Помрачение Лемехова продолжалось. Это было похоже на то, когда в юности он старался представить две параллельные линии, которые пересекались в бесконечности. Из этой аксиомы проистекала пугающая геометрия мира, безумная математика жизни, где всё перевёртывалось, имело иные очертания, иные имена и формы, иные понятия и смыслы. Этот изуродованный потусторонний мир существовал рядом с привычным, был отделён двумя хрупкими параллельными линиями, которые сходились в точке его сумасшествия.

— Кто вы? Зачем вы спилили дерево?

— Не считайте меня агентом ЦРУ. «Моссад», «Ми-6», БНД — это тоже не я. К масонам не имею никакого отношения. Я — не из «Рэндкорпорейшн», не из финансово-промышленных групп или транснациональных корпораций. «Бильдербергский клуб» или «Трёхсторонняя комиссия» — не моя стихия. Все эти сообщества не для меня. Я — пушкинист, как вы однажды меня определили. Я специалист по глубинам русского сознания. Пушкин помогает мне проникнуть в эти глубины, а постижение этих глубин открывает мне путь в Царствие Небесное. Там я гуляю в райских садах вместе с русскими мучениками, героями и святыми. Я — специалист по русской святости.

Глаза Верхоустина смотрели ярко и лучезарно, словно их лазурь была добыта в райских странах.

— Кто вы? — беспомощно повторил Лемехов.

— Я специалист по России, той, которая именуется Святой Русью и мнит себя правопреемницей Царствия Небесного.

— Вы враг России?

Лемехову казалось, что его разум рассечён и разбросан по разным углам вселенной. Целостная картина мира отсутствовала, и это вызывало страдание. Он силится соединить рассечённый разум, чтобы возникла целостная картина мира. Отсечённые части разума начинали слетаться в фокус, готовые сложиться в единство, но промахивались и вновь разлетались, проделывая безумие.

— Вы враг России? — повторил чуть слышно Лемехов. — Почему?

— Видите ли, всё началось с молитвы, которую Иисус завещал нам, и которую человечество повторяет уже две тысячи лет. «Отче наш, сущий на небеси, да святится Имя Твоё, да придет царствие Твоё, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле».

В этих молитвенных словах Иисус призывает людей строить Царствие Небесное у себя, на земле, и только русский народ, единственный из всех земных народов, воспринял этот завет Господа буквально. Строит это царство в России. Святая Русь времён Сергия Радонежского — это прообраз Рая Небесного на русской земле. Учение старца Филофея о «Москве — третьем Риме» — это теория о русском государстве, которое низводит небо на землю, созиждет Земной Рай. Патриарх Никон построил под Москвой Новый Иерусалим, чтобы именно сюда снизошёл Христос и превратил Россию в Райское царство. Иосиф Сталин строил в России райское царство, огромный красный монастырь, населённый святым народом. Все эти стремления каждый раз разбивались о твердыню Запада, который не желал трактовать буквально молитву «Отче наш» и откладывал Царство Небесное на потом. Он рассматривал Россию как великую для себя укоризну, великое искушение, уводящее

человечество в несбыточную утопию. И Запад во все века насылал на Россию нашествия, чтобы не слышать этот укор, устранить искушение. Запад разрушил Святую Русь времён Рюриковичей, погрузив Россию в Смуту. Запад разрушил православную империю Романовых, учинив Февральскую революцию. Запад уничтожил Советский Союз, приведя в Кремль своих исповедников. Но тайными силами мироздания, божественной волей Того, кто подарил людям молитву «Отче наш» и сделала русский народ народом-молитвенником. Каждый раз Россия возрождалась из пепла и вновь приступала к построению Рая Земного. Вот почему я здесь, в России, и почему я спилил дерево. Вам понятно, Евгений Константинович?

— Нет, — едва слышно ответил Лемехов.

Ему хотелось скрыться, исчезнуть, вернуться туда, где его не было, где он был каплей живой материи, безымянной молекулой, пучком световых лучей. Ему хотелось укрыться в той перламутровой пуговице, которую так любил рассматривать в детстве, представляя, как сияет она на платье прабабки, когда та садится в коляску, и мелькают мещанские домики, купеческие лабазы, палисадники с золотыми шарами. Хотелось слиться с переливами перламутра, спрятаться в раковине, которая лежала когда-то на дне чудесного моря, среди зеленоватых лучей. Но Верхоустин не отпускал от себя, мучил жестокими фантазиями.

— Я поясню свою мысль, Евгений Константинович. Россия, пережив своё очередное крушение, вновь создается. Она прошла первичные формы своего становления, обрела материальную мощь, укрепилась морально и теперь готовится к взлёту. Этот взлёт обещает стать ослепительным. Россия вновь соберёт отторгнутые у неё территории. Вновь соединит под своей дланью расчлённый русский народ. Вновь совершит прорыв в науке и технике. Но, совершив всё это, она в который уж раз прочитает молитву «Отче наш» и начнёт создавать на земле Небесное Царство. Это царство всплывёт, как волшебный Град Китеж из тёмных пучин. Как русское чудо в сиянии золотых куполов. О нём запоют великие русские песнопевцы. Заиграют на струнных и духовых инструментах русские музыканты. О нём возвестят в стихах русские поэты. Его изобразят на полотнах русские живописцы. И его в своих деяниях станет воплощать великий русский правитель, народный вождь, непревзойдённый лидер. Такой лидер предсказан. Его вычисляли политологи и знатоки русской жизни. Искали разведчики и конспирологи. О нём гадали звездочёты и колдуны. Но его обнаружил я. И этим будущим непревзойдённым правителем оказались вы. Вы — тот будущий лидер, который начнёт создавать в России Царство Божье. И это страшнее для Запада, чем все ваши самолёты и подводные лодки, лазеры и космические группировки. Я сделал всё, чтобы вы не стали этим лидером. Я срубил дерево, на которое готова была сесть вещая птица русской истории. И теперь птица покружит над пнём и улетит обратно. И построение Царства Небесного будет отложено.

— Вы кто? — Лемехову казалось, что он теряет сознание. Его лоб буравило тонкое стальное сверло, погружалось в костную ткань, в студенистую мякоть, добираясь до потаённого центра, в котором мир выворачивался наизнанку, и открывалась обратная сторона мироздания. Тончайший бур приближается к точке, из которой готово хлынуть безумие, бесформенное и бесцветное, превращая всё сущее в неразличимый туманный хаос.

— Вы спрашиваете, кто я? — тихо засмеялся Верхоустин, и его глаза затрепетали лазурью, на которую пал ветер. — Я оборотень.

Он повернулся, сошёл с дороги, перескочил обочину, прошуршал по белым цветам и скрылся. И некоторое время было слышно, как хрустит под его ногами валежник. И оттуда, куда он удалился, вылетела сойка, с трескучим криком перелетала дорогу, и на солнце сверкнула её лазурь.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Он в изнеможении вёл машину, боясь потерять управление, столкнуться со встречным потоком, исчезнуть в слепом ударе. Рублёвское шоссе, переполненное машинами, липко тянулось среди вечерних сосен, нарядных биллбордов, фешенебельных магазинов. Лемехов желал поскорее добраться до дома, повалиться в постель и забыться. Заслониться от кошмара каким-нибудь воспоминанием о лесной опушке, тёплой сухой траве, в которой немолчно верещит невидимый осенний кузнечик.

Он въехал в Барвиху, миновал роскошные особняки, напоминавшие средневековые замки, барочные дворцы и мавританские крепости. Ждал, когда появится его ампириная усадьба, любимая ротонда, белоснежные колонны, медовый фасад. И был остановлен скоплением автомобилей, мятущимися людьми, красными пожарными машинами. Они дико выли, пробираясь по тесной улице, разбрасывали по сторонам панические лиловые вспышки.

Его дом горел, жарко, страшно, охваченный рыжим пламенем, которое шумно летело ввысь, увлекаемое могучей тягой. Пожарные машины окружили дом красными коробами. Пожарники в робах и сияющих касках тянули шланги, били в огонь розовыми струями. Газоны вокруг дома казались красными, задымлённое небо было красным, и в него ровно ревело рыжее пламя.

— Куда! Куда! — рывкнул на Лемехова пожарник с рацией, заслоняя путь, пропуская мимо двух пожарных, разматывающих бобину с асбестовым шлангом.

— Мой дом горит! — отшвырнул он пожарника и ринулся к дому. Жар остановил его, не пускал. Он заслонялся рукой, смотрел, как мимо, волоча шланг, косолапят два пожарника в шлеме. Шланг был прорван, и из него била водяная дуга.

Лемехов, остановленный стеклянной стеной жара, смотрел, как горит его дом. Горит кабинет с любимыми фетишами, охранявшими его домашний покой. Горит библиотека отца и тетради его стихов, иные из которых он так и не успел прочитать. Горит комната мамы с иконами и лампадами, и тем камушком, который она привезла со Святой Земли, и той сухой розой, которую она укрепила у своего изголовья. Горит зимний сад с бассейном, в котором вскипают рыбы, и гибнет божественный цветок Виктории Регии. Горит араукария с пушистой кроной, араукария, в которой притаилась тень матери. Олеандр с глянцевыми листьями, в которых, прилетев с берегов Лимпопо, поселилась душа отца. Молодая пернатая пальма, в которую воплотился его нерождённый сын. Всё это сгорало, и он остолбенел, приговорённый к чудовищной казни, которую вершила над ним судьба. Без воли, без молитвы, без слёзного вопля он принимал эту казнь.

Он вдруг увидел, как из пламени, из-за охваченных огнём колонн выбежали мать и отец. Отец прижимал к груди младенца, а мать, воздев руки, тянула их к Лемехову. Одежда на них горела. Они были как факелы. Лемехов пытался крикнуть, пытался позвать: «Мама! Папа!» Но во рту его чавкал ком слюны и слёз, раздавалось мычание. С этим мычанием и хрипом он ринулся им навстречу.

— Куда! Сторишь! — пожарник пробовал его удержать, но Лемехов вырвался, бежал навстречу любимым, издавая бессловесное мычание. В спину ему ударила мощная струя из брандспойта, толкнула вперёд, опрокинула. Вокруг шипела, ревела вода, и он, теряя сознание, видя у глаз красные пузыри воды, мычал и стонал, забыв все людские слова.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Он был отсечён от прошлого, был извергнут из бытия, был отлучён от Бога. Он был проклят. Был беженец, погорелец. И у него пропал дар речи. Лёжа на траве, среди кипящих пузырей, стараясь докричаться до отца и матери, он видел, как они сгорают в огне. Но вместо слов у него вырывалось мычание. Он больше не мог говорить. Его мысли не превращались в слова, но оставались в гортани, как бурлящий ком, от которого он задыхался, выталкивал его языком. Но вместо слов раздавался животный рык и мычание. Он больше не пытался говорить, и мысли, не превращённые в слова, перекатывались в голове, как валуны.

У него не было привязанностей. Не было дома, друзей. Его гнал тупой ветер, больше не приносивший несчастий. Ибо их мера была исчерпана. Вместо боли он испытывал мертвенное безразличие. Он покорно отдавал себя тупому ровному ветру, который дул из невидимой дыры. Гнал его, словно он был ком сухой травы, пустой и лёгкий, состоящий из мёртвых колючек. Летел в степи, перевёртываясь, не умея нигде зацепиться.

Он уехал из Москвы наугад, вслепую, повинуюсь тупому ветру, который перемещал его по вагонам, автобусам, случайным машинам. Оказывался на перронах незнакомых вокзалов, на глухих полустанках, в безымянных городках и селениях. Его волосы обгорели на пожаре. Лицо заросло щетиной. Костюм обносился. У него оставались карманные деньги, которых ему хватало на воду и

хлеб. Но смазливая цыганка, приставшая к нему в электричке, обобрала его. Полицейские на вокзалах пытались его забрать, но при обыске находили паспорт и отпускали. Он мычал, и сердобольные люди давали ему денег и еду, которые он принимал без благодарности. Иногда из прошлого к нему прилетал случайный образ или лицо, но он не знал, что с ними делать, и они, покружив, улетали обратно, как нераспечатанные письма.

Теперь он катил в допотопном скрипучем вагоне по разболтанной колее, которая затерялась в сиротливых пространствах, где-то между Тамбовом и Пензой. Поезд тащился медленно, с частыми остановками. Одни люди с тюками и сумками покидали душный вагон, другие, с такими же тюками и сумками, занимали их место на рыжих обшарпанных лавках. Лемехов, как во сне, смотрел на потные некрасивые лица, на унылые придорожные селения, на перелески, начинавшие сохнуть от жара, на поля, давно забывшие плуг, поросшие чахлым мелкоколесьем. Он не знал, куда и зачем едет. Он не убегал и не скрывался от постигших его несчастий. Не стремился туда, где может обрести утешение. Безвольно, сонно он кружил в путанице дорог, бесцельно расходуя оставшуюся ему жизнь, которая медленно иссякала среди однообразных пространств.

Он не знал, почему поднялся и сошёл на очередной остановке. Оказался на замусоренном перроне, быстро опустевшем после того, как поезд растаял среди солнечных миражей. Вяло взглянул на вывеску с названием станции, которое не отпечаталось в его памяти. Подождал, когда скроется в помещении немолодая женщина, свертывая жёлтый и красный флажки. Когда пробежит мимо облезлая, с высунутым языком собака. И пошёл прочь от железной дороги туда, где начиналось безымянное селение.

Он сонно смотрел на близкие строения, одно из которых было магазином, другое — невзрачной конторой, третье — нелепым складом. Люди вокруг казались приклеенными к этим невзрачным строениям, как мухи, приставшие к липкой бумаге.

Он брёл через посёлок понуро и слепо, не выбирая улиц, минуя неказистые домики с подслеповатыми оконцами, кривыми заборами, чахлыми цветами в палисадниках. На окраине стояла развалившаяся животноводческая ферма, ржавая водонапорная башня. За ними открывалось белёсое поле. Просёлочная дорога, пыльная, залитая солнцем, уходила к далёкому, почти у горизонта, лесу. И здесь, на этой дороге, Лемехов впервые почувствовал, что его блуждания не случайны, что кто-то незримый, выбирает для него пути, пересаживает из вагона в вагон, и теперь привёл к этому безвестному просёлку.

Он поднял ногу, задержав в воздухе, не решаясь ступить в дорожную пыль. А когда ступил, почувствовал, что выполнил чью-то волю, и действует в согласии с чьим-то неведомым замыслом.

Это изумило его. Было похоже на пробуждение после наркоза, когда на теле начинает болеть живая рана. Или когда на спиленном под корень стволе вдруг проклюнется одинокая почка, зелёный бугорок среди мёртвой коры.

Это ощущение длилось недолго. И он снова шёл по жаре, ослеплённый солнцем, не зная, куда и зачем бредёт.

Один раз его обогнал грузовик, поместив в мучнистое облако пыли, и он стоял, дожидаясь, когда ветер отнесёт пыль, и откроется поле с удалявшимся пыльным клубком. Навстречу ему попался велосипедист с коричневым от солнца лицом, который крутил скрипучие педали, виляя на полуспушенных шинах. В остальном дорога оставалась пустой. Ни пешехода, ни автобуса. Только слепое пекло, и круглая тень под ногами, которую он устало топтал.

Ему захотелось пить. Когда жажда казалась нестерпимой, у обочины возник ручеёк, дрожавший на солнце, с лентой зелёной травы. И это тоже было знаком того, что кто-то следит за его странствиями, создал для утоления жажды ручей.

Родничок бил из песчаной лунки, трепетал серебряный бурунчик, крутились песчинки. Вода дрожала в крохотном русле, питала зелёную траву, купы белых цветов. Лемехов лёг на землю, чувствуя, как солнце жжёт затылок. Приблизил лицо к прохладной воде и стал ловить губами серебряный язычок. Пил, целовал сладкую воду, которая студила ему лицо, грудь, жаркое нутро. Испытывал блаженство. Ему казалось, что он целует смеющиеся губы, родные и любящие.

Напился, омыл лицо. Достал из кармана завёрнутый в бумагу чёрствый хлеб. Макал его в родник, ел пропитанную водой сладкую мякоть.

Увидел, как на цветы опустился шмель, чёрно-жёлтый, полосатый, перебирая лапками соцветье. Вдруг вспомнил солнечную комнату на даче, лёгкую занавеску, за которой цвёл жасмин, и шмель, залетев в окно, гудел, стараясь найти выход в сад. Жена протянула молодую смуглую руку, откинула занавесу, и шмель с благодарным гулом улетел на свободу.

Это воспоминание было острым, залетело в его жизнь из бесконечно далёкого прошлого. И кануло, оставив по себе болезненное недоумение. По-прежнему мир вокруг был полон ровного слепящего света с неразличимыми очертаниями предметов, событий и чувств.

Он вновь шагал по дороге. Достиг леса и прошёл сквозь его прохладу, косое солнце, бьющее из еловых вершин. Снова шёл полями, не встречая селений, словно дорога вела из одной бесконечности в другую. Круглая тень под ногами вытянулась, ушла далеко за обочину, следовала за ним, достигая холмов. Поля вокруг покраснели, заря медленно угасала, превращаясь в расплавленную струйку, которая стекала за горизонт и меркла. И вновь на этой меркнувшей дороге, он очнулся от острого знания. Эта неведомая дорога с сорным бурьяном на обочине, в комьях запёкшейся грязи, являлась продолжением множества других дорог, по которым он проходил. Той розовой тропки среди росистой травы, по которой в детстве бежал вместе с отцом, и босые ноги чувствовали прохладную землю, и подсолнухи, мимо которых пробегал, дохнули мёдом. И той железной палубы крейсера, по которой ступал мимо глубинных бомбомётов, артиллерийских установок, контейнеров с крылатыми ракетами, и море кидало ему в глаза жестокие стальные вспышки. И той лесной подмосковной дороги, где в изумрудной воде скользили бирюзовые лягушки, и человек с васильковыми глазами произносил колдовские слова. Все эти тропинки, автострады, железные дороги и самолётные трассы сливались в один непрерывный путь, которым он следует от рождения до смерти. И он сам, совместивший в себе столько дорог, он сам есть путь, которым движется в мире безымянная и творящая воля.

Это переживание зажглось и погасло вместе с фиолетовой струйкой зари.

Он шёл во тьме, видя над собой большие яркие звёзды. Нежданно, во мраке, достиг села, которое темнело кровлями среди блестящих созвездий.

Не было ни огня. Не лаяли собаки. Он чувствовал страшную усталость. Не находил места, где смог бы прилечь. Среди чёрных изб вдруг заметил светящееся оконце и устремился на его жёлтый стеариновый свет.

Избу огораживал забор. Калитка была заперта. Он увидел скамейку и опустился на неё, глядя, как свет из окна освещает мелкую траву, рытвины, какую-то сорную грудку. Он прижался затылком к забору, готовый уснуть.

Хлопнула дверь в избе. Скрипнула калитка. Фонарь осветил землю, свет полетел вдоль улицы, скользнул по соседним заборам, погас. Человек, погасивший фонарь, попал в отсвет окна, и Лемехов увидел маленькую полную женщину в чёрном, до земли, платье, с круглым пухлым лицом, по которому скользнул свет окна.

— Кто тут? — ахнула женщина, увидев на лавке Лемехова. Фонарь брызнул ему в лицо. — Чего надо?

Лемехов что-то хотел ответить, но язык устало дрогнул, и Лемехов слабо и невнятно промычал.

— Господи! — женщина исчезла в калитке. Звякнула дверь избы, и стало тихо. Но опять стукнула щеколда, отворилась калитка, и два фонаря ослепили Лемехова. Теперь рядом с женщиной оказался высокий бородатый мужчина, шарил фонарём по лицу, ногам Лемехова, светил вокруг, словно искал кого-то, кто мог притаиться.

— Ты кто таков? — Лемехов заметил в кулаке мужчины топор и опять промычал, желая сказать, что ужасно устал и хотел бы прилечь и уснуть. Но вместо слов из него истёк жалобный стон.

— Ты что, немой? — спросил мужчина, вновь слепя фонарём. — Откуда свалился? Шёл бы ты мимо.

Лемехов испугался, что его прогонят, и ему придётся вновь влачиться в ночи, без ночлега и приюта. Беспомощно промычал.

— Пошли, у батюшки спросим, куда его, — в руке у мужчины, попав в свет фонаря, блеснул топор. Фонари погасли, и Лемехов снова остался один.

Он начал засыпать, и ему казалось, что он поднимается на мерно рокочущем лифте, в их прежнем доме, на Тверской. И там, куда движется лифт, знакомые комнаты с большими светлыми окнами, из

которых виден весенний бульвар, сверкающий фонтан, памятник Пушкину. У его подножия, словно рубиновые капли, — цветы. Лифт остановился, и голос из полыхнувшего фонаря, произнёс:

— Вставай. Батюшка велел тебя привести.

В сенях горела тусклая лампочка, освещая бревенчатые стены и две двери, высокую и низкую, одну напротив другой. Мужчина толкнул низкую, пропуская Лемехова со словами:

— Пригнись, лоб расшибёшь.

Лемехов очутился в светёлке с нависшим потолком и лавками вдоль стен. Повсюду висели иконы, бумажные, в окладах из фольги. Горело несколько лампад, пахло церковным елеем и квашеной капустой. Здесь был и тот, кого Лемехов в темноте принял за женщину, на свету же оказался маленьким толстым мужчиной в чёрном подряснике, с безбровым, безбородым лицом и длинными волосами.

— Сиди тут, — он указал Лемехову на лавку. — Покуда батюшка не кликнет, — и оба, бородач и безбровый, ушли, оставив Лемехова одного.

Тот сидел на лавке, почти спал, видя, как двоится, туманится зеленоватая лампада, отражаясь в тиснёной фольге оклада. Горенка напоминала келью и обилием икон мамину спальню, и от этого Лемехову стало тепло и грустно. Он таял и улетал в сладком сновидении.

Но сон был прерван. В светёлке появился бородач с жилистой шеей, крепкими пятернями, почерневшими от огня и железа.

— Идём, немой. Батюшка велел тебя звать.

Прошли через сени и оказались в избе. Потолок был высок. Пол сплошь застланы цветные половики. В двух подсвечниках жарко пылали свечи. Сияли образа. Посреди избы стоял крупный плечистый священник в рясе и золотой епитрахили. Чёрные волосы были стянуты на затылке в тугую косу. Лоб был высок и бел. Смоляные брови почти срослись. В чёрной квадратной бороде снежно белел завиток. Глаза пронзительно сверкали, словно в них горели две чёрные звезды.

— Отец Матвей, вот раб Божий, которого мы с Семён Семёнычем подобрали.. Немой, мычит, как телёнок.

— Ты кто таков? — спросил священник, сверкнув огненными глазами. Сон Лемехова улетучился, появилась робость и готовность подчиниться повелению властного пастыря.

— Откуда? — повторил отец Матвей. Лемехов слабо промычал. — Из Ломакина, что ли? — Лемехов покачал головой и издал подобие стога. — Не местный? Может, тамбовский? — Лемехов покачал головой. — Хочешь сказать, из Москвы? — отец Матвей оглядел Лемехова с головы до ног. Сбитую обувь, грязный, пыльный, когда-то дорогой костюм, французскую сорочку, у которой ворот почернел от грязи. Весь его неряшливый, измученный облик, исхудалое, с провалившимися щеками лицо, на котором неопрятно топорщилась щетина.

— Стало быть, к нам из Москвы?

— Может, вывести его за село и погнать? — бородач с готовностью шевельнул чёрными могучими пятернями.

— Погоди, Фёдор, гнать. Его к нам Бог послал, чтобы вместе с нами спастись. Берём его в наше малое стадо. Садись, раб Божий, — указал он Лемехову лавку, и тот послушно сел, понуждаемый властным огненным взглядом.

Нелюбезный бородач покинул избу. Отец Матвей скрылся за перегородкой, и оттуда послышался его рокочущий, тихо поющий голос. Лемехов остался на лавке, озирая избу.

В углу на божнице стоял большой застеклённый образ Спасителя, горела лампада. На стенах висели иконы, бумажные, на дощечках, в дешёвых латунных окладах. Все они размещались вокруг больших, в деревянном футляре часов, на которых пульсировала секундная стрелка. Бумажные розы, белые и алые, окружали часы. Лемехов слышал едва различимое тиканье. В дальнем углу стояли надетые на древко латунный крест, гранёный стеклянный фонарь, лучистая звезда, — всё, что выносят на крестный ход прихожане. Изба, в которой оказался Лемехов, была молельным домом или надомной церковью. Было странное чувство, что именно её искал он в путанице дорог, к ней неуклонно приближался, меняя поезда и попутные машины, внезапно, без видимой причины, покидал утлый вагон, выходя на безымянных полустанках. И теперь он нашёл эту обетованную избу с венком из бумажных роз, среди которых трепетно бежала хрупкая стрелка.

Стукнуло снаружи. Растворилась дверь, колыхнув пламя свечей. Порог переступила немолодая, грузная женщина. Торчали из-под платка седые прядки, у носа и рта темнели усталые морщинки, в

руках был кулёк. Не выпуская его, она перекрестилась на образ, тяжело сгибаясь в поклоне. Появился бородач Фёдор. Указал на лавку:

— Садись, Ирина. А этого раба Божьего мы с Семён Семёнычем подобрали. Мычит как бычок. Значит, немой. Батюшка его с нами оставил.

Женщина поклонилась Лемехову и села рядом, положив на колени кулёк.

В избе появился Семён Семёныч, кругленький как колобок, с бабьими белыми щеками. Ввёл за собой высокого сутулого парня. Его лицо было одутловато и серо, глаза из-под низкого лба смотрели подслеповато, в руках он держал пластиковый пакет, топтался у порога.

— Ступай, Виктор, не торчи, как бревно, — Семён Семёныч направил парня к лавке, и тот сел, опустив пакет у ног.

Лемехов не удивлялся появлению этих людей, не задавался вопросом, куда они все снарядились. Он был среди них, его привёл в этот дом невидимый поводырь, и всё, что ни случится, будет принято им со смиренной покорностью.

В избе появлялись всё новые посетители. Через порог перенёс костыль худощавый человек с нечёсаными волосами и синими, блуждающими глазами. Глаза взволнованно кого-то искали и, не находя, наполнялись слёзной печалью.

— Егорушка, посиди, давай, а батюшка скоро выйдет, — Семён Семёныч направил калеку к лавке, и тот неловко сел, не зная, куда деть костыль.

Вошла чернявая, похожая на цыганку женщина. На увядшем смуглом лице оставались красивыми пунцовые губы и лучистые глаза, которые были обведены тёмными больными кругами, а щёки начинала покрывать мелкая рябь морщин.

— На-ка стул, Елена. Нет, под часы не садись, а туда, к окну, — командовал Семён Семёныч, между тем, как бородастый Фёдор скрылся за перегородкой, откуда звучали два рокочущих голоса, его и отца Матвея.

Отворилась дверь, и вошла маленькая молодая женщина с матерчатой сумкой. Кофта её не сходила на животе, который круглился, натягивал платье. Её милое лицо сплошь покрывали рыжие веснушки, как это бывает у беременных. Серые глаза светились робкой надеждой, тихим умилением и виной — за свой живот, плохо застёгнутую кофту, жёлтые, цыплячьего цвета носки и большие нечищенные туфли.

— Пришла, Анютка, а ведь батюшка брать тебя не велел, — сердито встретил её Семён Семёныч.

— Куда же я? — умоляюще сказала женщина. — Куда же я теперь?

— Думать надо было, когда нагуливала. Будет теперь блядин сын. С ним не спасёмся, — Семён Семёныч подставил ей табуретку, сердито отвернулся.

Сидели молча с кульками и сумками. Лемехов не знал, в какую дорогу они все собрались. Чувствовал, что предстоящая ему дорога продолжит множество предшествующих дорог, сольётся с ними в один общий путь.

За перегородкой умолкли песнопения. На свет вышли отец Матвей и Фёдор, оба чернявые, бородастые, ещё неся в горле рокочущий звук.

— Братья и сёстры, — отец Матвей вскинул иссиня-чёрные брови. Его глаза восторженно сверкали, как два чёрных бриллианта. Белый завиток в бороде ослепительно сиял. — Вы собрались в эту скромную келью, которая стала для вас домом духовным. Готовы от её порога ступить на стезю последнего очищения и спасения. Многих мы звали с собой, но не многие откликнулись, ибо много званых, но мало избранных. Вы — избранные дети Божьи, но не вы избрали себе спасение, но Господь сам выбрал вас, отсеяв от миллионов других, как зёрна отсеивают от плевел. Вы — зёрна, из которых будет испечён хлеб новой жизни. Вы — соль земли, которую Господь берёт себе, отделяя от мёртвого песка и глины. Вы — малое стадо, которое собралось из миллионов заблудших овец, отданных в пищу волкам. Вы же, претерпев многие испытания и муки, одержали победу. И теперь во славе Божьей идёте на встречу с Отцом Небесным.

Лемехов чутко и сладко внимал. Его сердце было подобно птице, сидящей на ветке и готовой взлететь. Впервые за минувшие недели, когда мир вокруг сгорал и осыпался ему на голову холодной золой, и он покорно подставлял голову под эти тёмные пласты пепла, — впервые сверкнула лазурь. В надежде и страхе он слушал священника, зовущего в таинственный путь.

— Ты, Ирина, многострадальная дочь Божья. Претерпела от клеветников, которые воспользовались твоей простотой, оговорили тебя, повесили на тебя растрату в магазине, и ты в тюрьме мучилась за чужие грехи, сносила терпеливо свою муку. О таких Христос сказал: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царствие небесное». Тебе, Иринушка, уготовано Царствие Небесное.

На тяжёлом унылом лице женщины дрогнули губы, она слабо всхлипнула и замерла, оцепенела.

— Ты, Егорушка, — отец Матвей обратился к инвалиду, уложившему на пол костыль, — ты усердный в молитвах, сносишь насмешки, побои, безропотно принимаешь свою судьбу и благодаришь Бога за всё. Во всём видишь волю Божью. О таких Спаситель сказал: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Ты, Егорушка, вкусишь райских хлебов.

Калека тихо ахнул, и на его измождённом лице счастливо засияли глаза.

— Ты, Виктор, был воином и солдатом, и в военном походе усмирять врага и нёс родной земле мир. Пострадал от взрыва, и теперь всё мучаешься, так что горлом кровь идёт. О таких, как ты, Отец наш Небесный сказал: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». И теперь ты воин Христов и идёшь в поход, чтобы обрести Царствие Небесное.

Парень, к которому были обращены слова священника, задышал глубоко, и на его сером одутловатом лице проступил слабый румянец.

— Ты, Елена, многое испытала, и немалую часть жизни провела в суете, артисткой, певицей, плясуньей, и многим искушениям предавалась. Но Господь вразумил тебя тяжёлым недугом, и ты вняла его вразумлению, и чистосердечно отстала от прежней жизни. И теперь ты в малом стаде, которое спасётся. О тебе Христос сказал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».

Елена вспыхнула, и её усталое лицо на мгновение вдруг стало прекрасным, как будто солнце из-за тучи брызнуло светом, а потом померкло.

— Ты, Семён Семёныч, кроткий и безответный. Сердитого слова от тебя не слышишь. «Бог простит. Бог простит». О таких Спаситель сказал: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю».

Семён Семёныч перекрестился, подбежал к батюшке и приложился к его белой большой руке.

— А ты, Фёдор, — отец Матвей повернулся к суровому бородачу, — ты долго искал свою правду. Был милиционером, налоговым инспектором, то есть мытарем, торговую лавку держал и нигде себя не нашёл. Нигде не сыскал истины, и только во Христе утешился. О подобных тебе Христос сказал: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное».

Бородач засопел и потянул железный кулак к глазам, в которых блеснули слёзы.

— А ты, раб Божий, — обратился священник к Лемехову, — не знаю, как звать тебя, зато Господь знает. По виду много тебе досталось в миру, много камней в тебя брошено, но камни эти тебя не убили, а пригнали к нам. И ты благослови эти камни. Вижу по твоим глазам, что нет в тебе зла, а одна боль. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Потерпи, и боль твоя сменится несказанным блаженством.

Впервые за эти недели к Лемехову обратились со словами утешения и любви. Не гнали, не отвергали. Не спрашивали, кто он и откуда. Приняли в своё братство, и он испытал ко всем, кто его окружал, слезную благодарность. Не понимая и не стараясь понять смысл этого ночного собрания, обожал этого батюшку с белым завитком в бороде, который сиял, как серебряный месяц в ночи. Был готов следовать за ним, радостно повинуюсь его пастырской воле.

— А ты, Анюта, зачем пришла?! — отец Матвей грозно уставился на маленькую женщину, натянувшую кофту на круглый живот. — Ты не угодна Господу. Ты блудница, и от тебя родится блядин сын. О подобных прилюдных младенцах Иисус сказал, что лучше бы им не родиться, такие они примут муки. Ты, как паршивая овца, портишь всё наше стадо. Ступай вон!

— Батюшка, не гони! — зарыдала беременная. — Я у Господа вымолю спасение для сынишки. Как же мы будем здесь погибать, как же змеи нас искушают, как же муравьи нас обглодают, как же в котлы с кипятком нас кинут, как же ножами нас посекут. Батюшка, не гони! Господь милосердный простит и не отвергнет!

— Возьмем её, отец Матвей, — сказал бородачатый Фёдор. — Богу решать, как с ней быть. Отсечь, как негодную ветку, и кинуть в огонь. Или взять в Царствие Небесное!

— Из-за неё никто не спасется, — сказал отец Матвей, — Да видно от неё не отцепиться.

В избе было душно. Пылали свечи. Качались по стенам и потолку тени. Сверкала золотая епитрахиль. Сиял серебряный месяц в бороде священника.

Лемехов не понимал и не хотел понимать смутные намёки, ускользавшие смыслы увещаний, назидания отца Матвея. Он был благодарен этим людям, которые приняли его в свой круг, открыли ему дверь среди глухой ночи, пустили в тепло, в свет свечей, в сиянье латунных окладов. Он чувствовал, что в его крошечном горе появилась таинственная воля, которая вела его по городам и селеньям, пересаживала из вагона в вагон и привела по ночной дороге в безвестное село. Усадила в избе на деревянную лавку.

На стене висели часы в старинном деревянном футляре, с римскими цифрами, с узорной часовой и минутной стрелкой, с трепетаньем секундной стрелки, которая скользила по кругу, издавая стрекотинный шелест. Казалось, что все висящие на стене иконы, все алые бумажные розы, все многоцветные лампы окружают эти часы, как главную святыню, и белая эмаль циферблата напоминала божественный лик.

— Хочу, дорогие братья и сёстры, открыть вам тайну этих часов. Вы не раз приступали ко мне с просьбой поведать эту тайну. И ты, Фёдор, и ты, Семён Семёныч. Но я откладывал, ибо время не наступило. Ибо есть времена, а есть сроки. И теперь времена кончаются, и наступают сроки, — отец Матвей поклонился часам, как кланяются образу. И все, кто находился в избе, повторили его поклон. И Лемехов, будто его колыхнул неслышимый ветер, поклонился часам. — Часы эти принадлежали тамбовскому батюшке, который ездил в Петербург, и эти часы ему преподнёс Иоанн Кронштадский. Сказал, даря: «Эти часы не я завёл, и не я остановлю. Ты стой на молитве и смотри на часы. Они русское время и русские сроки укажут. Первый раз остановятся гневом Господним, который по нашим грехам остановит русское время. Потом они снова пойдут, когда Господь смилостивился и вернёт России русское время. А потом совсем остановятся. Да так, что стрелки с часов опадут, и на них обозначится образ Божий.

Лемехов глядел на часы, слыша их стрекотинный шелест. Ему казалось, что в деревянном футляре прячется тайный клубочек, заложенный в этот футляр от сотворения мира. Клубочек разматывается, выпуская наружу лёгкую паутинку. Стрелка в своём кружении сматывает время с клубка, и все, кто ни есть в избе, опутаны этой паутинкой. Существуют, пока она сматывается. Исчезнут, едва она оборвётся.

— Первый раз часы встали, когда убили Государя Императора. Священник завернул часы в полотенце и спрятал на чердак. А к нему уже ломались враги рода человеческого. Страшно над ним измывались и умучили. Батюшка прославлен среди новомучеников. Часы достались племяннице, которая держала их в доме в память о дядюшке, благо красивым казался старинный деревянный футляр и узорные стрелки. Часы бесшумно стояли многие годы. Вдруг ночью женщина проснулась от тиканья. Зажгла свет, часы идут. А наутро объявили, что случилась победа над немцами. Господь в знак Победы вернул России русское время. Эти часы перешли ко мне по родству. И теперь они укажут, когда кончится время, опадут стрелки, а вместе с ними опадут звёзды с неба, и настанет конец света. И мы, братья и сёстры, кому Господь уготовил спасение, понесём эти часы в пещеру и по ним станем следить, когда наступит последний срок, и кончится земное время, и вся грешная земная жизнь, и настанет жизнь вечная, где времени вовсе нет.

Отец Матвей восторженно сверкал очами. Вся его паства заворожённо и молитвенно взирала на часы, сложно ждала, когда замрёт бегущая стрелка, и за окнами избы начнут полыхать огни и зарницы, знаменующие скончание времен.

— А успеем, отец Матвей, дойти до пещеры? — спросила Елена. На её увядшем пожелтевшем лице зардел румянец, — Как бы не опоздать?

— Не опоздаем — ответил священник. — Мне ангел во сне указал, когда выходить. Сейчас и пойдём.

— А нас в пещере огонь не достанет? Она-то не больно глубокая, — спросил калека Егорушка, робея и зябко двигая худыми плечами.

— У входа пещеры встанет Ангел Господний и заслонит от огня. Снаружи всё сгорит, леса, города, дороги, реки, само небо сгорит, а нас Ангел Господний заслонит от огня. И мы, какие есть, во плоти предстанем пред Господом, и он нас возьмёт в своё царство.

— Больно страшно, отец Матвей, — глухо, с комом в горле, произнесла продавщица, бывшая узница Ирина, — Как наша деревня станет гореть, подумать страшно.

— Страшен Господь во гневе своём, — отец Матвей воздел перст, и казалось, вокруг вздетого пальца засверкал раскалённый воздух. — Долго терпел Господь, милостивый и любвеобильный. Но кончилось терпение Господа, и он очистит мир от скверны метлой огненной, как хозяин очищает от мусора запущенный двор. Сперва упадёт звезда Кровень, и мир запылает красным огнём, в котором сгорят все люди. Потом упадет Синь-звезда, и сгорят все звери и птицы, и скот, и рыба в морях, и будет огонь синий. Потом упадёт звезда Медынь, и в её зелёном огне сгорят все камни, все горы, все океаны и реки, и сам воздух, и будет кругом пустота, и в этой пустоте уцелеет одна пещера, и мы, малое стадо, которое Господь возьмёт в своё царство.

— Спаси и сохрани, — всхлипнул Семён Семёныч, обморочно заваливаясь и держась за стену.

— И будет пустота длиться тысячу тысяч лет, но для нас, закрывших глаза от страха, она покажется мигмом единым. Потому что время исчезнет. А когда раскроем глаза, будет вокруг новая земля и новое небо. И дивные сады, и чудные леса, и несказанной красоты озёра. И цветы, благоухающие мёдом. И птицы с золотыми перьями. И звери лесные с человеческими лицами. И камни на земле, как алмазны, сапфиры и рубины, и каждый камень будет петь свою песню и славить Господа. И откроется дорога, как серебро. И по этой дороге выйдет Государь Император с Царицей, с царевнами и царевичем, окружённые сонмом святых, все в венках из белых роз. И возникнет среди полей золочёный трон, на который воссядет Царь. И призовет нас к себе и усадит на цветах вокруг трона. И начнется новое царство.

Отец Матвей восхищённо сиял. Казалось, кто-то невидимый, залетев в ночную избу, подсказывал ему восхитительные видения, и он рисовал своей пастве божественные картины.

Лемехова не изумляла проповедь священника о конце света. Она не казалась ему фантастичной. Он уже пережил конец света, пережил пожар, спаливший его землю и небо, всё, что он любил и чем спасался. Три зловещих звезды упали в его жизнь и сожгли его ценности, и возникла пустота, в которой он, онемев и ослепнув, брёл наугад, поднимая башмаками тусклый пепел. Но вдруг на безвестной дороге у робкого родничка, у хрустального ключика почувствовал, что в этой мёртвой пустоте есть для него живое прибежище. Есть безымянная воля, которая провела его сквозь огни и пожары и теперь сулит спасение. Он сидел среди незнакомых людей, которые исстрадались на этой грешной земле и ждали чуда. Уповали на вечное блаженство, которое сулил им пастырь с блистающими очами.

— Отец Матвей, как же мне идти спасаться, если у меня дома куры и кот остались? — горестно спросила продавщица Ирина. — Ведь их огнём пожжёт, а они не виноваты ни в чём.

— Нашими грехами все земные твари порчены, — отвечал священник. — Но ты не горюй. К тебе в раю и кот, и куры вернутся. И станет каждая курица, как Жар-птица, и будет нести золотыми яйцами. А кот окажется с серебряным мехом, и ты его будешь золотым гребнем расчёсывать.

— Отец Матвей, а мне и в раю на костыле ходить? — убогий Егорушка тоскливо смотрел на свой истёртый костыль. — Мне его в рай забирать?

— Ты его, Егорушка, в райскую землю воткни, и твой костыль покроется зелёными листьями и благоухающими цветами, станет, как куст роз.

— Отец Матвей, а как мы в раю предстанем? — Елена обратила к священнику усталое, с увядшей красой лицо. — Старыми? Молодыми? Или совсем в другом облики?

— Тебя Господь запомнил, когда ты была молодой и красивой, и душа твоя пела и ликовала. Он тебя в раю такой примет, чтобы все святые на тебя любовались.

— А я, отец Матвей? Мне в раю рожать? Младенчика моего Бог со мной в рай заберёт? — беременная Анюта стягивала на животе тесную кофту, на её бледном лице цвели веснушки.

— Ты блудница, — прикрикнул на неё отец Матвей. — А тот, кого носишь, тот блядин сын. Ни тебя, ни его Господь не примет. Оставайся здесь, и сгоришь.

Он гневно отвернулся от женщины, а у той её серые умоляющие глаза наполнились слезами.

Лемехов хотел о чём-то спросить священника, в чём-то ему исповедоваться, о чём-то его умолять. Но звук отвердел во рту, как камень, и он издал слабое мычание.

— Пора, — сказал отец Матвей. — Выходим. Семён Семёныч, туши свечи. А лампы пускай горят, — и он перекрестился широкими взмахами и пошёл к дверям.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Вышли из душной избы в прохладное мерцание ночи. Тут же на дворе отец Матвей строил своё малое стадо. Впереди поставил Семён Семёныча с горящим фонарем, в котором слабо желтела свеча. Следом встал бородатый Фёдор, прижав к животу часы, в которых продолжала бежать секундная стрелка, отмеряя мгновенья до скончания мира. За Фёдором место занял Лемехов, которому священник дал в руки крест, и Лемехов, сжимая тяжёлое древко, подумал, что священник угадал его горькую долю, вручил ему крест. За Лемеховым отставной солдат Виктор воздел латунную узорную звезду, которая закачалась, задышала среди звёзд небесных. Калека Егорушка пристроился за спиной солдата. А три женщины, среди них брюхатая Анюта, стали в хвост.

— Господи благослови! — певуче возгласил отец Матвей. — Идём на встречу с Тобой, званные Тобой, Господи, на пир Твой! — и пошёл вперёд, открывая калитку, выводя процессию на деревенскую улицу.

Прошли деревню. Ни огня, ни звука, даже псы приумолкли, чуя приближение конца времён. Крыши, деревья чернели среди горящих звёзд. А когда вышли за околицу, на пустую, слабо белевшую дорогу, священник запел:

— Святой Боже, святой крепкий, святой бессмертный, помилуй нас...

И ему отозвались блеклые и нестройные голоса Ирины и Елены, и рокочущий бас Фёдора.

Лемехов нёс крест, и это несение креста было сладостным, вещим. В нём угадали измученную, изведённую душу, для которой жизнь была непосильной, и душа хотела покинуть эту постылую жизнь. Но душе предложили спасение, несение крестной ноши. Предложили идти крестным путём, как шли бессчётные до него. И эта причастность к бессчётным, измученным людям вдохновляла его.

Они шли в открытом поле, под просторным небом. От края до края переливались разноцветные звёзды, вспыхивали небесные узоры, текли волшебные туманности. Поющие голоса улетали к звёздам, и небо волновалось от этих умоляющих песнопений. Лемехов думал, что этой ночью, среди огромной спящей земли движется малая горстка людей, видная только Господу. И он среди этих русских скитальцев и странников поставлен для несения креста. Этот крест общий для всех. И для тех, кто спит сейчас и не ведаёт об этой степной дороге, о промелькнувшей в небе падучей звезде, о горькой полыни, которой коснулась нога, и полынь полыхнула обжигающим ароматом.

Фонарь, окружённый желтоватым сиянием, качался впереди. Ночные бабочки налетали на свет фонаря. Вспыхивали, как малые искры, их зелёные глаза, их прозрачные крылья. Лемехов думал, что бабочки летят вместе с ними спасаться, мечтают избежать палящего огня и перелетать в благоухающий райский сад.

Он верил пророчеству отца Матвея, верил его предсказанию о конце времён, когда на циферблате часов опадут стрелки, как листья с дерева. Все известные доселе истины, все науки и уложения, на которых была основана его прежняя жизнь, оказались ложными, не спасли мира. И теперь оставалось только одно учение, в которое веровали эти измученные русские люди, и он вместе с ними.

Откуда-то с неба выпорхнула бесшумная птица, несколько раз пролетела над богомольцами, заслоня звёзды. И эта безмолвная сова тоже летела спасаться, и ей фонарь освещал путь к спасению.

С неба падали тихие звёзды, оставляя разноцветные дуги, зеленоватые, розовые, голубые.

— Это ангелы слетают на землю. Стелют скатерти, готовят пир Господу, — произнёс отец Матвей. И Лемехов представил, как приближается к земле светящийся ангел, машет крыльями, замедляя бег, стелет на траву скатерть, расставляя на ней дорогие сосуды.

Все они, идущие по дороге, были волхвы, несущие Господу дары. Лемехов из-под пепла своей загубленной жизни извлекал драгоценности, которые пощадил огонь.

Бабушка дремала, опустив голову на зелёную шерстяную подушку с малиновым, вышитым маком. И он видел, как серебрятся её волосы, слабо вздымается плед. И такое умиление, такое обожающее, такая нежность к её чудесному любимому лицу.

Отец поднял его, прижал к груди и несёт в реку, в огромный блестящий поток. И такой страх от этого могучего блеска, и такая зависимость от отца, от его крепких, обнимающих рук. Необъяснимое детское благоговение перед рекой, отцом, их неразрывными, на всю жизнь, узами.

С женой, ещё не женой, а невестой, они идут по мартовской дороге среди слепящих снегов. В колеях текут солнечные ручьи, блестят длинные золотые соломины, и шумно перелетает стая овсянок,

нахохленных, коричнево-жёлтых, и они с женой окружены птичьим свистом, солнцем, обожают друг друга среди пылающих весенних снегов.

Лемехов нёс эти дары Господу, думая, что его появление в жизни оправдано этими священными мгновениями.

Перебрали плоский ручей. Лемехов почувствовал, как промокли ноги. Приблизилась к лесу, заслонившему звёзды чёрной зубчатой стеной. Стали спускаться с горы в низину, полную холодного тумана.

— Вот и дошли. Вот она, Богом зданная пещера, — отец Матвей остановил ходоков перед чёрным, зиявшим в горе провалом. Фёдор наклонил фонарь, внёс его в пещеру, и все они потянулись за фонарём внутрь горы.

Тусклый фонарь осветил уходившие вверх своды, ниши, горловину, уводившую в недра земли. Пещера ждала ходоков. На её полу лежали матрасы, стояла лавка с подсвечниками, пестрела бумажная иконка. Фёдор ставил в подсвечники свечи, зажигал. В жестяном ведре слабо поблёскивала вода.

Семён Семёныч устанавливал на лавке часы, и свечи озаряли бегущую стрелку. Стало светлее. На стенах качались тени. Лемехов видел бородатую тень Фёдора, Егорушку, без сил опустившегося на матрас, лицо беременной Анюты с открытым, тяжело дышащим ртом. На него вдруг навалилась усталость, необоримое желание спать. Он опустился на матрас, слыша голос отца Матвея:

— Сия пещера создана Богом для последних времён. Потому и зовётся — Богом зданная пещера.

Голос священника слился в ровное жужжание, а сам он превратился в шмеля. Закружилась путаница дорог, по которым шли богомольцы с крестом и часами, и Лемехов упал в мягкий бархатный сон, сомкнувший над ним бестелесные волны.

Проснулся от холода, который исходил от земляных стен. Под сводами было сумрачно, горели свечи, но вход в пещеру сверкал и переливался перламутром. Снаружи сиял летний день, и его отсветы прилетали внутрь пещеры. Лемехов, не вставая с матраса, наблюдал, как богомольцы развязывают свои кульки, извлекают из них белые ткани и рядятся в них, сбрасывая прежнее облачение. Отец Матвей был во всём белом, топтался тёмными босыми ступнями, оглаживая ткань на животе и на бёдрах. Фёдор обнажил жилистое, с худыми ребрами тело, натягивал долгополую рубаху, вытаскивал из ворота чёрный клочок бороды. Ирина, обнажив тяжёлые желтоватые груди и пухлый синеватый живот, погружала усталое тело в вольную белую ткань. Елена уже облеклась в долгополую рубаху, на которой вместо грубого выреза красовался кружевной воротничок. Егорушка беспомощно тряс усохшей ногой, и Семён Семёныч, уже весь в белом, помогал ему облечься в рубаху. Солдат Виктор молча стоял. Рубаха была ему коротка, из рукавов торчали длинные нескладные руки. Беременная Анюта открыла свой пухлый живот, на котором виднелась серая продольная полоса, натягивала рубаху на млечные груди, переступала тонкими птичьими ногами.

— На-ка, надень! — отец Матвей кинул Лемехову белый ворох, и тот, не стыдясь наготы, сбросил истлевшую в дороге одежду, стоптанные башмаки и облёкся в прохладную ткань, нежно прикрывшую грудь и живот.

Пещера была полна призрачно-белых людей, напоминала фреску с мучениками.

— Теперь, братья и сестры, когда мы сбросили наши бранные одежды и облеклись в ангельские ризы, белые, как снег, теперь мы должны очистить наши души последней исповедью, чтобы встретить Господа в чистоте и наивности наших преображённых и убелённых душ. Подходите ко мне и исповедуйтесь в самом тяжком своём грехе, который совершили за годы жизни. Ты, Фёдор, подойди первым.

Фёдор в белой рубахе, с чёрной бородой и коричневыми кривыми стопами приблизился к отцу Матвею. Угрюмо и испуганно глядя на крест, сиявший в руке священника, он произнёс:

— Я, того, когда на северах работал, подрался с шофёром, с которым койки рядом в общежитии стояли. Мы сперва, того, пару бутылок выпили, ну, и задрались. За грудки, потом кулаками. Мне под руку, того, нож подвернулся, которым резали закуску. Я и саданул ножом, аккурат в горло воткнул. Кровища вдарила, я отрезвел. Вещи похватал и в бега. Не знаю, жив или нет шофёр. А меня никто не искал. Так и живу, ту кровищу вижу...

Фёдор склонил свою всклокоченную бородатую голову, и отец Матвей с силой ударил ему в темя перстами. Перекрестил:

— Господь тебя примет во Царствии своём. Семён Семёныч, подходи.

Пухленький, с круглым животиком, путаясь в долгополой рубаше, Семён Семёныч опустился на колени:

— Когда в Тамбове работал, съехались мы с бухгалтершей. Конопатая, на глаз кривая, так её и звали — Галина Кривая. Я у ней на квартире устроился, на всём готовом. Ребёнка прижили. Назвали Сёмой, как и я — Семён Семёныч. А потом она мне надоела, и я уехал, даже письма не написал. Не знаю, жива она? А сын уж, небось, армию отслужил. Нехорошо получилось...

Отец Матвей стукнул его в темя перстами:

— Готовься, раб Божий, выйти навстречу Господу нашему Иисусу Христу. Будешь принят в райских чертогах.

Семён Семёныч отошёл, и Лемехов заметил, как на его пухлом безволосом лице блеснула слеза.

Люди поднимались со дна своей тёмной тягучей жизни, оставляя в ней отягощавшие душу грехи, становясь лёгкими, просветлёнными, готовясь к чуду бессмертия.

— Виктор, воин Христов, ступай ко мне, — позвал отец Матвей. Солдат Виктор, весь в белом до пят, послушно подошёл.

— Говори.

— Под Толстым-Юртом поймали чечена, который на блок-пост напоролся. Его капитан потрошил, выбивал разведанные. Потом мне отдал: «Отпусти хорошего человека». Я его на дорогу вывел, гранату ему в штаны положил и толкнул. Ему все кишки вырвало...

— И ты готовься увидеть Иисуса Христа во всей его славе и силе!

Хромой Егорушка путался больной ногой в белом облачении. На измождённом лице сияли глаза:

— Я в бане за бабами подглядывал, а потом руками блудил. Ко мне бес приходит в виде голой бабы, и я не могу удержаться. Пальцы себе топором хотел отрубить, так меня бес умучил...

— Твоему греху, раб Божий Егор, пришёл конец, и бес от тебя отступил. Теперь ты не бесов, а Христов. Ступай, молись.

Продавщица Ирина сложила руки крестом:

— Я, как на растрате попалась, ждала суда. Мне следователь говорит: «Ты всю вину на себя не бери. Укажи на завмага. Тебе меньше срок дадут». Я и оговорила его. Мне по полной дали, и его посадили. Такой мой грех...

— Теперь этот грех сгорит от звезды Кровень. А ты, очищенная, войдёшь в Царствие Небесное.

Исповедовалась Елена, оправив кружевной воротник, сдвинула тесно босые ступни, прикрыв глаза чёрной бахромой ресниц.

— Жила я с одним человеком, завклубом, очень его любила. Он меня называл: «Певица, любовь моя». Появилась разлучница, танцевала народные танцы. Он на меня смотреть перестал, с ней слюбился. На Новый год, когда пили шампанская, я ей в бокал порошка подсыпала, от которого сердце останавливается. Да она заметила и поменялась со мной бокалами. Я и выпила, и с тех пор угасла, и никак не умру. Бог меня наказал...

— Прощена, раба Божья Елена, именем Иисуса Христа.

Лемехову казалось, что от каждого, кто исповедовался, отпадает тяжёлая короста, отваливаются камни, и человек становится легче, невесомее, начинает светиться. Все тяготы и грехи, всё уродство и зло оставались здесь, на брэнной земле, обречённой на испепеление. И счастливая душа была готова лететь в божественную лазурь.

— И ты немой, раб Божий, подходи, исповедуйся, — теперь отец Матвей обращался к Лемехову. — Подумай, что такое совершил, за что Господь лишил тебя речи и гонит по земле, как сухой лист.

Лемехов подошёл, облачённый в белое, как солдат перед смертным боем или мученик перед жестокой казнью. Вся его жизнь вдруг взбурлила, вскипела, как будто в ней возник ураган, и в волнах этой вскипевшей жизни возникали лица, голоса и поступки, в которых содержалась мука, таилось страдание. Всё его бытие состояло из причинённой кому-то боли. И среди этой стонающей тьмы слышались два крика, два стоны. Истошный крик жены, убившей в себе по его настоянию нерождённого сына. И стон медведя, испускавшего дух в осеннем лесу, от пули, которую Лемехов ввинтил в его могучее тело. Два этих страшных греха он хотел назвать, встав на колени пред отцом Матвеем. Но вместо языка был шершавый камень, и он издал тупое мычанье.

— Тебя Господь услышал. Жди встречи с Господом, — отец Матвей сложил щепотью три пальца и больно, четыре раза, ударил Лемехова в темя.

— Батюшка, прими мою исповедь! — Анюта, круглая, на тонких ногах, обращала к священнику бледное, в веснушках, лицо, на котором умоляюще сияли серые большие глаза, — Прими мой грех, батюшка!

— Ступай прочь! — притопнул на неё босыми ногами священник. — Увязалась с нами, теперь с тобой майся! О таких, как ты, Господь сказал: «Горе беременным и питающим сосцами в те дни!» Ни тебя, ни твоего блядина сына Господь не примет, и ты сгоришь, как сорная трава!

Анюта тихо ахнула, заплакала и ушла в глубь пещеры, опустилась на тощий матрас.

Отец Матвей, отвергнувший гневно Анюту, блистал очами, обращаясь к пастве, напоминавшей больших белых птиц.

— Сия Богом зданная пещера приняла нас в свою обитель, чтобы сберечь нашу очищенную и преображённую плоть от пожара и, минуя смерть, открыть перед нами врата жизни вечной. Когда осыплются стрелки сих часов, как осыпаются листья с древа земной жизни, — он указал на часы. Перед ними пылали свечи. Бежала секундная стрелка, как крохотная секира, отрезая последние ломтики времени, оставшиеся до скончания века. — Когда сторгят небо и земля, и Господь во славе своей явит свой дивный лик, на месте сей пещеры будет воздвигнут дворец и расцветёт райский сад. Станет сей дворец обителью святого Государя императора со всем его святым семейством, которому мы станем служить, вкушая от служения райское блаженство. — Отец Матвей восхищённо воздел руки, касаясь свода пещеры, будто поддерживал готовое рухнуть мироздание. Глаза его переливались лучами, как у ясновидца. — Ты, Фёдор, будешь садовником в царском саду. И розы, и лилии, и дивные хризантемы суть святые добродетели, просиявшие в райских цветниках у царя. Ты, Семён Семёныч, будешь пастырь всех овец, оленей и ланей, всех кротких львов и тигров, всех певчих птиц и речных и озёрных рыб, которые станут смотреть из своих лесов и полей, из лазурных вод человечьими лицами и славить царя. Ты, Виктор, воин Христов, будешь стоять у царского трона, и вместо меча в твоих руках будет золотая чаша с виноградным вином, которое ты станешь подносить царю. Ты, Егорушка, будешь у царя скороходом и вестником, он станет посылать тебя в разные пределы рая, и ты будешь перемещаться со скоростью царской мысли. Ты, Ирина, будешь служить императрице, подавать ей золотые и серебряные наряды, жемчужные ожерелья и брильянтовые кольца. Ты, Елена, будешь ухаживать за царевнами и расчёсывать золотым гребнем их душистые волосы. А ты Немой, раб Божий, будешь приставлен к царевичу, и вы вместе с ним станете читать вслух священные книги и петь на два голоса в церковном хоре. Я же, раб Божий Матвей...

Его речь прервал истошный вопль, раздавшийся из глубины пещеры.

— А-а-а! — рвалась звериная боль и ужас, — А-а-а!

Женщины кинулись туда, где лежала на матрасе Анюта. Мужчины, ещё недавно околдованные мечтаниями отца Матвея, оторопело смотрели.

— Никак рожает, — произнес Семён Семёныч.

— Как ей тут, под землей родить? — неизвестно кого спросил Фёдор.

— На беду взяли блудницу! Всё ты, Семён Семёныч: «Возьмём да возьмём!»! Что говорил Господь? «Горе беременным и питающим сосцами в те дни!»! Вот и уготовил Господь блуднице страшную муку.

Крики то раздавались, словно Анюта терпела страшную пытку. То обрывались, и казалось, что она умерла. Ирина и Елена наклонились над ней. Слышались их причитанья:

— Кричи громче, полегчает!

— Тужься, тужься, он и пойдёт!

Лемехов под эти причитания и вопли вдруг постиг, что значат слова Иисуса, на которые ссылался отец Матвей: «Горе беременным и питающим сосцами». Земному бытию был положен предел, и оно было обречено на испепеление, но жизнь не желала с этим смириться, стремилась себя продлить. Рвалась сквозь запрет и смерть осуществить себя так, как её задумал Господь при сотворении мира. Там, на грязном матрасе кричала эта обречённая жизнь, желая перескочить через смертельную черту.

— Ну, чего стоишь?! Неси воды! — прикрикнула на Лемехова Ирина. Тот пошёл торопливо и принёс ведро, полное воды, поставил подле матраса. И пока ставил, успел увидеть лицо Анюты, похожее на страшную маску, чёрную дыру рта с блеском зубов, ходящие ходуном скулы, глаза, полные

чёрных слёз. Увидел её раздвинутые ноги, которые удерживала Ирина, и в разъятом лоне что-то тёмное, липкое, похожее на шляпку гриба. Поспешно отошёл, страшась зрелища судного часа.

Вход в пещеру потемнел, из него ушло солнце. В нём копилась вечерняя синева. Часы, озарённые свечами, продолжали тихо шуршать, приближая момент, когда в полночь на эмалевом циферблате сольются три стрелки, — часовая, минутная и секундная, — и наступит конец Света.

Отец Матвей и другие мужчины, стоя на коленях, молились, похожие на белые изваяния. Лемехов опустился рядом. За его спиной, в глубине пещеры, раздался уробный вой, словно стенала сама земля.

Настала тишина, и в этой тишине послышался писк ребёнка. И от этого писка у Лемехова случилось бурное сердцебиение. Словно и его собственная жизнь не хотела покидать этот мир, стремилась удержаться среди этого мира, — синего прогала пещеры, пылавших свечей, обильно текущего воска и мимолётного воспоминания о маме, которая перед зеркалом разглаживает ворот синего платья. Значит, пережитые им несчастья испепелили не всё его существо. Значит, осталось в нём нечто, избежавшее адских огней. И на обгоревшем стволе сохранилось несколько живых почек.

Это открытие поразило его. Он слышал рокочущий бас молящегося Фёдора, звяканье ведра, писк ребёнка.

— Умерла, нет, Аня? — прерывая молитву, спросил Семён Семёныч.

— Господь отсек её от малого стада, — сказал отец Матвей. — Сжёт её блудную плоть.

— А ребёнок? — жалобно спросил Семён Семёныч.

— Господь и ему место укажет...

За спиной, в глубине пещеры, раздался жалобный стон Аняты, писк ребёнка, голоса Елены и Ирины, похожие на хлопотливое куриное кудахтанье.

Вход в пещеру померк, снаружи наступала ночь. Часы, озарённые свечами, сияли эмалевым циферблатом, на котором трепетала секундная стрелка. Две другие медленно сближались, указывая последний час перед окончанием мира.

Все стояли перед часами на коленях и молились. Отец Матвей страстно, взывающе озирал циферблат, словно первым хотел увидеть проступающий лик Господень. У Фёдора торчком стояла смоляная борода, и на коричневой шее гулял кадык. Егорушка испуганно и восхищённо шептал, и в его серых глазах стояли слёзы.

Лемехов чувствовал, как между минутной и часовой стрелкой возникало страшное напряжение, уплотнялся мир, сжималась материя, и это сжатие приближало взрыв. Он ждал, когда темнеющий вход в пещеру слабо озарится, в нём полыхнет свет, превратится в слепящую плазму, и жуткий грохот сотрясёт мир. Станет светло, как днём. По всему горизонту поднимутся грибы, похожие на голубые поганки. Небо испятнают разрывы. Загорятся леса и травы. Запляшет зарево гибнущих городов. Вскипят океаны, и в кипящем рассоле станут всплывать сваренные киты.

Всё, чему он посвящал свои таланты и нескончаемые труды, всё, что превращало его жизнь в осмысленное служение, всё это раскалывало планету, брызгало ядовитой плазмой, превращалось в шар огня. Все бомбардировщики и ракеты, ядерные заряды и дальнобойные лазеры, авианосцы и подводные лодки складывали свою разрушительную мощь в единый взрыв, от которого раскалывалась планета, и из неё истекала малиновая мякоть.

— Господи помилуй! — то ли пропел, то ли простонал Семён Семёныч, и Ирина, задохнувшись, тихо всхлипнула.

Стрелки сближались. Отец Матвей воздел руки, словно готов был принять ниспосланный с неба дар. Нараспев читал «Отче наш»:

— Да святится Имя Твоё, да придет Царствие Твоё, да будет Воля Твоя, яко на небе, так и на земле...

Он ждал прихода этого царства, которое было обещано человечеству. Люди ждали его две тысячи лет, пропадая бесследно среди войн, напастей и злоключений. И вот, наконец, молитва была услышана, и райское царство через минуту настанет.

Просвет между стрелками почти исчез. Лемехов вдруг испытал ужас, почти лишился дыхания. Словно каждая его клеточка, каждый кровеносный сосудик ожидали своего конца, противились, не хотели исчезать. Старались задержаться в этой жизни, цеплялись за неё, а их отрывало, и они беззвучно кричали.

Солдат Виктор закрыл ладонями уши, словно ожидал орудийного выстрела. Елена упала лицом на землю, и спина её мелко дрожала.

— Господи! Господи! — возопил отец Матвей, когда три стрелки сомкнулись, и казалось, часы остановились, перед тем, как сбросить ненужные стрелки и явить на белой эмали чудесный лик.

Но лика... не было. Секундная стрелка продолжала бежать. Между двумя другими стрелками обнаружился просвет. Время перепорхнуло полночь и продолжало длиться. Стоящие на коленях перестали молиться и смотрели на часы. Было слышно, как в глубине пещеры заплакал ребёнок и умолк. Семён Семёныч слабо охнул. Лемехов после пережитого напряжения испытывал опустошённость, в душе ровно гудела невидимая струна. У отца Матвея по лицу гуляли вздутия, словно его раздувало страшным давлением, как глубоководную рыбу. Он взирал на часы, вонзая в них чёрные огненные лучи, словно сжигал ими ненужное время, образовавшееся после конца света.

— Господь попустил нам ещё два часа, чтобы мы пристально заглянули себе в душу и разглядели забытые, не названные на исповеди грехи, — он обернулся к пастве. — Молитесь, молитесь!

Время текло. Свечи у часов прогорали. Семён Семёныч менял их на свежие. Иногда было слышно, как начинает плакать ребёнок, и Анюта успокаивает его шелестящим голосом.

Лемехов испытывал усталость. Жизнь в нём притаилась, словно боялась спугнуть кого-то, кто даровал отсрочку. Лемехов прислонился плечом к сырой стене и спал наяву. Ему снились озарённые свечами часы, бегущая стрелка, белые рубахи молящихся и чёрно-красная бабочка-крапивница, которая залетела к ним на веранду, покружилась над седой бабушкиной головой, улетела обратно в сад.

Он очнулся от страшного рыка, который издавал отец Матвей.

— Это она, блудница! Её блядин сын! Она не угодна Господу! Он ждёт, когда мы извергнем её из нашей обители и освободим путь Господу! Она своим блудным грехом запечатала врата рая и не пускает нас в Царствие Божье! Вон отсюда! Изблюём её, как гнилой плод!

Он рычал, указывая перстом вглубь пещеры, где тонко плакал ребёнок. Вход в подземелье начал слабо светиться, наполнялся робкой синью рассвета.

— Вон! Вон! Фёдор, Семён Семёныч, ступайте, киньте её на съедение бесам! Пусть изгрызут её гнилые сосцы и её блядина сына, у которого волосатое лицо и копытца! Заклинаю вас именем Господа, ступайте и извергните!

Отец Матвей был страшен. Глаза пучились, вращались в глазницах. Белый клоч в бороде сверкал, как нож. Косица на затылке распалась, и чёрные волосы лезли в кричащий рот.

Фёдор стоял на коленях, костяной и недвижимый. Семён Семёныч закрыл ладонями лицо. Елена и Ирина тихо выли. Солдат Виктор, не вставая с колен, сел на землю и тупо смотрел.

Лемехов вдруг испытал облегчение, почти радость. Он тихо ликовал и любил их всех. И кричащего в тоске отца Матвея, и мужиков, облачивших себя в балахоны мучеников, и женщин, своим воем напоминавших плакальщиц. И Анюту с истерзанным лоном, из которого вышел младенец и уже жил, дышал, подавал голос в этом мире, который уцелел, чтобы младенец взрастал.

Лемехов поднялся и пошёл в глубь пещеры, где на матрасе лежала Анюта и рядом с ней, похожий на кулёк, младенец. Анюта испуганно взглянула, заслонила собой ребёнка. Лемехов хотел сказать ей тихое ласковое слово, но смог что-то неясно прокурлыкать, подражая дельфину. Анюта подняла на него умоляющее лицо. Лемехов осторожно погладил ей волосы, и она затихла от его нежного прикосновения. Он кивнул туда, где горели свечи, стояли на лавке часы, и наливался слабой синевой вход в пещеру. Протянул руки, ладонями вверх, приглашая её положить на ладони ребёнка. Анюта поняла, приподняла кулёк, положила на ладони Лемехова, и тот ощутил крохотное, почти невесомое тельце, его живую пульсацию, слабое тепло. Повернулся и понёс, как несут драгоценность. Анюта, охнув, поднялась и пошла следом.

Он миновал стоящих на коленях богомольцев, вышел из пещеры. Перед ним раскрылся, распахнулся во всей красоте и торжественности утренний мир. Небо над головой ещё оставалось тёмным, и в нём горело несколько звёзд. Но восток был оранжево-жёлтым. Недвижная латунная заря стояла над лесами, отражалась в озёрах и реках, безмолвно и величаво, словно и впрямь случилось преобразование мира, и он сиял во всей своей райской красоте. Пели птицы, ещё невидимые в тёмном лесу, но уже встречавшие зарю.

Лемехов держал младенца, словно дарил преображённой земле, и земля, и заря, и зеркальные воды принимали этот дар.

Он шёл по дороге, останавливаясь, поджидая Анюту, и та попевала за ним, переводя дух.

Лемехов видел, как из пещеры один за другим выходили богомольцы, облачённые в белые одежды. Фёдор, Семён Семёныч и Виктор держали на плечах крест, звезду и потухший фонарь, несли их, как крестьяне носят вилы и грабли. Вслед за ними из пещеры показался отец Матвей, сутулый, немощный, прижимавший к животу часы.

Возвращались по дороге в село. Благоухали травы. Солнце ещё не встало, но край неба был оплавлен золотом, и от богомольцев в поля убежали длинные тени.

Лемехов нёс младенца, и ему казалось, что незримый, взиравший на него Господь, отпустил ему один из грехов — гибель его нерождённого чада...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Лемехов продолжал свои странствия, как крохотное пернатое семечко, подхваченное огромным ветром. Его опускало на камни, где было невозможно взрастание. Он падал на благодатную почву, но не успевал укорениться, и его тут же уносило дальше. На него налетали птицы, готовые склевать, но ветер подхватывал его, спасая от их хищных клювов.

После пережитого землетрясения, которое разрушило всю его жизнь, он медленно восстанавливался. Но это не напоминало реставрацию рухнувших зданий, расчистку площадей и проспектов. На месте развалин создавался новый город, с иной планировкой, иной архитектурой, не похожей на прежние строения. Он ещё не понимал, каким будет этот новый город. Только знал, что существует архитектор, существует сокровенный замысел, и его душа является местом нового строительства.

Он оказался в Якутии, на Лене. Устроился матросом на небольшой теплоход, принадлежавший владельцу пароходства Топтыгину. В эти летние дни Топтыгин гнал на север танкеры с горючим, сухогрузы с продовольствием и машинами. Туда, где геологи бурили скважины, промышленники добывали нефть и алмазы, военные радары шупали небо над Арктикой.

Лемехов на борту теплохода занимался самой чёрной работой. Драил шваброй палубу. Убирал каюты. Прислуживал хозяину. Во время швартовок набрасывал канаты на чугунные тумбы пристани. Иногда его звал на помощь механик, молодой якут с круглым лицом, напоминавшим пиалу. На ней кисточкой были нарисованы узкие глаза, дырочки носа и рот. Механик регулировал дизель, его промасленные сияющие механизмы. Лемехов тяжёлым ключом придерживал гайку или закручивал винт, а механик, привыкший к немоте Лемехова, разглагольствовал:

— Мы, якуты, произошли от Чингисхана. Когда Чингисхан шёл завоевывать вас, русских, он оставил отряд в Якутии — охранять алмазы. Но Чингисхан умер в походе, а вы пришли и отняли у нас наши алмазы и нашу нефть. Но скоро Чингисхан вернётся и отберёт у вас наши алмазы и нефть.

При этом на фарфоровых скулах якута светились два маленьких алых цветочка.

Иногда Лемехов поднимался в рубку, где капитан с шершавым, как тёрка, лицом и чёрными пиратскими усами, крутил штурвал среди бескрайних потоков реки, далеко отступивших берегов, редких прибрежных селений. Капитан брал рацию и в сияющий эфир таким же сияющим голосом произносил:

— Я — Онега! Как слышишь меня, Ока? Где ты там потерялся?

И в ответ хрипящий голос, словно из Космоса, отзывался:

— Я — Ока! Григорич, у тебя есть диск с «Любэ»? Оставь мне у Данилыча, на «Ленских столбах»!

Рация умолкала, а капитан, подумав, включал динамик, и над сияющими водами неслось: «Комбат, батяня, батяня, комбат». И Лемехову казалось, что среди безлюдья музыку слушает плеснувшая рыба и мелькнувшая на солнце птица.

Теперь он мыл палубу, орудуя шваброй. Окатывал водой железные, выкрашенные в серое листы. Тёр, драил, давил, выжимал из швабры грязную воду. Выплёскивал за борт. Набирал свежую воду, кидая за борт жестяное, привязанное за верёвку ведро. Палуба гудела, дул свежий ветер,

пахло рекой, рыбьими молоками, соляжкой и далёкими голубыми лесами. На влажной палубе у железного борта, омытое водой, проступало пятно, напоминающее павлина, распутившего хвост. Пятно исчезало, как только палуба начинала сохнуть. Лемехов, не давая исчезнуть пятну, проводил по нему шваброй. Он вспомнил, что ироничный журналист в своей статье назвал его павлином, и тогда это оскорбило его. Теперь же это воспоминание не задевало его, и он удивлялся той давней боли и горечи, которая улетучилась среди необъятных безлюдных вод. Он смотрел на павлина, присевшего на железную палубу, и эта птица направляла корабль к сверкающему горизонту, где великая река вливалась в океан.

Выплеснул грязную воду за борт. Кинул ведро в реку, обмотав верёвку вокруг кулака. Почувствовал рывок, ведро наполнилось, неслось за бортом, не отставая от корабля, поднимая бурн. Лемехов чувствовал натяжение веревки, сопротивление воды, гигантский космический напор реки, силу корабельного двигателя. Мятое ведро было прибором, с помощью которого он исследовал вращенье земли, скорость корабля и речного потока, биение своего сердца, соединённого верёвкой с необъятным мирозданием.

Подумал, что ещё недавно, в прежней жизни, он был окружён приборами, которые управляли ракетами, ядерными реакторами, брали пробы кипящих металлов, измеряли микроны ювелирных поверхностей. Но ни один из этих приборов не мог сравниться с мятым ведром и верёвкой, которые соединяли его с мирозданием. Он не торопился извлекать ведро из реки, наслаждаясь полнотой своего общения с миром.

Он увидел, как на палубу вышла корабельная буфетчица Фрося. Ветер давил на тонкое платье, лепил ей груди, крепкие бёдра, круглый живот с выемкой пупка. Фрося переступала по палубе, свешиваясь за борт, туда, где бурлил убегающий клин волны. Приближалась к Лемехову. Её светлые волосы поднимались лёгкой копной, серые глаза шурились от блеска водяных разливов.

— Ну что, Немой, трёшь свою сковородку? Три, три, только до дыр не протри, а то утонем, — Фрося насмешливо морщила губы, наблюдая, как Лемехов водит шваброй вокруг таинственного, проступившего на палубе павлина. — Разве это твоя работа? Ты человек культурный, тебе головой работать, а не грязь скрести. Как ты здесь оказался? Видно, крепко тебя трянуло. Если бы у тебя язык во рту шевелился, многое, что мог рассказать. Да ведь всех, кто здесь, на северах оказался, всех крепко в жизни трянуло.

Фрося была расположена к разговору, присела на пожарный ящик с песком. Сжимала платье коленями. Ветер выхватывал ткань, обнажал крепкие белые бёдра, а Фрося снова их закрывала.

— Наш-то, Топтыгин, опять с нужным человеком водку пьёт. Какой-то московский, блатной. Наш-то из него больше горячего хочет выкачать. Всё какие-то квоты да квоты. Всё об этом квакают. Третью бутылку пьют. Наш-то держится, он боров здоровый. А этот московский — дохляк. Шейка тощая, с палец. Усики, как у крысы. И лысина жёлтая, натёртая сыром.

Лемехов отложил швабру, слушал Фросю, прислонившись к лебёдке, на которую была намотана якорная цепь.

— Сейчас третью бутылку добьют, и Топтыгин меня позовёт: «Давай, Фрося, проводи гостя в каюту». Он меня, думаешь, для чего держит? Гостям в постель подкладывает. Я сперва не хотела, собиралась уйти. А куда уйдёшь? На берегу нет работы. На юг ехать, деньги нужны. Ну, и согласилась. Бывает, ничего мужики попадают, симпатичные, даже подарки дарят. А бывает, противно. Ничего не может, только облапает. Заснёт и сопит, как хряк. Думаешь, сейчас бы тебя подушкой придушила. Этот, с которым Топтыгин, пьёт, такой же червяк. Поизвивается и заснёт. А ты сама себе противна...

Лемехов слушал Фросю, которая не требовала, чтобы ей отвечали. У неё не было на корабле собеседника, и она разговаривала с Лемеховым, как, порой, разговаривают, с лошадьми, коровами или домашними котами, не ожидая, что они отзовутся.

— Ничего, потерплю. Я ведь денежки-то откладываю. Вот скоплю, и прощай Топтыгин, уеду на юг, на Кубань. У меня там дом хороший, виноград, яблони. Тёплое море близко. Там меня хороший человек ждёт. Любит. Мы с ним вместе в школе учились. «Выходи за меня!» А я не пошла. Он и говорит: «Буду ждать тебя всю жизнь. Красивей тебя нет». Я ему письмо написала: «Скоро приеду». Как же он обрадовался!

Лемехов видел, как обветренное, с широкими скулами, лицо Фроси мечтательно озарилось, как

озаряется лицо артиста, читающего стих о любви. Это озарение держалось минуту, а потом померкло. Она виновато улыбнулась:

— Не верь мне, Немой, всё наврала. Нет никакого дома, ни винограда, ни яблонь. Нет тёплого моря, и человека нет. Так, мечтаю и сама себе вру. А потом хоть плачь...

Великая река катила несметные воды к океану, и судьба этой женщины, и судьба Лемехова, как две крохотные капли, влеклись к полярным сияниям. Их мнимая отдельность была временна и преодолима. Они сольются в океане с другими человеческими жизнями в то целое, чем они были до своего рождения.

— У меня дочка на берегу, учится на медсестру. Я деньги для неё зарабатываю. Выучится, и мы отсюда уедем. В Воронеж или Липецк, где потеплее. Она замуж выйдет, мне внуков родит. Я буду внуков растить, а у неё, у дочки, может, жизнь лучше моей получится.

Ветер пахнул, рванул платье, стал срывать невидимыми жадными руками. Она ловила платье, стараясь закрыть голые ноги, запахивала грудь, отнимая воротник у незримых буйствующих рук.

— А ты, Немой, если хочешь, я к тебе в каюту приду. Ты мужчина видный. Я бы к тебе прилепилась.

Фрося засмеялась и пошла по палубе, то и дело хватая подол. Словно вырывалась из чьих-то бурных объятий.

Лемехов видел, как она скрылась за железной дверью. Подумал, что за всё это время, пока его кружило по дорогам и рекам, ни разу не взглянул на женщину с вождением. Не вспомнил Ольгу, с которой, как два дельфина, ныряли в бассейн. Не вспомнил женщин, которые на краткое время кружили ему голову, а потом исчезали бесследно. Даже мысли о жене в тот упоительный, карельский, медовый месяц были теперь целомудренны — о негасимых зорях, о волшебных озёрах, о застывших малахитовых отражениях.

Фрося опять появилась. Не подходя, крикнула:

— Эй, Немой, тебя Топтыгин зовёт. Хочет, чтобы ты ему строганины нарезал.

Лемехов сквозь железные переборки, пахнувшие краской, соляжкой, кисловатыми ароматами трюма, поднялся в камбуз, где стояла закопчённая плита, и тускло сияли сковороды и кастрюли. Открыл помятую дверь морозильника. Заиндевелые рыбины смотрели на него золотыми глазами. Толстобокые муксуны с красными обледелеными плавниками. Пятнистый, зеленовато-чёрный таймень с замёрзшей струёй молока. Нельма, серебристо-голубая, с приоткрытым ртом и красными, набитыми инеем жабрами.

Лемехов вынул нельму, твёрдую и холодную. Положил на доску, изрезанную ножами, тёмную от рыбьей крови. Рыбина стукнула о доску, как камень. Лемехов кухонным ножом отсёк хрустящие плавники. Ударяя сталью в рыбью башку, отделил её от туловища. Видел, как в голове мертвенно светится глаз. Мясо на срезе было розовое. Как жемчужина, светился рассечённый позвонок.

Лемехов поставил рыбу стоймя, хвостом вверх. С силой давя на нож, стал срезать с рыбины тонкие лепестки, чувствуя, как неохотно погружается нож в ледяную плоть. Лепестки похрустывали, загибались на концах, словно стружки. Так щиплют полено, нарезая из него лучины.

Лемехов вдруг вспомнил, как в ресторане «Боттичелли» официант принёс к столу на деревянном подносе сибаса, обсыпанного кристаллами льда. Серебряная рыба смотрела золотым глазом, совсем, как эта нельма. И сидящий рядом Верхоустин отверг принесённую рыбу, потребовал другую. Теперь, в этом замызганном камбузе, воспоминание о роскошном ресторане, о хрустале и фарфоре, официантах в костюмах венецианских дождей — это воспоминание было случайным и лишним, не тронуло его. Не тронуло воспоминание о Верхоустине, человеке, который испепелил его жизнь, превратил её в золу. Значит, это было угодно Творцу, и синеглазый колдун действовал не по собственной воле, а по наущению Божьему. Творец предал огню всё, что могло сгореть, превратил его жизнь в прах. Но кое-что в ней уцелело. Он не знал, что именно в ней уцелело. Но оно оставалось жить, и это побуждало кружить по дорогам и рекам в ожидании встречи. С чем-то таинственным, безымянным, обещавшим воскрешение.

Лемехов настрогал розовый, нежно пахнувший ворох рыбьего мяса. Положил на блюдо и понёс в кают-компанию, где хозяин пароходства Топтыгин угощал именитого гостя.

В кают-компании стол был уже нарушен, на тарелках лежали остатки мясных закусок, куриные кости, овощные салаты. Стояла бутылка водки, мокрые рюмки. Топтыгин был багровый, с лицом,

напоминавшим стиснутый кулак, в желваках, жилах, яростных тёмных складках. Из этих злых складок смотрели зоркие синие глазки, исподволь наблюдавшие за гостем. Лысоватый, с унылым носом, под которым топорщились куцые усики, с худым кадыком на тощей шее, гость был пьян. Качал из стороны в сторону головой, приговаривая:

— Вы здесь, а я там. Вы здесь, а я там.

— Вы там сверху на нас смотрите, Антон Афанасьевич, как с самолёта. А мы тут с земли на вас смотрим и любимся.

Лемехов поставил на стол блюдо с розовой строганиной. Топтыгин приказал ему:

— Разлей нам водки и сам садись, — повернулся к гостю. — У нас, конечно, Антон Афанасьевич, нет итальянской кухни. Разных там ракушечек, устричек, червячков. Зато строганиной угощаю от сердца. Ели когда строганину, Антон Афанасьевич? Смотрите, как надо!

Лемехов наполнял рюмки, а Топтыгин положил на свою тёмную корявую ладонь розовый лепесток мяса. Потряс солонкой. Тряхнул несколько раз перечницей. Свернул лепесток в рулончик.

— Это якутская кухня, — он подмигнул гостю хитрым синим глазком. Опрокинул рюмку водки в большой тёмный рот. Запихнул следом рулончик. Морщась, двигая желваками, стал жевать большими собачьими зубами. — А ну, Антон Афанасьевич, теперь вы! По-якутски!

Гость, подражая Топтыгину, раскрыл узкую, с тощими пальцами ладонь. Положил строганину. Посолил, поперчил. Но рулончик у него не получился. Выпил водку, схватил зубами розовый лепесток. Шевеля усами, заглывал и давился.

— Ничего, Антон Афанасьевич, привыкните, якутом станете. К утру подойдём к Ленским Столбам. Там вертолётном на речку, где не ступала нога человеческая. Такой рыбалки вы не видали, Антон Афанасьевич. Рыба ленок, слышали? Бросил, вынул! Бросил, вынул! Я вам праздник устройю!

Он обхаживал гостя, угождал ему. Не в первый раз принимал на борту нужного человека.

— Вот анекдот, Антон Афанасьевич. Стоит якут в карауле. Идёт человек. «Стой! Говори пароль!» «Пошел на хер!» Пропустил, а сам думает: «Странно. Два года служу, а пароль не меняется!» — Топтыгин захохотал, зорко наблюдая за гостем, как опытный повар наблюдает за блюдом, которое поспекает. Видно, блюда поспело, потому что Топтыгин отодвинул водку и строганину. Навалившись на стол, потянулся к гостю:

— Вы, Антон Афанасьевич, видите мою работу. Кровь из носа, а корабли на север гоню. Флот устарел, корабли выходят из строя, а груз на север гоню. В Лене воды с гулькин хер, многотоннажные танкера не проходят, перекачиваю соляру в плоскодонки, а северный завоз толкаю. Буровики ждут, геологи ждут, алмазные карьеры ждут, военные ждут. Их не интересует, как Топтыгин грузы доставит. Хоть по реке, хоть по зимнику, хоть на своём горбу. Я и доставляю. Помогите, Антон Афанасьевич! Дело государственное!

Гость вяло жевал рыбу. Подносил к печальному носу розовый ломоть. Нюхал, а потом совал под куцые усы и жевал.

— Всё в вашей власти, Антон Афанасьевич. Одно ваше слово, и мне увеличат квоту. Хоть бы на треть. Я на вырубку отремонтирую флот, починю причалы, закуплю пароходы. И, конечно, вас не забуду. Десять процентов, Антон Афанасьевич, это по-божески!

Гость жевал, сонно прикрыв глаза, словно не слышал.

— Пятнадцать процентов. Всё в вашей власти. Вы же такой человек. Одно ваше слово!

Гость положил в рот ломоть строганины. Она свисала у него изо рта, словно он высунул розовый длинный розовый язык. И сам же его сжевал.

— Двадцать процентов, Антон Афанасьевич. Вы же великий человек. К вам сам Президент прислушивается.

— На форуме я выступал, конечно, — ответил гость, проглотивая рыбий ломоть. — Я включён в экспертную группу по Арктике.

— Ну, какая Арктика без северного завоза, Антон Афанасьевич? Ведь мы же государевы люди! Сделаем дело по квоте!

Гость потянулся к рюмке, которая оказалась пустой.

— А ну, налей! — приказал Лемехову Топтыгин. Тот разлил водку. — За вас, за ваш ум. Вы же знаете, к кому как зайти и как выйти! Так сделаем дело?

Гость молча выпил, схватил лепесток нельмы. И прежде, чем положить себе в рот, сказал:
— Сделаем. Двадцать процентов, — и Топтыгин в ответ победно блеснул глазами.

Лемехов понимал суть сделки. Понимал хитросплетения мучительной деятельности, в которую были вовлечены компании, предприятия, руководители ведомств, чиновники министерств. Работая в Правительстве, он был знаком со множеством комбинаций, законных и незаконных, благодаря которым жила экономика и развивалась промышленность. Эти комбинации помогали управлять заводами и лабораториями, получать заказы на изделия, приобретать оборудование. Теперь же он был равнодушен к этим изошрённым приёмам, был вне этих комбинаций, покинул кипящую, едкую и опасную среду, где создавались репутации, складывались карьеры, творилась политика. Всё это казалось ненужным, сгорело вместе прежней жизнью. Не питало таинственный, совершаемый в нём рост. Не было почвой, из которой начинал тянуться загадочный стебель новой жизни.

В кают-компанию, в приоткрытую дверь сунулась Фрося:

— Не надо чего?

— А ну, иди сюда, Ефросинья! — приказал Топтыгин. — Покажи Антону Афанасьевичу его каюту.

— Я же показывала, — капризно отнекивалась Фрося.

— Кому сказал, покажи! — прикрикнул Топтыгин. — Антон Афанасьевич, отдыхайте. Завтра с утра прибудем к Ленским Столбам. А там на вертолёт — и на речку. Кинул, вытянул! Кинул, вытянул!

Гость нетвёрдо поднялся. Под усами его вяло улыбались мокрые губы:

— Покажи каюту, а то заблужусь. А нам ещё квоту пересматривать надо.

Они с Фросей ушли. Следом тяжело поднялся Топтыгин:

— Двадцать процентов! Жулик министерский! Как так можно работать? — повернулся к Лемехову, кивая на разгромленный стол. — Ты, давай, приберись здесь. Завтра готовься, полетишь с нами на речку! — и вышел, сердито ворча.

Лемехов, оставшись один, убирал стол. Складывал испачканные тарелки, объедки рыбы, пустые бутылки. Тряпкой вытирал пятна жира. Он, как слуга, выполнял приказание хозяина, не испытывая при этом ропота, не чувствуя унижения, не чураясь грязной работы. Ещё недавно он повелевал множеством подвластных ему людей, которые трепетали от его строгого взгляда, робели от его недозвольных замечаний. Его воля управляла заводами, лабораториями, полигонами. Его слушались генералы, директора заводов, прославленные учёные. Теперь же он служил самодовольному и хитрому дельцу, выполняя его грубые приказы и прихоти. И это не задевало его гордыню. Не было гордыни. Не было прошлого. Было чуткое вслушивание в потаённое возрастание души, страх перед тем, что оно остановится.

Ночью, засыпая в своей тесной каюте. Лемехов слышал металлический рокот двигателя, донные гулы воды. А также биение своего сердца, открытого огромному ночному миру. В этом мире, невидимые, живут города, туманятся континенты, дышат бессчётные людские жизни. Не ведают о нём, плывущем по реке к океану. Погружаясь в сон, он чувствовал, как в его душе возрастает неведомый стебель, пробивается иное бытие, на смену тому, что было сожжено и погибло. Этот стебель подобен множеству бессчётных стеблей, произрастающих из других человеческих душ, удалённых от него и неведомых. Все эти стебли стремятся к Творцу, любят его, хотят к нему прикоснуться. Эти стебли знают о существовании друг друга, ибо в каждом из них любовь к Творцу, и они сочетаются друг с другом через эту любовь.

Лемехов в своём одиночестве, среди ночной реки, чувствовал волшебную связь со всеми другими людьми, одновременно с ним посетившими эту землю. Он благодарил их за ту любовь, которой, любя их, он любил Творца. Благодарил Творца, любя которого, он любил других.

Он тронул висящий на шнурке крест, тот, что подарил ему сирийский солдат среди обгоревших развалин. Он помнил смуглое молодое лицо, белоснежные зубы. Стал молиться о нём, чтобы тот оказался жив, чтобы на ужасной войне его не настигла пуля. Молитва летела через водяные просторы, через пространства ночной земли, и он знал, достигла солдата, и тот улыбнулся во сне.

Лемехов засыпал, чувствуя тайное возрастание души. На железной палубе, на носу корабля сияла волшебная птица с драгоценным хвостом, похожим на радужное солнце.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

Утром, выходя на палубу, он увидел Фросю. Она покидала каюту, где обитал гость Антон Афанасьевич. Простоволосая, она опраивала блузку. Заметив Лемехова, раздражённо повела плечом.

Теплоход, сбросив скорость, медленно причаливал к берегу. Река была огромной, солнечной, в бескрайнем блеске. Берег являл собой фантастические горы, которые разрубил громадный колун. Каждая гора казалась пятернёй с торчащими каменными пальцами. Будто из-под земли торчали руки погребённых великанов, которые застыли в предсмертной каменной судороге. У причала стоял серебристый танкер. По берегу ходили люди. Донёлся смолистый запах дымка.

На палубу вышли Топтыгин и Антон Афанасьевич. Гость недовольно щурился на сверкающую реку, на расколотые горы, словно его пугали эти каменные пальцы, готовые сжаться в чудовищный хрустящий кулак.

— Пойдёмте, Антон Афанасьевич, на берег, я вам подарок приготовил, — глаза Топтыгина из-под косматых бровей довольно оглядывали реку, танкер, каменные, хватающие небо пальцы. Всё это принадлежало ему. Всему он был хозяин. Всем этим потчевал именитого гостя. — Ты, Немой, забери на берег сумку с водкой, палатку, спальники, спиннинги. Вертолёт тебя забросит на речку, там нас жди. И стол приготовь. А мы с Антоном Афанасьевичем через час прилетим и порыбачим до вечера.

Лемехов сгрузил с теплохода поклажу и стал ждать вертолёт. Топтыгин помогал гостю спуститься по трапу. Лемехов увидел то, что Топтыгин называл подарком гостю.

На берегу, у подножья горы, напоминавшей расколотую пятерню, было построено декоративное стойбище. Торчали островерхие чумы. Перед ними стоял шаман, облачённый в рыжую хламиду с блёстками и костяными амулетами. Тут же находилась женщина в зеленоватом облачении, с множеством блестящих подвесок. Оба были немолоды, с желтоватыми якутскими лицами. Среди морщин на этих лицах проглядывала древняя усталость и покорность Бог знает перед какой неодолимой волей, что поставила их среди бутафорских чумов на потеху заезжему люду. Каменная пятерня возносила над ними зазубренные пальцы. Не давала убежать, готовая схватить и водворить на место.

— Ну, давай, Никифор, пошамань вместе с женой, чтобы нашему дорогому гостю Антону Афанасьевичу помогали в дороге духи, — Топтыгин чуть подмигнул шаману, и тот устало опустил веки и снова поднял их над узкими печальными глазами.

Лемехов чувствовал эту печальную безысходность. Шаман и его жена напоминали пойманных птиц, которых поместили в неволю, подвергли дрессировке, заставили выступать перед публикой в цирке. И те смирились, принимали пищу из рук дрессировщиков, тайно тоскуя по воле.

— Ну, давай, Никифор, шамань!

Шаман Никифор затоптался, закружился на месте, затряс амулетами. Вместе с ним кружилась жена вокруг обложенного камнями костровища, где был набросан хворост. Гость Антон Афанасьевич пританцовывал в такт, насмешливо улыбался. Милостиво принимал подарок.

Шаман зажигалкой запалил хворост, прикрывая ладонями игривый огонёк. Забормотал:

— Тёмный дух, улетай! Из горы улетай! Из реки улетай! Из тайги улетай! Из тундры улетай! Из неба улетай! Чтобы люди проплыли, прошли, пролетели, и ты от них отступи!

Шаман кружился вокруг огня, поворачивался на все стороны света, взмахивал руками, прогонял злого духа, как прогоняют назойливую муху. Жена повторяла его движения.

— Теперь буду просить добрых духов, чтобы они помогли тебе в дороге! — шаман обратился к гостю, который наслаждался экзотическим зрелищем. — Повторяй за мной!

Он воздел руки к небу. Топтыгин и гость Антон Афанасьевич тоже воздели руки.

— Духи света, духи леса, духи реки, духи гор, духи ягод, духи рыб, духи птиц, дайте мне свою силу!

Он извлёк из кармана свистульку, приложил ко рту и издал долгий вибрирующий звук, будто заныла, затрепетала струна. Этот дребезжащий унылый звук полетел в горы, к реке, к белому облаку. Женщина танцевала, звенела погремушками. Топтыгин и гость тоже танцевали. Лемехову казалось, что для заезжего гостя это была не только забава, но он и впрямь вымалывал у языческих духов благополучие и достаток, за которыми явился на край земли.

Лемехов слушал дребезжанье свистульки, которая должна была породить вибрацию вод, камней и небес. Разбудить дремлющих духов. Испросить у них благополучие и могущество.

Но духи не просыпались. Магическая свистулька была забавой. Её звук не проникал в толщу гор и глубину вод. Шаман и его жена были пленниками, у которых отняли их чудодейственный дар, выставили на потребу зевакам. Горы, река, белое облако смотрели на шамана с печальным безмолвием. Лемехову казалось, что они испытывают к пленнику сострадание.

— Ну, спасибо, Никифор, хорошо пошаманил, — Топтыгин извлёк из кармана деньги, передал шаману, и тот торопливо сунул их в складку хламиды. — Теперь пошли, Антон Афанасьевич, дело делать! — приобнял он гостя и повёл его по берегу к стоявшему танкеру.

В небе застрекотало. Над рекой возник крохотный вертолёт. Сделал круг над сияющими водами. Опустился на берег, разгоняя винтом водяное солнце.

Лемехов потащил к вертолёту поклажу. В прозрачном пузыре кабины, кроме лётчика, могли разместиться ещё два пассажира. Лемехов перебросил в кабину палатку, спальники, мешок с припасами. Угнезвился в стеклянной колбе. И лёгкая стрекозка оторвалась от земли, взмыла ввысь, уклоняясь от каменных, хватающих пальцев. Развернулась над необъятным разливом Лены. Понеслась над мохнатой тайгой, над солнечными вершинами и тенистыми, полными тумана распадками.

Лемехов ощутил счастливую лёгкость и радостное доверие, — не к пилоту в наушниках, не к сверкающему над головой кругу, — а к той волнистой таинственной линии, по которой двигалась его жизнь, подчиняясь божественной воле, что влекла его по земным и небесным путям.

Полёт продолжался недолго. Внизу сверкнула река, чёрно-блестящая, петлявшая в горах. Их вершины казались тёмными куличами, рассечёнными надвое.

Сделав заход над рекой, вертолёт опустился на отмель, и Лемехов, не успевая оглядеться, поспешно выгружал поклажу. Вертолёт как пернатое семечко взмыл, и его унесло за гору, умолк его стрёкот.

Лемехов оглянулся вокруг и безмолвно ахнул. Мимо неслась река в чёрных водоворотках с серебряными завихрениями. Словно со дна всплывали слепящие слитки. За рекой громадно, заслоняя небо, вставали горы. Каждая была распилена надвое. Одну половину горы унесли, и открывался срез, похожий на громадную каменную страницу. Эта страница была покрыта тёмными письменами, будто скрижаль с загадочным текстом. Одна страница прилегала к другой. Словно кто-то разложил на отдельные страницы громадную книгу. Тёмные знаки, иероглифы, символы слагались в священный трактат, повествующий о сотворении мира.

Лемехов старался разгадать иероглифы. Они были вырезаны на камне неведомым великаном, таинственным летописцем. Рассказывали о первых днях творения. Было чувство, что сюда, в этот грозный и дивный храм, привела его воля Всевышнего, чтобы открыть закон, по которому был создан мир. Объяснить, как с этим законом соотносится его, Лемехова, жизнь, его крушение и гибель, и медленное воскрешение.

Он стоял, благоговей, глядя на эти каменные печати, каждая из которых оставляла в его душе отпечаток. Он постигал священный текст и божественный закон не разумом, не глазами, а дышащей грудью, на которую ложились каменные оттиски.

На вершинах гор росли тонкие островерхие ели. Им не хватало тепла и света. Они кренились все в одну сторону, как нагнул их полярный ветер. Высоко пролетел ворон, скрылся в расселине, и оттуда раздавалось его вещее карканье. Река несла в своих чёрных потоках серебряные браслеты и ожерелья. И Лемехову казалось, что сюда с наступлением темноты сойдутся великаны. Те, что населяли молодую землю, и горы загудят от их каменных голосов.

Вертолёт мог вернуться с Топтыгиным и московским гостем, и Лемехов стал готовиться к их прилёту. Поставил палатку. Собрал дрова. Сложил из камней очаг. Пошёл к реке и зачерпнул в котелок воду. Почистил и бросил в воду картошку, лук, всыпал ложку соли. Всё было готово для ухи, а рыбу, как уверял Топтыгин, они наловят в первые полчаса.

Раскрыл чехол, в котором лежали спиннинги. Сел на камень, оглядывая прекрасные и пугающие горы, близкую тайгу, благоговей перед Творцом, который пустил его в свой священный чертог.

Из горной расщелины пролилась тонкая струйка дрожащего звука. Появился вертолёт, похожий на звонкую осу. Сел в стороне на отмель. Из него высадились Топтыгин с компаньоном, в резиновых сапогах и комбинезонах. Двинулись к Лемехову. Вертолёт улетел, словно его сдуло ветром. И стало слышно, как Топтыгин, обнимая гостя, говорил:

— Вы убедились, Антон Афанасьевич, что народ у нас головастый? Вы нам, мы вам. Слово держим.

— Только молчок. Деньги любят тишину.

Они приблизились. Топтыгин жадно взглянул на реку, на спиннинги:

— Давай, Немой, налей нам по сто грамм. Чтобы лучше ловилось. Так, Антон Афанасьевич?

— Сто маловато... Давай двести! — засмеялся гость. Было видно, что они с Топтыгиным были пьяны.

Лемехов налил в рюмки водку, отсёк от буханки два ломтя, посыпал солью.

— Ваше здоровье, Антон Афанасьевич! Таких людей, как вы, раз, два, и обчёлся!

Он был щедр, хлебосолен. Уже подарил гостю женщину, шамана. И теперь дарил эти горы, реку, божественные скрижали.

Они выпили, извлекли из чехла спиннинги.

— Ты, Немой, бери сетку, ходи за мной. Я на уху наловлю, и ступай, вари.

Река неслась в тёмных воронках. На дне их сверкало солнце. Рыбаки разделились. Гость, неумело путаясь в леске, забрасывал блесну. Топтыгин, отрезвев, острым взглядом ловца прицеливался, кидал блесну, крутил катушку. Было видно, как трепещет под напором воды тонкая струнка.

Первую рыбину Топтыгин поймал почти сразу. Спиннинг выгнулся, леска натянулась. Топтыгин откинулся, крутил катушку. Рыба вспыхнула над водой, взметнулась в пене. Бурлила на конце лески, приближаясь к берегу. Топтыгин выхватил её из воды, она крутилась в воздухе трескучим пропеллером. Топтыгин схватил её левой рукой. Из кулака торчала голова с золотым глазом, извивался слизистый хвост. Топтыгин извлёк из кармана хирургические ножницы и с хрустом надрезал рыбью челюсть. Извлёк крючок.

— Ай, ленок! Ай, ленок! С почином! — он повернулся к Лемехову. — Что смотришь, Немой?! Подставляй сетку!

Кинул рыбу в сетчатый садок, и рыба, ошалев от боли, ходила ходуном, вставала на голову, брызгала слизью, стараясь пробить ячею, крутила полными ужаса золотыми глазами.

Вторая рыба неслась над водой как торпеда, оставляя пенный след. Топтыгин вырвал её из реки. Она танцевала у него над головой, выделявая вензеля. Он поймал её, сдавил могучим кулаком. Она не сопротивлялась, только дрожал зеленоватый раздвоенный хвост. Топтыгин кинул её в садок, торопясь забросить спиннинг.

— Ой, ленок!

Топтыгин поворачивался в разные стороны, прицеливался, метко забрасывал спиннинг, словно знал, где среди чёрно-серебряных воронок плывёт рыба. Выхватывал, приговаривая:

— Ой, ленок! Ой, ленок!

Садок отяжелел. Рыбы пахли рекой, слизью. Лемехов страдал, видя, как очередная рыба вырывается с корнем из реки, и в реке, где она плыла, остаётся рана.

У гостя Антона Афанасьевича не ловилось. Он забрасывал на мелкое место. Иногда на крючок попадался клочок травы. Несколько раз он цеплял крючком себя самого.

Наконец, ему повезло. Пойманная рыба крутилась на леске, то вылетала на поверхность, то исчезала. Антон Афанасьевич тянул, дёргал, издавая торжествующий крик. На мелководье он дёрнул спиннинг, рыба взлетела, сорвалась с крючка, упала на берег у самой воды. Стала скакать, подбираясь к реке. Антон Афанасьевич кинулся к ней, ловил руками. Рыба выскальзывала, подбиралась к воде. Антон Афанасьевич падал, старался накрыть её грудью.

Лемехов издали следил за этой нелепой схваткой. Взглядом, страстным сочувствием помогал рыбе. Выхватывал её из рук Антона Афанасьевича, заставлял того спотыкаться, падать. Рыба достигла реки, взбурлила на мелководье и ушла в глубину. Скрылась среди серебристых вспышек.

Антон Афанасьевич поднялся, чертыхаясь, грозя кулаком реке. А Лемехов торжествовал, представляя, как стремительно мчится рыба в холодных потоках.

Уха бурлила в котелке, всплывали белые рыбы ломти. Лемехов разливал уху по пластмассовым мискам. Топтыгин и Антон Афанасьевич пили водку, хлебали уху, обжигались, откидывали рыбы кости.

— Ничего, Антон Афанасьевич, не огорчайтесь. Мы здесь ловим, а вы там, в Москве ловите. Вы там рыбак первоклассный. Такие рыбины к вам попадают. И Президент, и Премьер, и вице-премьер. Мы ваши связи отслеживаем.

— Мало связи займеть, их удержать надо, — Антон Афанасьевич, уступивший Топтыгину в

искусстве ловить рыбу, демонстрировал своё превосходство в иной, недоступной Топтыгину области. — Здесь к каждому должностному лицу свой подход. Например, Президент. Когда с ним говоришь, надо смотреть ему прямо в глаза и говорить очень спокойно. Если в глаза не смотришь, значит, что-то скрываешь. Если нервничаешь, значит, гневаешься на Президента. С Премьером иначе. Если чего-то от него добиваешься, какую-нибудь схему предлагаешь или делаешь предложение, скажи так, будто ты его собственные мысли излагаешь, его гениальные идеи высказываешь. Это сработает. Он твои предложения примет как свои собственные. Третье дело — с вице-преьерами. У каждого свой характер, своё слабое место. Вычисли и бей в яблочко! С одним говори в кабине. С другим в ресторане. С третьим на яхте, где-нибудь в Средиземном море. Но будь осторожен, держи дистанцию. А то он утонет и тебя утянет.

Антон Афанасьевич важно наставлял внимавшего Топтыгина, а тот хитро поглядывал своими синими бусинками. Кивал Лемехову, чтобы тот наполнял рюмки.

— А что это, Антон Афанасьевич, история была с вице-премьером. Забыл фамилию. Вроде Лемешев.

— Лемехов?

— Вот-вот! За что его сковырнули? Здесь, на северах, разное толкуют.

— С Лемеховым мы дружили. Большие дела делали. И в Космос, как говорится, вместе летали, и с девками до утра гуляли. Он мужик крепкий, с головой. Меня к себе звал, но я не пошёл. Чувствовал, что тот погорит.

— На чём погорел-то?

— Это тебе знать не надо. Целее будешь. Важно другое. Был человек, государственный муж. С Президентом на «ты». А потом сгинул, как будто его и не было.

— Куда ж он делся?

— Тоже история тёмная. Одни говорят, что сбежал в Америку и там разгласил государственную тайну. Другие говорят, что его забрали и держат в специальной тюрьме, для опасных преступников. Третьи говорят, что он постригся в монахи и живёт в каком-то монастыре, на воде и хлебе.

— Выпьем, Антон Афанасьевич, чтобы нам не оступиться, а вот так на природе, на воле пить и гулять!

Чокнулись, выпили. Антон Афанасьевич топорщил усы, играл кадыком, словно проглатывал кость. Проливал уху себе на грудь.

Лемехова не удивляло, что разговор шёл о нём. При этом его не замечали, его не узнавали, будто его не было. Будто он был мёртв и не мог опровергнуть небылицу, уличить фантазёра. Он и впрямь был мёртв. Тот прежний Лемехов, вице-премьер, честолюбец, дерзавший стать Президентом, возмечтавший о величии, был мёртв. Вместо него существовал неопрятный, лишённый речи человек, который чутко прислушивался к тому, как в нём зреет другая личность. Эмбрион, которому ещё предстоит родиться.

Он почти не замечал этих шумных людей, ворвавшихся в храм Господа и устроивших здесь беспорядок. Горы величаво и грозно наблюдали за ними. Невидимые рыбы неслись в реке. Ворон, пролетая над елями, оглашал тайгу гулким карканьем. Это были духи, знавшие тайну сотворения мира, охранявшие каменные скрижали.

— Ого, Антон Афанасьевич, смотрите, вроде гроза идёт. Как бы нам не застрять. Вертолёт в грозу не летает.

Из-за елей вставала фиолетовая туча с оплавленным краем, и в ней, как зверь в берлоге, ворочался и рокотал гром. Огибая тучу возник вертолёт.

— Мой пилот — классный. Я его у пожарных купил, — Топтыгин поднялся, отбрасывая пластмассовую миску, отшвыривая ногой пустую бутылку. — Ты, Немой, здесь оставайся, соберись. Вертолёт за тобой пришлю.

Помог гостю подняться, и оба, обнявшись, прихватив садок с рыбой, пошли к отмели, над которой снижался вертолёт.

Лемехов проводил исчезающую струйку звука, которую оставил за собой вертолёт. Туча медленно выпускала из себя фиолетовые клубы. Солнце било из-под тучи, озаряя каменные скрижали. Они казались отлитыми из золота с надписями. Лемехов не ведал, на каком языке были сделаны надписи. Но знал, что начертавший их летописец запечатлел всю историю мира от сотворения до

его завершения. Жизнь каждого человека от рождения до кончины. Каждой погасшей звезды и той, что ещё не зажглась. Бытие во всей полноте было изложено в каменной летописи, которую ему было дано созерцать.

Лемехов уложил в мешок остатки провизии, посуду, пустые бутылки. Спрятал в чехол спиннинги. Засыпал костровище землёй, чтобы зарубцевался этот крохотный ожог. Не стал складывать палатку, предчувствуя, что близкая гроза помешает вертолёту вернуться, и ему предстоит ночлег. Снова стал разбирать письма, высеченные все ведающими великанами.

Они рассказывали, как погиб отец на глинистом берегу Лимпопо, упал в желтоватую воду, и волосы его струились в течении. Как мама, молодая, влюблённая, ждала отца у каменного парапета Фонтанки, и отражённые огни кружились, как золотые веретёна, и туманилось видение дворца. Как он с женой вернулся с мороза в избу, горячая белая печь, оконце в инее, тени шиповника, и он задышался от счастья, целуя её холодные губы, белые локти, жаркие груди, исчезая в восхитительном обмороке. Письмена рассказывали, как генералиссимус на осеннем параде смотрел на проходящие части, встретился взглядом с пехотинцем в белом халате, и тот, кидаясь под танк, вдруг вспомнил взгляд прищуренных зорких глаз. А Сталин, умирая в бреду, вдруг пришёл на мгновение в сознание и увидел солдата в халате, его светящиеся голубые глаза. Письмена рассказывали, как в первобытных хвощах лопалось белое яйцо, и из него, скребя зелёными лапками, выкарабкивалась скользкая ящерица. Как колесница, стуча по камням, проезжала Триумфальную арку, а за ней, спотыкаясь, бежал пленный царь.

Лемехов переводил взгляд с горы на гору, с одной каменной страницы на другую, стремясь прочитать свое будущее. Не то, где станут туманиться, гаснуть глаза, и мысли, путаясь, сложатся в последний рисунок. А то будущее, что ждет его в новой жизни, после всех потрясений и утрат.

Одна строка с её каменной вязью, озарённая солнцем, ярко светилась. Строка начиналась с буквы. В этой буквице пламенели цветы, наливались плоды, перелетали волшебные птицы. В этой буквице синело море, плыли корабли, сияли дворцы и храмы. Она была обетованной землёй, куда стремилась душа. Лемехов хотел понять, где находится эта земля, как связано с ней его возрождение. И вдруг прозвучало из скалы или из тучи, или из глубины его сердца: «Крым». Не тот, что был нанесён на карты, а Крым Небесный, Крым Предвечный, тот, в котором воскреснет его душа.

Это длилось мгновение. Солнце зашло за тучу. Скала погасла. Письмена слились в неразборчивые тёмные линии.

Туча встала, заслонив небо, вываливая на горы мешки, полные чёрной тьмы. Дунул ветер, прилетев с полюса, где не таяли льды. Хлестнуло в лицо. Лемехов залез в палатку, слыша, как дрожит небо от тяжёлых ударов.

Дождь то впивался в палатку, то, ослабев, отлетал. И вот гроза грянула всей своей громыхающей мощью, вспышками света, которые прожигали палатку. Снаружи ревело, ахало, скрежетало. Но Лемехову не было страшно. Кругом бушевали проснувшиеся духи, и они не гневались, а благодарили его за спасённую рыбу. Сама избавленная от гибели рыба молнией металась в реке.

Лемехов вышел из палатки под дождь. Его валило, плескало в глаза огненные ковши. Горы ломались, двигались, скрежетали одна о другую. Молнии падали в реку, и она несла ртутное пламя, в котором металась рыба. Духи гор и вод, огня и ветра славили Лемехова, клали ему на голову каменные ладони, сжигали вокруг него воздух, носились на огромных свистящих крыльях. Он ликовал, славил духов, благоговел перед могуществом Божьим.

Гроза ушла, ворочая вдаль глыбы. Дождь ровно шумел, и Лемехову, залезшему в спальный мешок, было чудесно.

Утром он проснулся на рассвете, когда горы ещё были чёрные, но ели на вершинах нежно золотились. Река неслась, тёмно-синяя от недавнего ливня. Лемехов смотрел, как течёт вдоль реки туман. И вдруг увидел, как из тайги вышел медведь. Огромный, лиловый, с заострённой мордой, могучей косматой спиной. Встал на опушке, вытянул голову, втягивал воздух. Лемехов видел, как раздуваются его тёмные ноздри, как слабо поблёскивает шерсть на загривке. Узнавал его. Это был тот самый медведь, которого он застрелил на овсах. Но теперь он воскрес, и духи привели его к Лемехову, чтобы тот узнал, что ещё один его грех искуплен.

Медведь постоял, чутко вдыхая воздух. Мягко развернулся и исчез в тайге...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Его странствия не кончались. В этих странствиях не было города или селения, которых он стремился достичь. Не было маршрута, который бы он выбирал из множества железнодорожных и автомобильных дорог. Он плыл в потоке бесшумного течения, которое подхватило его, когда он тонул, вынесло из пучины и теперь несло к неведомому берегу. Он знал, что этот берег существует, эта обетованная земля приближается. Доверялся течению. Пересаживался с поезда на поезд, с автобуса на автобус, с одной попутной машины на другую. Обетованная земля чудилась в образе неясного зарева, дивного света, который ожидал его впереди. В этом зареве таилось нечто восхитительное, исполненное нежности, любви, благодати, которые объемлют его, и он обретёт новое бытие взамен испеленного. И он стремился на этот свет, который рассветал за горизонтом, — не земли, а его собственной души.

Так, повинувшись таинственному навигатору, он оказался в южно-уральской степи, приближаясь к Аркаиму — то ли селению, то ли горе, о которой слышал смутные рассказы. О каком-то древнем племени ариев, о культе солнца, о паломничестве к этим местам странных сектантов — огнепоклонников, язычников, проповедников забытой веры, исповедников будущего, объемлющего землю учения.

Он сошёл с автобуса и долго шагал степью по выжженным холмам, которые опалило дыхание близких пустынь. Пьянел от запахов полыни, поднимался на горячие холмы и спускался в долины, где дрожали стеклянные миражи. Внезапно, поднявшись на гряде, он ощутил бесшумный удар света, словно его подхватил завиток миража, перевернул, как в невесомости, промчал по таинственным мирам и вернул на холм. Ошеломлённо стоял он, не зная, в каких мирах побывал, куда уносила его летающая тарелка, притаившаяся в серебристой степи.

Он устроился рабочим в археологическую экспедицию, на раскоп, среди округлой низины, окаймлённой холмами. В чаше, чьи края очерчивала округность холмов, под рыжими травами и горячей почвой находились древние поселения — гончарные мастерские, плавильные цеха и оружейные кузни. Целые города с храмами, обсерваториями, погребениями, занесённые прахом пустынь.

Всё это звалось Аркаимом. Рабочие, и вместе с ними Лемехов, рыли грунт, грузили на тачки землю, отвозили в сторону, пробираясь к деревянным мостовым и крепостным частокколам. Среди открытого солнцу и ветру раскопа находился шатёр, где скрывалась находка, к которой не подпускались ни рабочие, ни редкие, добредавшие до раскопа зеваки. Дежурил охранник. Полог шатра был всегда опущен.

В шатёр допускался только начальник экспедиции Игорь Станиславович Жданович, который прибывал к раскопу на вихляющей старой «Тойоте». Он был сухощавый, коричневый, как прокопчённое дерево, с седыми бровями, из-под которых смотрели усталые внимательные глаза. Его полотняный костюм продувался ветром. Белая панاما делала его похожим на чеховского дачника. Через плечо висела полевая сумка времён войны. Он скрывался в шатре и проводил в нём часы. А когда выходил, его лицо было исполнено тихого блаженства, как у верующего при выходе из храма.

Говорили, что в шатре находится великолепный гончарный сосуд, испещрённый орнаментом. Или боевая колесница с двумя деревянными колёсами, окованными железом. Или плавильный горн с остатками золота. Жданович мало говорил с землекопами, только указывал, где копать, куда отвозить землю. Лемехов гадал, какая тайна скрывается в шатре и полевой сумке профессора. Какие переживания делают его усталое лицо восхищённым.

В бригаде землекопов, где работал Лемехов, были люди, приехавшие в Аркаим, чтобы напиться волшебной энергией земли и небес. Испытать космическое блаженство. Преодолеть недуг и уныние. Здесь были молодые супруги из Астрахани Андрей и Женя. Она страдала бесплодием и надеялась под живительными звёздами Аркаима обрести потомство. Богатырского вида, светлокудрый, с курчавой бородкой, Аристарх из Перми исповедовал культ языческих богов и явился в Аркаим, чтобы поклониться божеству Солнцу. Маленький, с круглым милым лицом, москвич Алексей был православный и считал, что отсюда, из Аркаима, вышли волхвы, чтобы возвестить миру о рождении Христа. Инженер Столбовский из Петербурга считал, что Аркаим является прародиной европейских народов, и Россия в споре с Европой обладает правом первородства. Архитектор Иосиф проектировал города будущего, в том числе космические поселения. Блаженный Ефим из общества «вселюбов»

проповедовал любовь к людям, камням и животным. И ещё в бригаду пристроился слепой из Твери, баррикадник Вадим, потерявший зрение во время боёв у Белого Дома. Он не работал, а днями сидел на краю раскопа, похожий на сутулую птицу, не способную летать.

Все они ждали от Аркаима чуда, как и сам Лемехов, душа которого возрастала к свету после падения во тьму.

Лемехов принёс флягу с водой охраннику, дежурившему у входа в заповедный шатёр. Полог шатра был опущен, таинственный экспонат оставался сокрытым, но Лемехову казалось, что вокруг шатра слабо светится воздух, будто из шатра исходило загадочное излучение.

Он собирался уйти, но из степи, на ухабах показалась машина. Приблизилась. Из неё вышел профессор Жданович в своей неизменной панаме, с полевой сумкой через плечо. Следом молодая женщина в сарафане с полуоткрытой грудью, пышными, выгоревшими на солнце волосами. Им сопутствовал оператор с телекамерой.

Они приблизились к шатру. Лемехов видел, как хмурится профессор, как игриво, словно поддразнивая его, поводит плечом журналистка. Оператор поднял камеру, начиная работать.

— Мне кажется, Игорь Станиславович, вы недовольны моим появлением, — улыбалась журналистка, поправляя на бронзовом плече тесьму сарафана.

— Признаться, я не очень люблю общаться с журналистами, — хмурил седые брови профессор. Его коричневое, проявленное на солнце лицо не скрывало раздражения.

— Но ведь вы заинтересованы в том, чтобы о вашем открытии, о вашем Аркаиме узнало как можно больше людей?

— Аркаим не нуждается в рекламе. Он сам о себе оповещает.

— Вы говорите об Аркаиме как о разумном существе.

— Аркаим скрывался тысячи лет и именно теперь себя обнаружил. У Аркаима собственное представление о времени, и он живёт по часам, которые отсчитывают вечность.

Журналистка пленительно улыбнулась, давая понять, что напыщенные слова профессора кажутся ей забавными:

— Завтра, в день солнцестояния, тысячи людей, приехавших в Аркаим, поднимутся на гору Шаманку, чтобы встретить солнце. Ведь это новое язычество, не так ли? Вы создали этот языческий культ.

— Я скромный учёный, обычный археолог. Аркаим позвал меня, почему-то выбрал из сотен других. Через меня Аркаим обратился к людям. Люди его услышали, и теперь стекаются сюда со всех концов земли. А я только служу Аркаиму, выполняю его волю.

— Аркаим — божество, а вы его жрец. Я правильно вас поняла?

Оператор переводил телекамеру с нелюбезного, раздражённого Ждановича на сияющее, ироничное лицо журналистки. Было видно, что она испытывает легкомысленное любопытство к чудаку, проводящему свой век среди могильников. Для неё эта поездка в дикую степь была случайной. Она забудет о курьёзном человеке, вернувшись в столицу, где получит новые задания. Станет готовить сюжеты о кинофестивалях, театральных премьерах, блистательных художниках и режиссёрах. Её профессия помчит её по другим городам и странам. Там мимолётно она познакомится с именитыми кудесниками, быть может, влюбляя их в себя, пленяя светом зеленых глаз, певучим голосом, доступной, очаровательной женственностью.

— Но как относиться, Игорь Станиславович, к мнению видных учёных, ваших коллег, которые считают, что Аркаим, как бы это мягче выразить, считают, что это блеф. Вы создали блеф Аркаима, чтобы приобрести популярность, снискать расположение властей? — она мило улыбалась, зная, что вопрос ранит профессора. Причиняя ему боль, она испытывала удовлетворение, полагая, что эта боль сделает репортаж живым и привлекательным. — Я даже сталкивалась с тем, что вас называют «шутком из Аркаима». Ещё раз простите, это не я говорю.

— Аркаим имеет много врагов, — хмуро ответил Жданович. — Аркаим родился раньше Трои, раньше еврейской Торы. Летоисчисление Ветхого Завета опрокидывается. Мир сотворился здесь, а не в Месопотамии. Поклонники Ветхого Завета отождествляют меня с Аркаимом. Унижая меня, хотят унижить Аркаим. Но нельзя унижить солнце. Долгие тысячелетия Аркаим был невидим. Скрывался от глаз людских. Но теперь, когда он решил выйти из тьмы, его нельзя скрыть. Он встанет, как солнце. Солнце нельзя посадить в тюрьму.

Журналистке нравились эти ответы. Они казались напыщенными и потому уязвимыми. Её милая ирония и наивная женственность обесценивали истовость и одержимость жреца. В её сверкающих репортажах не было места для пугающих истин, ради которых люди идут на крест. Лемехову, который слушал их разговор, журналистка казалась стрекозкой, нарядной, с прозрачными крыльями, которая присаживается на каменное изваяние, чтобы тут же взлететь.

— Я слышала, что вас хотят отлучить от церкви. Один православный епископ называет вас язычником и богоборцем. Будто вы превратили Аркаим в огромное капище, куда стекаются язычники всех мастей. Вы действительно глава секты огнепоклонников?

— К Аркаиму стекаются люди, исповедующие любовь. Солнце — это любовь. Солнце — это Христос. Отсюда вышли когда-то три волхва, направляясь в Вифлеем, чтобы восславить Рождество Христово. Отсюда поднялась в небо Вифлеемская звезда и вела волхвов к яслям, где родился Христос. Среди людей, которые завтра взойдут на гору, будут христиане, мусульмане, буддисты. Господь направил свой благодатный свет во множество людских сердец, но все лучи исходят из единого Солнца.

Лемехову казалось, что словам профессора вторят озарённые светом холмы, ароматные полыни, высокое небо, которое чуть слышно звенело, будто из него на землю изливался незримый ручей. Профессор был переводчик, знавший язык камней, трав, степных птиц, воспроизводивший переливы небесных звуков. Профессор был избран, чтобы перевести людям волшебный язык Аркаима.

— Я попрошу вас, Игорь Станиславович, расскажите теперь, что это за место такое, Аркаим? Кто они такие, арии? Откуда взялись и куда делись? Только, Бога ради, языком понятным даже для таких невежд, как я. Может, и я стану огнепоклонницей, — она посмотрела на солнце, которое играло на её обнажённом плече, стекало в вырез сарафана на полуоткрытую грудь. Было видно, что рассказ профессора заранее обрекался на утончённое осмеяние. Лемехову казалось, что Жданович повернётся и уйдёт, избегая насмешек, и его выцветшая панاما забелеет среди рыжих холмов. Но он остался, позволяя оператору снимать свои утомлённое лицо, пыльные башмаки, коричневые, как корневища, руки.

— Вы видите этот круг, очерченный холмами? Мы находимся на дне чаши, края которой уходят ввысь. Мы на дне колодца, соединяющего небо с землёй. Сюда с небес льются потоки «небесных сил». Оплодотворяют землю. Влияют на земную жизнь. Создают всё новые и новые формы земного бытия. Все, кто посещает Аркаим, чувствуют эти небесные лучи. Иным кажется, что их живыми берут на небо. Другие перемещаются из настоящего в прошлое. Третьи общаются со своими умершими пращурами. Аркаим — это око, взирающее с неба. Быть может, и вы почувствуете волшебство Аркаима, если он увидит в вас любящее сердце.

Журналистка собиралась вставить ироничное словечко, которое подействовало бы как песчинка, влетевшая в глаз Аркаима. Но словечка не нашлось. Губы её тесно сжались, словно их кто-то запечатал. А Лемехов вспомнил мгновение невесомости, которое пережил, оказавшись на дне волшебной чаши.

— Пять тысячи лет назад, сюда, на Южный Урал с севера пришло изнурённое племя, — профессор читал не лекцию, а вёл сказ голосом сказителя, нараспев. — Племя покинуло чудесную землю, которую Гесиод называл Гипербореей. Эта была заполярная земля, где росли тропические леса, расстилались райские луга, обитали райские звери. И вдруг наступило похолодание. Леса замёрзли, луга покрылись льдом, звери погибли. Племя гипербореев покинуло свой рай и ушло на юг, теряя по пути соплеменников, редая и дичая. Но, явившись сюда, в Аркаим, оно попало под воздействие благодатных лучей, преисполнилось космических сил. Стало размножаться, обзавелось городами и обсерваториями, гончарными мастерскими и литейными цехами. Совершило открытие, которое изменило ход мировой истории. Изобрело колесо, построило колесницу, и лошади, запряженные в колесницы, стали стремительно переносить людей из края в край. Когда арии умирали, их хоронили в позе эмбриона, ибо они возвращались в матку, их породившую. Перед глазами покойника клали кристалл горного хрусталя, который преломлял луч солнца и соединял мир живых с миром мертвых. Когда чаша Аркаима наполнилась до краев, народ, именуемый ариями, двинулся из этих мест на освоение новых земель. Одни арии, унося с собой великие стихи Ригведы, устремились в Индию. Другие, унося свитки поэмы Авесты, двинулись в Иран. Так арии распространились по миру, создав несколько великих цивилизаций. Здесь, в Аркаиме, в этой матке, оплодотворённой из Космоса, зародилось современное человечество, к которому принадлежим и вы, и я.

Профессор Жданович начал свой рассказ угрюмо, тусклым голосом, уязвлённый насмешками прелестной женщины. Но потом его голос зазвенел, певуче вознёсся, как у проповедника, черпающего вдохновение у божества. Суровое лицо преисполнилось света, которым озаряли его солнечные холмы Аркаима.

— Вы говорите, арии. Арийские племена. Но разве это не отдаёт фашизмом? Я слышала, сюда приезжают молодчики со свастиками на рукаве. Они поклоняются не солнцу, а Гитлеру. Вас это не пугает? — журналистка смотрела на Ждановича враждебно, с тёмным страхом в глазах. Будто Аркаим угрожал её благополучию. Становился помехой в её увлекательной жизни. Лишал успеха, мужского обожания.

Жданович заметил этот страх. Раздумывал, продолжать ли рассказ, раскрывая тайну Аркаима перед этой поверхностной женщиной. Или замкнуться, уйти прочь, унося тайну.

— Аркаим — это место, где камень становится хлебом. Вода — вином. Трус — храбрецом. Остывший — огненным. Слепец — пророком. Грешник — угодником, — голос профессора гудел, как труба. Он воздел руку, и, казалось, пальцы его коснулись электричества, по ним пробежала вспышка. — Об Аркаиме намекали древние тексты. Аркаим присутствовал в учениях и пророчествах. О нём подозревал Гитлер, исследуя древние карты Урала. Величайшей тайной минувшей войны был странный манёвр германской армии, которая, не взяв Москву, не обезглавив Россию, устремилась вдруг в бескрайние степи Поволжья. Гитлер хотел захватить Аркаим, хотел захватить колодец, ведущий на небо, хотел подключиться к неиссякаемой энергии Космоса, чтобы стать властителем мира.

Журналистка смотрела остановившимися глазами, будто смуглолицый кудесник околдовал её. Она не понимала смысла услышанных слов, но была околдована гудящим голосом, горькими степными ароматами, низким солнцем, от которого на холмы легла волнистая тень. И казалось, что холмы шевелятся, как накрытые кошмой великаны.

— Сталин знал о существовании Аркаима на Южном Урале и бросил на Волгу, наперерез Гитлеру, советские армии. Чудовищная битва у Сталинграда была битвой за Аркаим, за мировое владычество. Аркаим принимал участие в битве и был на стороне России. Поэтому Сталин одолел Гитлера и низверг его в ад. Красное знамя Победы — это знамя Аркаима. Но Сталин не успел послать археологов и открыть Аркаим. Советский Союз исчез, не сумев подключиться к источникам небесных энергий.

— Вы мне рассказываете миф? — погасшим голосом спросила журналистка, без игривой прежней иронии. — Вы не воспринимаете меня серьёзно?

— Вы изменились на глазах. Аркаим вас изменил. Он изменяет всех, кто к нему приближается. Маловвер становится верующим. Легкомысленный — углублённым. Эгоист — самоотверженным. Я отношусь к вам с большим почтением. Нас познакомил Аркаим. Значит, это было ему угодно.

Лемехов видел, как переменялась молодая женщина, которая явилась сюда, как являлась в весёлые компании обожателей и друзей. В ней было что-то от прелестной танцовщицы, выставившей напоказ свои гибкие запястья и голые плечи. Теперь же она выглядела робкой, неуверенной, как прихожанка, первый раз заглянувшая в храм.

— Аркаим является бесценным достоянием России. Здесь зародились великие народы, сложились цивилизации Индии, Ирана и Европы. Сюда, в Аркаим, влечёт их реликтовая память, как птиц, не забывших свои гнездовья. Как знать, если Европа станет уходить под воду, и океан зальёт европейские столицы, не сюда ли хлынут потоки европейских беженцев спасаться на своей прародине? Россия примет беженцев. Аркаим напаяет их небесными злаками.

Смиренная прихожанка стояла перед Ждановичем, который был терпеливый пастырь. Ему была дорога любая душа, признающая волшебство Аркаима. И Лемехов был прихожанин этой таинственной церкви, окружённой холмами, под куполом бледного неба, из которого нежно сочилась лазурь.

— Россия богата нефтью, лесом, алмазами. Она добывает энергию атомных станций. Но бездонная кладовая энергии — небо над Аркаимом. Здесь нисходят на землю потоки бездонного Космоса, которые питают империи. Здесь зарождались великие империи прошлого. Здесь зародится великая империя будущего. Сюда в скором времени явится лидер, которого Аркаим вдохновит на создание новой империи. Я не знаю, кто этот лидер. Может, он едет в раскалённом автобусе среди изнурённого люда. Может быть, завтра он вместе с нами пойдёт на гору встречать рассвет. Может быть, он работает у меня на раскопе.

— А может быть, это вы? — с обожанием спросила журналистка.

— Не я, — ответил профессор. — Я всего лишь слуга Аркаима. Растворил его запечатанные веки.

— А как вы нашли Аркаим? Это было похоже на чудо?

— Это и было чудо. Его искали столетиями и не могли отыскать. Сюда проникала тайная экспедиция Аненербе, но ничего не нашла. Здесь ходили археологи НКВД, но ничего не нашли. Сюда приезжали маститые археологи мира, предчувствуя в этих степях спрятанную родину ариев, но ничего не нашли. Аркаим открылся мне. Бог весть, за какие заслуги.

— Как это было?

Профессор смотрел на женщину, словно хотел убедиться, что в ней совершается преобразование. Она испуганно ждала его слов, боясь, что их не дожждётся, и он уйдёт, оставив её в вечерней степи, не завершив свой сказ.

— Как это было? — умоляюще повторила она.

— Я исходил пешком эти холмы, ощущал их все руками в надежде найти хоть малый признак той «страны городов», о которой свидетельствовали древние поэмы. Всё тщетно. Пора было покидать эту степь. В Москве в это время шла «перестройка», гудели толпы, трещали основы государства. Уходил в небытие Советский Союз, красная империя. Я ждал машину, чтобы уехать навсегда из этих мест. И в последнюю ночь перед отъездом мне снится сон. Является мне отрок, светлый лицом, с золотой перевязью на лбу, какую носили огнепоклонники. И говорит: «Полети! Полети!» Я просыпаюсь и понимаю, что он зовёт меня пролететь над холмами. Но где самолёт? Выхожу из палатки и вижу маленький двукрылый самолёт сельскохозяйственной авиации. Трещит мотором, подкатывает прямо к палатке. Лётчик из кабины машет мне: «Дескать, садись!» Мы воспарили над степью, и сверху я вижу эту «страну городов». Вижу множество кругов и квадратов, очертания поселений и храмов, линии дорог и каналов. Лётчик повернулся ко мне, и я вижу, у него из-под шлема золотится перевязь. Земля вдруг стала прозрачной, как стекло, и я с высоты увидел убранство жилищ, гончарные мастерские с сосудами, плавильни со слитками меди, колесницы на лёгких деревянных колёсах, погребения, где в позе эмбрионов лежат усопшие, и перед их глазами мерцают кристаллы горного хрусталя. Я сделал фотографии. Мы облетели степь. Самолет высадил меня у палатки и скрылся, и я больше никогда не видел пилота. С огромными трудами я организовал экспедицию и открыл этот волшебный город по имени Аркаим. К этому времени исчез Советский Союз. Но Аркаим показал себя людям, чтобы положить начало новой евразийской империи, на смену ушедшей.

Профессор Жданович умолк, и его лицо под панамой было величественным и спокойным, как у того, кто исполняет великий завет, волю Творца.

— Это чудо! Вам было явлено чудо! — журналистка смотрела на профессора с обожанием, как порой прихожанки пламенно взирают на любимого пастыря. — Быть может, лётчик с золотой перевязкой был ангел небесный?

— В Аркаиме все становятся ангелами.

— Я слушала вас. Вначале не верила. Мне наговорили о вас много дурного. Теперь я знаю, что это были плохие люди, а вы святой! — она протянула к нему руки, словно хотела обнять. Но не решилась и молитвенно сложила их на груди. — Позвольте мне остаться с вами. Поручите мне любую работу. Я могу копать землю, варить еду, ухаживать за вами. Я хочу вместе с вами быть в Аркаиме!

Профессор кивнул, и было неясно, оставляет ли он эту женщину подле себя или в который раз убеждается в чудодейственной силе Аркаима, превращающего воду в вино.

— Ступайте за мной, — сказал он.

Они приблизились к шатру. Охранник по знаку профессора поднял полог. И Лемехов увидел, как в свете красноватого солнца, в сухой земле возникло погребение. Хрупкий скелет с мучнистыми рёбрами лежал в позе эмбриона, приблизив костяные колени к подбородку желтоватого черепа. Череп улыбался. Перед его пустыми глазницами драгоценно сверкал кристалл горного хрусталя, удавливая луч залетевшего солнца.

— Это арий, от которого повелось новое человечество, — сказал профессор. — Он заслуживает высоких почестей.

Лемехов смотрел на хрупкий скелет, который был отпечатком исчезнувшей жизни. Был ли он землекоп или сказитель, или жрец, или мастер боевых колесниц, или пастух, или воин? Кри-

сталл у глазниц соединял мир мёртвых и мир живых. Профессор шагнул в шатёр. Его живые глаза соединялись с бездной пустых глазниц, и ему открывались прозрения. Звучал умерший язык. Слышались струнные звуки. Скрипели спицы окованных медью колёс. Аркаим являл свои сокровенные тайны. Профессор бережно вычерпывал эти тайны из мёртвых глазниц, переносил в живой мир.

— Завтра утром, на восходе, я поднимусь на гору и буду читать Ригведу, — произнёс профессор. — Если хотите, то приходите на гору.

Они вышли из шатра. Полог опустился. Профессор, оператор и журналистка уселись в машину, и та унесла их в вечернюю степь, розовую от волнистых теней.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Бригада землекопов, в которой работал Лемехов, намаялась на раскалённом раскопе, и теперь наслаждалась прохладой. Отдыхала в вечерней степи, любуясь малиновой негасимой зарей. Лемехов гладил ладонью тёплую землю, нюхал горьковатый листик полыни. Слушал разговоры товарищей, чьи глаза следили за тонкой струйкой зари, медленно плывшей над холмами.

— Самая короткая ночь. Солнышко проводили и снова будем встречать, — произнёс язычник Аристарх, обращая к заре красивое, с русской бородкой лицо, исполненное благоговения. — Спать не придётся. Пойдём на гору встречать Ярило. У каждого к нему своё слово. Расскажите, кто какое слово скажет Красному Солнцу?

— Я попрошу у солнышка, чтобы оно послало мне сына, — произнесла Женя, обнимая загорелой рукой шею мужа Андрея. — Если родится сын, назову его Солнцедаром. Правда, Андрюша?

— Родишь непременно. Аркаим подарит нам сына.

— Я знаю, если не рожу, ты меня бросишь. Зачем я тебе, бесплодная? Ты вон как на деток заглядываешь. Найдёшь себе другую, которая дочек и сынов народит.

— Как я могу тебя бросить? Я же люблю тебя!

— Нас у матери двое. А у бабушки трое. А у прабабушки девять детей. Теперь русских совсем не осталось. Не хотят рожать. А я хочу, но не могу. И к врачам ходила, и в церковь, и к старушке. Мне старушка сказала: «Ты порченная. На тебе сглаз. Я этот сглаз снять не сумею». Я ведь знаю, кто меня сглазил. Соседка твоя, Верка. К ней и уйдёшь. Ты ведь бросишь меня, Андрюша?

— Да я же люблю тебя!

Она крепче обняла мужа, и было видно, как по щекам её бегут слёзы.

Лемехов зачарованно смотрел на зарю. Все эти дни он чувствовал, как возрастают в нём побеги новой жизни. Он не мог объяснить, в чём была их новизна. Каждая секунда говорила о бесконечности дарованной ему жизни. О бессмертии, о волшебном кристалле, в который можно устремиться вместе с лучом, и оказаться среди любимых и близких, чья любовь к нему не подвержена тлению. Его прежнее бытие, которое сгорело в пожаре и превратилось в ничто, теперь возвращалось. Но не причиняло страдания. Оно казалось преображённым. В этом прошлом отсутствовали боль, негодование, грех. Его словно окропили «живой водой», и оно оживало. «Живая вода» невидимой росой опускалась с небес Аркаима. Из того колодца, что орошал их, глядящих на зарю.

— Я пойду просить у Ярилы, чтобы воскресли русские боги, а с ними воскрес русский народ, — произнёс язычник Аристарх, накручивая на палец русое колечко бороды. — Православие со своим смирением и вечным стоном лишило русский народ его первозданной воли. Русичи черпали силу из дубрав, омутов, лугов, полевых цветов, великих рек, птиц небесных. Православие убило русских богов, и мы стали слезливыми, вялыми и пугливыми. «Красно солнышко, — скажу я, — собери своих сыновей Велеса, Сварога, Хора. Поставь их во главе русского народа, и не будет нам равных в битвах и трудах, и воскреснет Россия».

— Ты заблуждаешься, Аристарх, — возразил ему Алексей, круглолицый и миловидный скиталец, — Православие сделало Русь «Святой Русью». Православие сделало русский народ «божьим народом». Открыло нам, русским, райские заповеди. Великую мечту о земном рае. Сделало русских непобедимыми и бессмертными. Проповедниками справедливости и любви.

— Ваша любовь насаждалась калёным железом. Волхвы восстали против чужой веры, а ваши проповедники рубили им головы, сажали на кол, спускали на плотках по Шексне и Волге. С тех пор волхвы прячутся от вас по чащобам и горным пещерам. Подальше от вашей любви.

— Христос смотрит из каждого камня, каждой былинки. Он в цветке, в плеснувшей рыбе, в стихотворении Пушкина. «Да здравствует Солнце, да скроется тьма!» Я пойду на гору славить Солнце-Христа и читать «Отче наш»!

Лемехову захотелось повторить стих Пушкина о Солнце. Он двигал языком, заставляя его повторить чудесное слово. Но когда собрался издать звук, слово окаменело, остановилось в губах, и он тихо престодал.

Лемехов чувствовал, каким лёгким стало его тело, будто утратило плоть. Ещё немного, и он взлетит и унесётся в это небесное окно, откуда льются волшебные лучи. Станет летать среди звёзд и планет, пока ни опустится в чудесный сад, где гуляют мама и папа, где бабушка держит в руках алый мак. Его путь сложится не только из земных дорог, но и небесных. Он сам со своим преображённым прошлым, со своим таинственным будущим, с ожиданием чуда, — он сам и есть путь. Тот, который проложил в его душе Творец.

— Европа слишком уж кичится, — произнёс инженер Столбовский, который увлекался магией. — То и дело набрасывается на Россию. И культурнее, и богаче, и сильнее нас! И чуть что, она к нам с пушками и ракетами. И мы, бедные, надрываемся, последнюю копейку в свои ракеты и самолёты засаживаем. А ведь я знаю, как Европу унять.

Они, европейцы, из Аркаима вышли. Здесь их генетическая прародина. До сих пор Аркаим их питает. Надо отсечь от них Аркаим. Поставить заслонку, и они задохнутся. Пусть Президент привезёт сюда тысячу экстрасенсов, и они отсекут Европу от Аркаима. Как она завершит! Как завершит! Это и есть, я вам скажу, экстрасенсорное оружие!

— Нет, не то говоришь, — возразил ему архитектор Иосиф. — Не Европу нам надо унижать, а надо самим возвышаться. Это великое достояние России — Аркаим. Здесь Россия добывает не газ и нефть, не уран и уголь. Здесь Россия добывает космическую энергию, которая неисчерпаема. Я спроектировал дворец, который поставлю на вершине горы. Он выполнен в виде спирали, куда залетает космическое излучение. Достигает высшей концентрации и облучает пространство дворца. Сюда будут приезжать художники и поэты, инженеры и учёные, политики и священники. Это излучение сделает их гениями. Они превзойдут своими достижениями всех людей мира. И достижения их станут служить благу, увеличат в мире добро. Так и назову — «Дворец Добра».

Лемехов смотрел на Аристарха, на длинные, перевязанные тесьмой волосы, на кудрявую бородку, и вспомнил стих Пушкина: «Волхвы не боятся могучих владык». Захотел произнести слово «волхв», но оно не складывалось на языке, не перетекало в гортань, и звук, который он издал, напоминал тихий клёкот.

Будущее, которое к нему приближалось, было безымянное, как несуществующее слово, благоухающее, как южный сад, плещущее, как дивное море. В этом будущем была любовь, было захватывающее на всю жизнь свершение, было служение, бескорыстное и возвышенное. Ему казалось, отгадка этого будущего таится в стихах Пушкина, в его сказках и поэмах, которые в детстве читала мама. И он перебирал в памяти пушкинские стихи, не умея произнести их вслух.

Слепец Вадим устремил на зарю склеенные глаза. Нахохленный и сутулый, с заострённым носом и впалыми щеками, он был похож на большую птицу, у которой крылья были связаны за спиной:

— Пойду на гору и буду молить, чтобы Аркаим вернул мне зрение. Последнее, что я видел, — вспышку из танка, который бил по Дому Советов. Контузия прошла, но глаза погасли. Если прозрею, найду того танкиста и вырву ему глаза!

— Братья мои, не думайте о дурном! — воскликнул блаженный Ефим, проповедующий «вселюбовь». — Давайте только о добром, о хорошем. Давайте нести в мир любовь, и мир станет чище, добрее! Давайте вместе, хором, возгласим: «Мы всех любим!» И людей, и зверей, и божьих коровок, и камни, и звезду! Давайте хором!

И он, обращая к заре восхищённое лицо, стал страстно повторять:

— Мы всех любим! Мы всех любим!

Сначала он возглашал один. Потом к нему присоединилась Женя. «Мы всех любим!» — повторяла страстно, словно молилась. Ей последовал Андрей. Язычник Аристарх вплёл свой бархатный го-

лос в общий хор. За ним — паломник Алексей. Инженер Столбовский сначала иронично улыбался, но подхваченный страстным возгласами, стал повторять: «Мы всех любим»! Архитектор космического Дворца Иосиф восхищённо смотрел на зарю, восклицая: «Мы всех любим»! Мрачный слепец Ефим угрюмо молчал, но и его закружил общий вихрь. Лемехов раскачивался из стороны в сторону, не умея произнести счастливого заклинание. Но тихо и бессловесно запел: «Мы всех любим»!

Они соединились руками, и казалось, их восторженный хоровод отрывается от земли и несётся в небо Аркаима.

Лемехов заснул и проснулся, казалось, через мгновение. Над ним было тёмное небо, полное звёзд, но край холмов продолжал светиться. Заря была негасимой.

Уже поднялась вся артель. Язычник Аристарх облачался в плащ, крепил на лбу священную повязку. Андрей набрасывал на плечи жены одеяло. Паломник Алексей брал под руку слепца Вадима. — Пора, — сказал инженер Столбовский. — Идём на гору, чтобы успеть к восходу.

Они шли по степи узкой тропкой, путаясь в сухих полынях. Была тьма, и только розовело небо над вершиной холма. Они обогнули холм, и тропка влилась в просёлок, который мутно и белёсо светился, словно был посыпан мукой. По просёлку шли редкие люди, все в одну сторону, на зарю. Просёлок слился с дорогой. По ней шагало множество людей, молчаливых, с неразличимыми лицами. Все они шли к далёкой горе, чья вершина чернела на розовом небе. Дорога слилась с другой дорогой, и теперь к горе шла густая толпа. Шелестели и шуршали подошвы. Кто-то спотыкался, но его подхватывали.

Лемехов шёл в толпе. В темноте не было видно лиц, но рядом качался тюрбан, ниспадало до земли покрывало. Казалось, по дороге шли древние племена, двигались воскрешённые народы. Разверзалась земля, открывались усыпальницы. Из них выходили усопшие, облечённые в плоть. Лемехову чудился сырой земляной запах, тление ветхих одежд. Что-то слабо мерцало, быть может, кристаллы горного хрусталя. Мёртвые присоединялись к живым. Все торопились к горе, чтобы восславить божество, которое посылало впереди себя золотую вестницу.

Гора приближалась. В темноте её склоны шевелились, покрытые восходящей толпой. Вершина, чёрная на заре, колебалась от множества бродивших по ней людей.

Лемехов задыхался. Его влекла заря. Её незримые алые руки поддерживали его, помогая взбираться на кручу. Подхватывали, когда он спотыкался. Отводили в сторону от тёмных расселин.

Он неотрывно смотрел на зарю. В ней, розовой, золотой, звучали слова, обращённые к нему. Слова величественные и певучие, в которых раскрывалась тайна сотворения мира. Лемехов был причастен к этой грозной и восхитительной тайне. Его путь на гору складывался с бесчисленными дорогами и путями, по которым он шагал, плыл и летел. Но заря, её алые и золотые слова, её волшебная тайна приближались из будущего. Заря освещала путь, тот, который совершала душа от рождения до смерти, и дальше, в бесконечном бессмертном странствии.

Он взошёл на вершину. Было множество людей, и казалось, от их колыханья гора качалась. По другую сторону горы открывалась низина, над которой пламенело небо. Низина была в тени, но тонкая струйка реки зеркально сверкала, отражая зарю. Множество людей сидело на склоне, обратив лица к заре. Они были похожи на оцепеневших недвижимых птиц, сидевших на гнёздах.

На самой вершине двигался непрерывный людской хоровод. Камнями была выложена просторная спираль. Люди входили в устье спирали и шли по кругу, медленно, виток за витком, приближаясь к центру. Глаза у некоторых были закрыты, словно их вел поводырь. Другие смотрели в небо, произнося невнятные молитвы. Достигали центра спирали, замирали, вознося руки, словно прикасались кончиками пальцев к небу. Выходили из спирали и садились на склон, лицом к заре, как заколдованные птицы.

Лемехов ступил в спираль. Перед ним шёл огромного роста казах, босиком, в пёстрой шапочке. Старался не наступить на босые пятки женщины в восточном одеянии. Лемехов сделал несколько шагов и почувствовал, что его захватил бесшумный вихрь, закрутили действующие в спирали силы. Словно с небес прилетало мерцающее излучение, захватывалось спиралью, набирало силу, пронзало идущих людей.

Ему стали являться видения, словно во сне. Он увидел комнату давно умершего деда, в которой побывал только раз. Но теперь отчётливо видел фарфоровую настольную лампу с шёлковым абажуром. Висели на стенах картины. Серебряная ложечка с монограммой преломлялась в чашке чая. Лицо деда замерло с полуоткрытым ртом, когда он не успел произнести какое-то слово.

Он увидел мраморный памятник на каком-то безвестном кладбище. На мраморе отчётливо была выведена фамилия — Лемехов, в углубления букв набилась пыль.

Потом его закрутило, как на карусели, он поднялся ввысь и увидел землю, голубую, с завитками облаков, и понял, что перенёсся в Космос.

Начались вспышки, напоминавшие шаровые молнии, и эти вспышки были одушевлёнными, у них была душа, и он испытал от встречи с ними блаженство.

Он достиг центра спирали и встал рядом с казахом, воздев, как и он, руки к небу.

Ещё недавно, в прежней жизни, он занимался Космосом, готовил ракеты и аппараты для космического рывка. Но теперь он находился в Космосе без ракет. Космос сам явился к нему, на вершину горы. Аркаим был космическим кораблем, который приводился в действие волшебной спиралью.

Испытывая чудную невесомость, он покинул спираль и сел на склон, глядя на бесшумную зарю. Она росла, разгоралась. От неё поднимались волны, алые, золотые, розовые. Божество приближалось. Люди вставали с земли, звали его и славил. Лемехов видел, как Женя раскрыла живот, подставляя его заре, чтобы целительная сила оплодотворила её. Язычник Аристарх воздел руки, безмолвно возглашая хвалу. Паломник Алексей восхищённо смотрел на зарю и читал «Отче наш». Слепец Вадим обращая к заре свои стиснутые глаза, ожидая, что алые капли света проникнут сквозь тьму. Казах в разноцветной шапочке стоял на молитвенном коврике и молился. Буддист в оранжевой хламиде гудел свои песнопения. Все волновались, ликовали, славил восход божества.

На горе появился профессор Жданович, всё в той же помятой блузе и панаме. За ним следовала журналистка, с обожанием глядя на любимого пастыря. Жданович извлёк книгу, и на её кожаном переплете блеснула оттиснутая золотом надпись: «Ригведы». Жданович раскрыл книгу, так чтобы заря освещала страницы, и стал читать.

Смотри, ночь уходит.
И восходит на своё ложе заря.
Вот льётся свет.
Наилучший из всех светов.
Огонь утренний, лучистый.
Заря блестящая, пришла она.
Вся белая, со своим теленком.
Чёрная ночь уступает ей своё место.

Жданович читал, восторженно и певуче, как читают священную книгу. Все сошлись к нему, ловили вещие слова. Он был вероучитель, привёл на вершину горы свой народ. Проповедовал религию зари, благую весть Аркаима. Лемехов чувствовал, как приближается что-то огромное, могучее, лучезарное. Не только там, за горизонтом, где пылала заря. Но и в его душе, истомившейся, верящей, ожидающей чуда.

Заря появилась, сияющая.
Она разбудила живущий мир.
Показала нам богатства.
Заря разбудила все существа.
Она заставляет встать лежащего.
Другого заставляет искать пищу.
Слабому зрением показала дали.
Другого послала добиваться владычества.
Того — славы, этого — почестей.
А иного побудила идти в путь куда-либо.

Лицо Ждановича, озарённое светом, казалось властным и грозным. Его блуза и панамы, залитые алым светом, были облачением жреца. Лемехов испытывал ликование. Могучая сила рвалась из него навстречу восходящему солнцу. Одно светило всходило над горизонтом, распахнув зарю. Другое — в его душе. Два солнца готовы были слиться в одно.

Это дочь небес явилась в свете.
 Юная женщина в яркой одежде.
 Та, которая царит над всеми благами.
 Счастливая заря сияет над землей сегодня.
 Она идёт дорогою прошлых зорь.
 Сияя, она оживляет того, кто живёт.
 Но того, кто мёртв, заря оживить не может.
 Они ушли, смертные.
 Видавшие зори прошлого.
 Это нам теперь позволяет она любоваться собою.

Из-за далёких холмов возник красный огонь. Окружённое зарей, появлялось солнце. Пламя свет хлынул в долину. Река сверкнула, как расплавленное стекло. Гора, озарённая солнцем, ахнула. Лемехов почувствовал, как рванулась в груди скопившаяся немота, ударила бурно наружу, сначала клёкотом, потом рыданием, а потом неудержимым извержением стихов. Пушкинских, полузабытых, из детства, из книжек, что читала бабушка, из маминого потрёпанного томика, из тех стихов, что разучивала жена, собираясь на праздник. Лемехов смотрел на солнце, грудь его сотрясали рыдания, и он громко, боясь, что его вновь покинет дар речи, читал:

«Горит восток зарею новой!» «Да здравствует солнце, да скроется тьма!» «Волхвы не боятся могучих владык!» «Мороз и солнце, день чудесный!» «Сиянье шапок этих медных, насквозь простреленных в бою!» «Три девицы под окном пряли поздно вечерком!» «О, поле, поле, кто тебя усеял мёртвыми костями?» «Как мимолётное виденье, как гений чистой красоты!»

И совсем неведомое ему, Бог весть, откуда залетевшее в его озарённую память: «Среди зелёных волн, лобзающих Тавриду, на утренней заре я видел nereиду».

И вслед за этими волшебными стихами полыхнуло беззвучно: «Таврида! Крым!».

Он стоял на горе, среди ликования, рыдал. Счастливо повторял: «Среди зелёных волн, лобзающих Тавриду».

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Он шёл в открытой степи, в жарком безлюдье, без дорог, без тропок, куда глаза глядят. Башмаки его были в пыли, к одежде прилепились колючие семечки степных бурьянов. Ему было легко и свободно. «Как птице небесной», — думал он, не ведая, где обретёт ночлег.

Услышал тихий стрёкот с неба. Маленький вертолёт делал круг. Мерцал на солнце колпак кабины. Трепетал стеклянный круг винта. Вертолёт совершил над его головой дугу и стал снижаться. Сел неподалёку, окружённый солнечной пылью.

Из-под винта вышел человек и, пригибаясь, направился к Лемехову. Тот встал. Человек приближался, на нём была светлая рубашка и вольные брюки. Он закрывал ладонью глаза, защищаясь от пыли, и Лемехов не мог разглядеть лица. Человек подошёл, опустил руку, и Лемехов узнал в нём генерала Дробинника. Всё то же бледное узкое лицо, без загара. Розовый шрам. Прозрачные глаза, в которых притаились чёрные точки мишени.

— Здравствуйте, Евгений Константинович, — произнёс Дробинник, не подавая руки.

— Как вы меня нашли, Пётр Тихонович? — изумился Лемехов.

— Я никогда не выпускал вас из вида. Вы слишком заметны, Евгений Константинович, чтобы потеряться.

Кругом была солнечная пустота, без дорог, без телефонных вышек и высоковольтных опор. Было неясно, чей глаз, чей зоркий окуляр мог следить за Лемеховым в этом безлюдье.

— Я не должен был спрашивать, Пётр Тихонович. Вы же «всевидящее око». «Око государево». Чем вам могу быть полезен?

— Президент Юрий Ильич Лабазов просит вас вернуться в Москву и приступить к работе.

Лемехов не удивился, остался равнодушным к услышанному. Его звали туда, откуда он ушёл навсегда, где его больше не было, в то прошлое, которое сторело дотла.

— Я забыл, чем занимался, Пётр Тихонович. Я не умею делать то, о чём просит меня Президент.

— Вы очень нужны Президенту, Евгений Константинович. Очень нужны государству.

— Но что произошло? Я не оправдал доверие Президента, и он отвернулся от меня. Он был прав. Я совершил много ошибок, многое о себе возомнил, нарушил неписанные законы. Он поступил справедливо, и я смирился с его справедливым решением. Теперь я другой человек. Я не могу вернуться в то место, которого для меня больше нет.

— Президент зовёт вас и просит встать рядом с ним. Предстоят огромные перемены, огромный поворот. Этот поворот будет столь крут, что многие не удержатся на палубе, и их снесёт. Другие будут так потрясены переменами, что утратят дееспособность и окажутся ненужным балластом. Третьи обратят свою ненависть на Президента и постараются его уничтожить. Он считает вас выдающимся деятелем, настоящим государственным деятелем, «сыном Отечества». Вы очень нужны.

— Какие же грядут перемены?

— Вы встретитесь с Президентом, и он вам расскажет. Русское государство достигло в своём развитии такого уровня, что оно способно ставить перед собой огромные цели. Во внешней политике, в оборонной сфере, в развитии самого государства. Нам предстоят деяния, которые изменят роль России в современном мире. Мир ждёт от России нового слова, и Россия произнесёт это слово.

Лемехов смотрел в прозрачные глаза генерала, на дне которых чернели икринки. В них таилась опасность, но она не пугала Лемехова. Он был неуязвим. В нём больше не было честолюбия, не было азарта и страсти, которые прежде управляли его поступками. Он изжил в себе погоню за успехом, неутолимое стремление к власти, восприимчивость к мифам, объясняющим судьбы России. Он знал теперь многое о конце времён и о том, как свищут соловьи на рассвете, и как теплится нежно в руках лёгкое тельце младенца. Он прочитал письма в огромной каменной книге, где говорилось о сотворении мира, и о месте в этом мире человека, сверкающей рыбы, медведя в сиреневом тумане реки. Он встречал солнце на божественной горе и узнал, что такое бессмертие.

Он хотел проститься с Дробинником и идти дальше в своём одиночестве, унося с собой драгоценное знание.

— Как чувствует себя Президент?

— Прекрасно. Он полон сил и замыслов. От него исходит энергия, словно он преобразился. Возвращайтесь в Москву, Евгений Константинович.

— Да, я хотел вас спросить. Вы ничего не знаете о господине Верхоустине? Кажется, он Игорь Петрович?

— Нет, почти ничего не знаю. В одной калифорнийской газете было написано, что Верхоустин погиб в автомобильной аварии где-то в районе Сан-Диего. Больше мне ничего не известно.

— Ну, прощайте, Пётр Тихонович.

— Подумайте, Евгений Константинович, о предложении Президента. Я найду вас через несколько дней.

Дробинник повернулся и пошёл к вертолёту.

Вертолёт взмыл, сверкнул на вираже и скрылся, рассыпав над степью звенящую пыль...

Лемехов шёл по вечерней степи, и его тень убегала в красноватую даль. Он утомился и лёг на землю. Раскрыл руки крестом. Одна рука уходила на восток, через великие равнины и реки, сибирские города и озёра, к Китаю, который вздымал свои небоскрёбы, развёртывал могучие армии, выплёскивал в мир сгустки раскалённой энергии. Другая рука уходила на запад, касаясь готических храмов, великих европейских столиц, священных камней, которые веяли красотой и вечной распрей, предвестницей войн и нашествий. Его ноги протянулись к Ирану, к зелёным изразцам и зеркальным мечетям, к атомным центрам и танкерам, плывущим в горячих водах. Его голова покоилась на подушке полярных льдов, под радугами негасимых сияний.

Он был огромной страной, которая его породила, обрекла на любовь и боль, на будущую смерть и бессмертие. Он не знал своего будущего и будущего великой страны. Но оно, безымянное, приближалось, вовлекало его в себя, всю его боль и любовь. И там, впереди, в том будущем, которое его поджидало, восхитительно и волшебным звучало дивное слово «Крым».

Берега Воронежские

Сергей Луценко

Родился в 1980 году в городе Павловске Воронежской области. Окончил Современную гуманитарную академию и Воронежский государственный аграрный университет. Работал машинистом, оператором, слесарем, журналистом, преподавателем. Публиковался в журналах «Подъём», «Молоко», «Камертон», «Наследник», газетах «Коммуна», «Воронежская неделя», «Воронежский телеграф», многих коллективных изданиях. Автор поэтических сборников «Стихи» (2010) и «Дом на камне» (2012), книги рассказов и очерков «К неведомым берегам» (2013). Живёт в Павловске.

СЛАВЯНСКИЙ ТРИПТИХ

I Россия

Над рекой тихоструйной — туманы,
А за ними — курганы в степи...
Русь! Россия! Обиды и раны
Со своими — мои ты скрепи.

Дай услышать мне с горечью вещей
Разговоры полночных ветров...
Полночь!.. Помнишь, Россия, зловещий,
Грозный свет половецких костров?

Русь... Набеги, метели, пожары —
И тоска, и тревога, и боль...
Немцы, шведы, поляки, татары...
Прорасти в твои дали — позволь!

Дай почувствовать, будто случилось
Безраздельно со мной это всё,
Чтобы я сквозь осеннюю стылость
Видел страшные зарева сёл —

И постиг всё, что было в начале,
И в душе закрепил каждый миг
Всей твоей вековечной печали,
Всех серебряных песен твоих.

Да, мне надо на краешке круга
Заглянуть в синь заплаканных глаз,
Чтоб постигнуть — какая же вьюга
На тебя налетает сейчас;

И какие же полчища вышли
На твои вековые пути...
За несветлые мысли — простишь ли?
Если сможешь, пойми и прости.

II Украина

О, сколько раз ты погибала!
Неистойей день ото дня
Тебя пытали: было мало
Врагам железа и огня...

Моя любовь, моя кручина!
В сиянье скорбной красоты
Ты оживала, Украина,
Из праха возрождалась ты.

Паны веками власть делили —
Ты шла вперед, чиста, строга.
От них осталась горстка пыли,
Полузабытая строка.

Те живы, кто сильней барвинка
С тобой срастались глубоко:
Шевченко, Леся Украинка,
И Коцюбинский, и Франко...

Держись! Ты выступишь и ныне!
Господь не даст тебе пропасть.
Закончится на Украине,
Прервется лихолетья власть...

III Беларусь

Белоруссия, Белая Русь!
О тебе моя радость и грусть.
Крепко стой, несгибаемо стой
Под своей незакатной звездой.

В мире мало, так мало родни!
Ты России моей протяни,
Протяни свою руку скорей —
И ладонь о Россию согрей.

Мы обнимемся крепко — и вот
Молодая струна запоёт
На широких, раздольных ветрах —
И останется песня в веках!

Разлетится по свету она,
И любви, и печали полна.
Минск, Москва, Сталинград и Хатынь...
Братский Свет, не сгори, не остынь!

Когда нас вызывали на бой,
Мы сражались бок о бок с тобой,
И кровавые раны потом
Утирали одним рушником...

Ты созвучно поёшь, Беларусь!
Я вернусь, непременно вернусь.
Припадая к славянским ключам,
Я молюсь о тебе по ночам.

Я шепчу: «От смертельных тревог
Сохрани и спаси тебя Бог.
Во все дни, Беларусь, во все дни
Сохрани тебя Бог, сохрани!..».

Государев Питербурх

Здесь даль темней и небо ниже,
И если грянет Страшный суд,
Здесь мертвецы в болотной жиже
Своих костей не соберут.

Кто сосчитает кости эти?
Авось... когда-нибудь... впогляд...
Шумят недобрые соседи,
Родные бороды трещат.

О, как сумеешь успех утроить?! —
С похмелья не доспав опять,
И град срубить, и флот построить,
И необъятное объять...

А ближний круг с утра судачит,
Кому сегодня в свой черед
Царь Пётр с ухмылкой кошачьей
Орла большого поднесёт.

Плюёт на этикет заморский
Напыщенный, лощёный хлыщ —
И царь идёт к нему по-свойски:
«Деву охмурять? Шалишь.

А! Метишь выбиться в повесы!
Смешон дурак из дураков,
Забуть посмевший политесы
Средь топких невских берегов...».

Так принимай повинный кубок —
Ты коронован, царь Осёл!
Что ж, полон извинений глупых,
Икая, валишься под стол?

Постой! Ещё гульба в разгаре,
Ещё табак не весь иссяк
И не разбит в хмельном угаре
Дверной двоящийся косяк...

А в пять утра — подъём, работа:
На мачту лезь, руби, вяжи.
Герр Петер до седьмого пота
Привык трудиться — от души!

Всё у него звенит и блещет,
Ты тоже — в ноготь не свисти.
Пусть царь ошибке рукоплещет,
Но туняедец — не в чести.

Он зыркнет — задрожат поджилки,
А то и врежет — и с копыт
Покатишься, скуля, в опилки,
Родимой кровушкой умыт.

Что ж, исправляйся! За науку
Берись, топор не забывай —
И вот спустя полвека внуку
Царёв наказ передавай.

Всё, скажешь, впрок. Зело обучен,
Я мастерски топор держал.
У невских и донских излучин
Не зря сам Пётр мне руку жал!..

Россия

Над рекой тихоструйной туманы,
А за ними курганы в степи...
Русь! Россия! Обиды и раны
Со своими — мои ты скрепи.

Дай услышать мне с горечью вещей
Разговоры полночных ветров...
Полночь!.. Помнишь, Россия, зловещий,
Грозный свет половецких костров?

Русь... Набеги, метели, пожары —
И тоска, и тревога, и боль...
Немцы, шведы, поляки, татары...
Прорасти в твои дали позволь!

Дай почувствовать, будто случилось
Безраздельно со мной это всё,
Чтобы я сквозь осеннюю стылость
Видел страшные зарева сёл —

И постиг всё, что было в начале,
И в душе закрепил каждый миг
Всей твоей вековечной печали,
Всех серебряных песен твоих.

Да, мне надо на краешке круга
Заглянуть в синь заплаканных глаз,
Чтоб постигнуть — какая же вьюга
На тебя налетает сейчас.

И какие же полчища вышли
На твои вековые пути...
За несветлые мысли — простишь ли?
Если сможешь, пойми и прости.

Век родной, враждебный...

Век мой, зверь мой...

О. Мандельштам

Не найти среди владык
Милосердных, добронравных.
Мглистый ветер грозен, дик,
С ними шепчется на равных.

Ветер мора и войны,
Ветер дыбы и проклятий,
Виноватых без вины
И распятых правды ради.

Помню сгибших, помню всех...
Что же делаешь ты с нами,
С дочерьми и сыновьями,
Век родной, враждебный век?!

И куда бежать, куда?
Скрыться где-нибудь — не вздумай.
Сил в избытке? Не беда!
Погибай себе без шума...

Спит в короне голова,
Зубы скалятся от скуки —
И вращают жернова
Обездоленные руки.

* * *

Сосны. Ветер. Мартовский свет.
Колокольные звоны в кронах.
Сколько лет, одиноких лет
Я бродил по земле влюблённых!

В завихренях февральской тьмы,
В круговертях лесов и улиц
Разминулись в пространстве мы
И во времени разминулись.

Но ложится на сердце март —
И срастаются судьбы наши...
Пусть от горечи всех утрат
Мы не можем дышать иначе! —

Что с того? Пережив невзгодь,
Ветви снова в лазурь взлетают
И, встречая родной восход,
Так объятья свои сплетают!

Так сплетают, как будто сил
Преизбыток, и всё большей им...
И стоим мы среди могил,
И разнять своих рук не смеем.

Сосны ждут

Те же сосны — может, чуть пониже —
В юности шумели надо мной,
Те же ветры шарили по крыше,
Те же звёзды лили свет родной...

Что же изменилось? Отчего же
Я вот так потерянно стою?
И мерцают мартовские лужи,
И дрожат у мира на краю.

На земле, печальной и прекрасной,
Сколько остаётся мне дорог?
Неужели в горести напрасной
Я теперь до срока изнемог?

И не будет ни любви, ни смеха,
Ни стихов, ни ярости, ни слёз?
И грохочет сумрачное эхо,
И слетают годы под откос.

Погоди, ещё воспряну! Видишь —
Это сосны выстроились в ряд.
Все они, из дому только выйдешь,
О Дороге вдруг заговорят.

Берега Воронежские

Сергей Чернов

Публиковался в приложении к журналу «Мир Фантастики», в интернет-альманахе «Осень» (издательство «Олма Медиа Групп»), в израильском журнале «Млечный путь»; рассказы приняты к публикации в журнале «Проталина» (Екатеринбург). Рассказ «Музыканты» вошёл в десятку лучших на Чеховском конкурсе малой прозы Тверского союза литераторов.

МУЗЫКАНТЫ

Рассказ

Появилась откуда-то новая мода — лечиться. Бог его знает, откуда. Должно быть, из Англии, потому что как что-то новое появится, так точно с их островов. Или из Парижа, потому как «мода» — слово французское. Тут не так уж и важно. В общем, появилась, поселилась и, как говорится, укрепились. А раз в моду вошло лечиться, так уж и болезни откуда-то стали приходить. Раньше ведь как было: жили себе жили и ни о чём таком не ведали, и думать не пытались. Ну, до тех, конечно, пор, пока не помрёт кто, тогда уж и дознавались: отчего да как? Да и то не везде: помер и помер — Земля ему пухом! Потому ведь и люди были крепкие, что ничего о болезнях не знали. А тут эта мода! И повылазили всякие хвори, как жабы из болота: недуги, мороки, немощи, хилины. Названия — одно другого страшнее, всё нерусские, ломаные, колючие. Как скажет тебе лекарь на ухо, так не удержишься, весь вспотеешь, и дрожь крупная. Вот тут-то и оно. И как-то стало жить беспокойно, страшно даже. А так как появились болезни, так и те стали объявляться, кто эти болезни лечить обязан. Тут уж откуда ни возмись, как грибы после дождя, стали люди эти появляться: знающие и незнающие, шарлатаны, горлопаны, ну, и порядочных тоже немало. Вот уж их, как иголок на ёлке: врачи наши и иностранные (кто кого злее?), лекари, аптекари, колдуны, гадалки, знахари и травники, костоправы и волхвы, волшебники и чародеи, и даже коновалы. И все лечат. И каждый своим лечит да приговаривает, что, дескать, одно только их средство и поможет. Одни — таблетками и мазями. Другие — припарками и настояками. Лечат травами и грязями, заговорами и словом Божьим, сырой землёй и белой глиной... Теперь уж каждому известно, и всё это никакая не новость. Кто хоть сам-то ни разу не лечился?..

А то, что музыкой лечат, — вот это ново. Вот это, скажу я вам, ново и необычно. И чья вина, что здесь об этом не знают? А я говорю, что это находка. Вот в чём есть наше спасенье!

Стояла под Орлом деревенька Воробьиное. Большая деревенька — дворов в ней было под сто. Люди жили, как и везде живут мужики и бабы с детьми малыми: поля пахали, с коров молоко цедили, подати платили, женились, дрались, мирились, ну, и всё в том же духе.

Да вот одним прекрасным летним днём появились музыканты.

День-то стоял и вправду знатный. Солнце горело, как ангельский нимб. По небу ярко-синему лёгкие облака плыли, совсем как кораблики по бескрайнему морю. С рыжих полей дул знойный ветер, точно горела за дворами неистовым жёлтым пламенем земля. Будто огонь стелился низко, стараясь заползти ужом в калитки. Воздух был горяч и сух. Били в колокола, отмечая великий праздник Святой Троицы. И не было жизни в полях, так как на праздник руки отдыхают и спины распрямляются. Жаль одно, что грибов в году нынешнем будет мало, ведь говорит пословица: «На Троицкой дождь, много грибов». А какой тут дождь — вон жара какая, и пыль столбом.

И вот появились они, как из пыльной дороги выросшие, идут неизвестно откуда, неизвестно куда. И одежды на них точно к празднику сшитые, красные, как вишнёвый сок. Поглядишь на них, и поневоле стыдно станет за свою-то рубаху, а ведь и деньги есть, и рубаха не то чтоб рвань какая, а всё равно стыдно. Посмотришь так на них, да и махнёшь рукой с досадой: «Нет, братцы, чтоб такую одежку носить, нужно вон какие плечи иметь и лицо вон как у них, а не мою чумазую оглоблю».

Шли они, гордо вздёрнув головы, грудь вперёд, а в руках — у кого труба, у кого диски медные или трещотки деревянные. В первую очередь дети вокруг вились, обступили точь-в-точь охрана, что в острог ведёт. Шутки пускали, языки показывали, пальцами тыкали, норо-вили за штанину дёрнуть, а кое-кто, кто посмелее, камнем зарядил для страха, чтоб наших знали. А им хоть бы хны, шагают себе точно по мощёной дороге. Тут уж не только дети, да и мужики с бабами на улицу высыпали. Видное ли диво: кто такие, чего им надо? Неужто крестный ход, или, не дай Бог, война какая, чтоб ей пусто было? Обступили и идут рядом, пересуды промеж себя ведут, а спросить, окликнуть — точно голос из груди вынули. Как же, думают, подступишься к ним, вон какие важные, умные, стало быть, не то что ты — моль в голове; а вдруг он тебе ответ даст, да по-свойски, по-умному, а ты и стой, башку опустив. Кому ж перед соседями дураком прослыть хочется? А они всё идут, по сторонам не смотрят, точно брезгуют: много чести на вас, оборванцев, зрение портить.

Дошли до площади. Тут идущий впереди рукой махнул. Остановились. Народ вздрогнул, точно всех их разом палкой ударили. Смотрели на пришельцев с тревогой, будто не зная, чего и ожидать. Тот, кто рукой махнул, влез на бочку. Стоит на бочке и сам как бочка — дородный с животом объёмным, лицом бритым, красным и гладким, как щёткой отдраенным. Оглядел он всех грустным взглядом и рот раскрыл:

— Ну, здравствуйте, божьи люди, — говорит, и голос у него глухой, но громкий, как эхо в колокольне. — С праздником вас великим, Бог вам в помощь. Вы хлеба растите, детей рожаете, а меж тем настали уже тёмные несладкие времена, и крыло ворона чёрного раскрылось над нашими славными землями. И много новых хворей бродить вздумало по русской земле. Сушь земная жжёт посева. Не ровен час, свершится сказанное в священном пророчестве: «Пошёл первый Ангел и вылил чашу свою на землю: и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях...» Одна болезнь страшней другой. Одна кровь сгущает, другая кость иссушает; одна зрение лишает, другая змей в живот напускает... А мы ходим по деревням и сёлам, избавляем людей от напасти. Музыку свою им играем, чтоб болезнь самую страшную, Королеву Всех Болезней, изгнать прочь. Ведь музыка — то ан-гельский язык, и, заслышав её, та страшная болезнь, по сравнению с коей все прежние моры курам на смех, бежит вон и хвостом змеиным потрясает. А уж эта болезнь в гроб любого вгонит...

Он замолчал и снова огляделся по сторонам, приглаживая рукой рыжую копну вздыбившихся на голове волос. Вокруг все молчали. Ох, уж как было им не по себе оттого, что в этот светлый день им говорили о таких вещах.

— А что за болезнь-то? — выкрикнул кто-то, а кто неизвестно, будто сразу же под землю провалился.

— Ну, братцы, болезнь эта страшнее смерти. Она в груди сердце клещами давит, едким дымом глаза жжёт, змеиным языком мозг лижет и в самого человека точно бес вселяется, и так и ест изнутри, так и ест. И название у той болезни имеется и названье это страшное, с того языка переведённое, на котором черти в аду песни поют. И названье это... Крак-хабракхаммурра!

Толпа вздрогнула, разом охнула. И сразу страх такой по ней пробежался, точно адским ветром дунуло. Ничего в жизни своей страшнее этого слова они не слышали. Дети, что вот недавно камнями кидались, захныкали и к материнским юбкам прижались. Закрестились все разом, точно живого чёрта им показали.

Нет, подумалось им, дело-то серьёзное, таким словом насморк-то не назовут! И если уж кто и сомневался в чём, то теперь сомнения эти пропали. Кое-кто ведь так думал: «Ну, идёт болезнь, а дойдёт ли? Может, устанет и назад повернёт». Или: «А Бог его знает, что за болезнь? Может, от неё только бабы мрут, так это не так уж и боязно». Но тут все мысли — вон. И слово это нехорошее, невыговариваемое, стало быть, точно у чёрта в башке рождённое, так в головах у всех и застряло.

— Мы — музыканты богобоязненные, — заверил человек на бочке, заметив страх на людских лицах. — По заветам Иисусовым живём. Денег за свой труд не просим. Но в годы последние, испытывая лишения и тягости, преодолевая сопротивление бесовское, инструменты наши поизносились знатно. Так что Богу одному известно, сколько продержатся они без доброго ремонта. А кто же поможет нам ремонт чинить без денег-то, а? И поэтому, братья, не для личной прихоти,

а для дела святого нижайше просим вас пожертвовать нам всего по одной монете со двора. Не для личной прихоти, а для дела Божьего, взамен стараний наших в борьбе с Великим Гадом, с Болезнью-всея-Болезний.

Все вновь стали креститься, но кто-то крикнул:

— А поможет ли?

— Да как не поможет? Мы ведь всем сердцем... всей душой... Да раз уж так, раз уж нам не верите, то хоть земляку своему поверьте, соседу своему из Куницына села.

Говорящий махнул рукой. Красные рубахи расступились, пропустив вперёд коренастую стариковскую фигуру — Бог знает кто такой: Куницыно село — оно вон ведь где, да и разве всех упомнишь.

— Правда, свят крест, правда, — старик отпуская поклоны, длинная борода при этом касалась земли. — Свят крест! Истина великая!

— Ладно! — Дюжий мужик подступил к бочке. — Вот твоя монета. Бей в свои барабаны, играй в свою музыку. Пусть эта мерзость спину покажет. Негоже мне молодому и здоровому помереть во цвете лет!



Берега Воронежские

Иван Щёлоков

Щёлоков Иван Александрович родился в 1956 году в с. Красный Лог Каширского района Воронежской области. Закончил филологический факультет Воронежского государственного университета. Главный редактор литературно-художественного журнала «Подъём». Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры РФ, лауреат международных и российских литературных премий. Автор десяти книг. Печатался в «Литературной газете», альманахах: «День Поэзии России», журналах «Наш современник», «Москва», «Молодая гвардия», «Роман-журнал. XXI век», «Всероссийский соборъ» (С.-Петербург), «Второй Петербург», «Сельская новь», «Воин России», «Пограничник», «День и ночь» (Красноярск), «Север» (Петрозаводск), «Огни Кузбасса» (Кемерово), «Дон» (Ростов), «Союз писателей» (Новокузнецк), «Русский литературный журнал в Атланте» (США), «Новая литературная Немига» (Беларусь)

* * *

Не вышло родиться святым, непорочным,
А вышло родиться обычным, урочным:
Ветлой, чернозёмом, ромашкой, ручьём,
Усевшим по брюхо в грязи тягачом...

С меня не напишут монахи иконы,
Хоры не исполнят на Пасху каноны.
Зато без меня не взмерцает свеча
И в небе звезда Вифлеема — ничья.

Мне страшно представить, что все будут святы
И вслед за Христом изуверски распяты.
Кому будут петь воробьи у стрехи?
Кому искупать перед Богом грехи?

Каштаны

Плюхнись, сентябрьская спелость, каштанами,
Выкатись с гиканьем на тротуар,
Будто чумазая и голоштанная
Сотня малюсеньких Килиманджар.

Все мы корнями оттуда, из Африки...
Все мы каштаны — сдери кожуру,
И обнаружится без географии
Близость по духу и крой по нутру.

Знает нас осень, мудрейшая тётенька:
С ветки стряхнёт, не посмотрит на сан —
И кто родился плюгавым и кротеньким,
И кто в дородный сложился каштан.

Радуюсь чуду наивно и искренне.
Дни урожайные — срок, а не страх.
Лучше ли разве каштаны парижские
Тех, что росли на донских берегах?

В тайном родстве, как язычник для суженой,
На обереги сую их в карман...
Зрелость сентябрьская — правда досужая:
Падает, падает спелый каштан.

Февральский пролог

Провинциальной нет сюжета:
Февраль, на улице плюс пять...
Зима по жанру — оперетта,
Где главным автором планета
В который раз решила стать.

Конфликт пролога с эпилогом,
Зажатый замыслом в тиски,
Диктует выбор формы строгой:
Песок — на скользкие дороги,
Горстями соль — под каблук...

Где грань меж истиной и фальшью?
В прогнозах правды часто нет.
До гор Уральских от Ла-Манша
Погода в авторском демарше
Творит невиданный сюжет.

Весь согласуясь с протоколом
Киотским, рвёт с лица вуаль
Дипломатическим проколом
И климатическим приколом
Ручьями фыркнувший февраль.

Сюжет на тему потепленья
Понятней поколению next:
В горячий час совокупленья
Не придаёт оно значенья,
Где климат с климаксом, где sex.

Челябинский метеорит

То не звёздные камни в хрустальных слоях атмосферы
Рано утром взорвали морозную сонную звонь,
То Господь указующий перст распростёр над Химерой
И чуть-чуть зачерпнул человеческой грязи в ладонь.

Или вам — не знаменье? Не знак, упреждающий свыше?
Небо плачет огнём: рассучилась волшебная нить.
Из неё человек был космической бездною вышит,
Возомнил бедолага: без неба способен прожить.

Содрогнулись от взрыва седые громады Урала,
Вашингтон и Москва, и зарылся в камыш папуас...
Песнь челябинских стёкол, как музыка Баха, звучала,
Возвращая сердцам первородную вечную связь.

Слово

Это слово меня выводило с обочин на твердь столбовую,
По сердцам опускалось в глубины племён и времён.
Возносило меня, как волшебное облако, в выси
Нежных чувств, не остывших от сладкой июльской жары.

Это слово меня убивало стрелою, пистолем, ракетой,
Завтра, может, убьёт джентльменским набором IT
Где-нибудь на Тверской, у Останкино, у Эрмитажа,
На газопроводе с кроваво-красивым созвучьем: поток...

Это слово зачем-то рождалось, молилось, мужало
И зачем-то под свод собирало сородичей с разных краёв:
Сердцем к сердцу...
Плечом к плечу...
Рукой к руке...
Глазами к глазам...
И от первого крика до последнего вздоха — устами к устам...

Мы росли, мы мужали, мы мир наполняли гармонией братства,
Мы надежду в любовь облекали; как в Господа, верили в слово.
А теперь наше слово исторгнуто, сплюнуто заживо с губ.
Бессловесными дикарями проносимся мимо...
Куда?



Поэзия

Редакция журнала поздравляет Анатолия Алексеевича Лунина, родившегося поэтом, сохраняющего юношеский задор, молодую душу, неиссякаемый творческий потенциал, талантом своим вносящего бесценный вклад в поэзию России с 85-летием!

Анатолий Лунин



Анатолий Алексеевич Лунин родился в 1930 году на Тамбовщине. С 1946 года живёт в Калининградской области. Сюда же вернулся после окончания Белорусского государственного университета и Ленинградской высшей партийной школы. Работал в прессе, в том числе заместителем редактора «Калининградской правды». Член Союза писателей России. Лауреат международных литературных конкурсов «Литературная Вена» (Австрия), «Русский-STIL» (Германия), ряда всероссийских и местных конкурсов. Автор книг поэзии, прозы и публицистики, в том числе поэтических сборников «Всего дорожке», «Судьбы моей архипелаг», книг о Пушкине «И доброе, и мудрое перо», «Ему столетья не преграда», романа «По вере нашей».

Из цикла

«Похвальное слово слову»

Мера

Чем ни мерь, —
Хоть радостью, хоть бедами,
Злое бездорожье и проспект, —
Дни бывают чёрными и белыми,
А у жизни только полный спектр.

Чем ни мерь, —
Годами иль минутами,
Ёмкость переполненных анкет, —
Не отнять у нас с тобой минувшего.
Как отнимешь то, чего уж нет?

На бобах ли,
На кофейной гуще ли
Пусть гадают, пусть пророчат зло,
Не отнять у нас с тобой грядущего.
Как отнимешь то, что не пришло?

Чтобы нас с тобою не осилили
Хитрые, лихие чужаки,
Дом родимый,
Зори негасимые,

Поле золотое,
Небо синее, —
Всё, что кличут Русью,
Береги!

Клятва

Вот говорят:
Любовь несёт
Загадку, тайну вечно.
Мой взгляд тебе поведал всё.
А что скрывать в той речи?

В твоих глазах речистый свет, —
Я знаю, —
Лгать не может.
И я читаю твой ответ
Сознанием, сердцем, кожей.

А может быть, ты сквозь меня
Увидела другого?
Не поглядишь, не изменя
Не сказанному слову.

Нет, ни за что не оглянусь!
К чему чужие двери?
Ведь так я наш с тобой союз
Унижу недоверьем.

Хоть и не сказано оно,
Всегда то слово с нами.
Ему по жизни суждено
Быть клятвой, данной в храме.

Грёзы

Прилетает детства грёза,
В оборот берёт, и вот —
Та же белая берёза,
На берёзе чёрный кот.

Душу греющая грёза!
Остаётся что ни год
Стройной белая берёза,
Не сидит чёрный кот.

Я лелею эту грёзу,
Что затейливо проста.
Сам гибую за берёзу
И сижу за кота.

Баллада о пятигорском камне

Не заслонили, не оборонили...
С небес потоки, а из глаз капель...
Там, в Пятигорске, и похоронили
Под скромным камнем с надписью
«Мишель».

Арсеньевскому скорбному стремлению
Не враз свершиться было суждено.
В Тарханы —
Лишь с царёва позволения.
Вот, наконец, получено оно.

Зачем, Елизавета Алексевна,
Надрывный стон,
Заламыванье рук?
Ведь к вам сюда, в наследную деревню,
Вернулся он, неугомонный внук.

На нём, что правда, странные обновы.
Где эпoletы, выправка и статья?
Мундир не тот, привычный, а свинцовый.
И бабушку не кинулся обнять.

Оплаканный друзьями и родными,
Охаянный озлобленным царём,
Он в Вечности останется отныне
Так и не распустившимся цветком.

Исчезла пятигорская могила.
А что надгробный камень именной?
Его артель умельцев уложила
Под строящейся храмовой стеной.

Но, видимо, надгробью неуютно —
И теснота гнетущая, и тьма.
Не камень беспокоится,
А будто
Тут мается поэзия сама.

И зашатало храмину святую,
Хоть кладка и надёжна, и строга.
Похоже, что поэзия бунтует
И ищет бури каждая строка.

Арсеньевой всё грезится доселе
И в сердце отзывается стократ:
Не в гроб свинцовый
Спрятали Мишеля,
А в каторжный сибирский каземат.

А вскоре неожиданно и ново
Привиделось,
Как в ярую метель
Сибирские свинцовые оковы
Разбил тот камень с надписью
«Мишель».

...Далёких лет прокручивая ленту,
Выводит обоснованно рука:
Седой гранит,
И тот подвержен тлену,
Поэзия
Нетленна
На века.

Кому служить?

Мне брошен ворох злобных слов,
Как в цепь сомкнувшиеся звенья.
Я сам себя казнить готов,
Будь повесомей обвиненья.

Слова... Слова...
Пустая брань!

Вы числите моей виною
Давно означенную грань,
Что не переступалась мною.

Вы переменчивым ветрам
Послушны и гордитесь этим.
Сегодня тут, а завтра там,
Опасных игр шальные дети.

Себя судите, господа!
Вам лишь бы в ногу, лишь бы в ногу
Свой марш вышагивать всегда,
И всё равно, к какому богу.

А я с далёких юных лет
Определил свой чёткий выбор.
И мой ответ —
Крутое «Нет!»
Очередным политизгибам.

Я и у жизни на краю —
И никому того не застить! —
Простую истину храню:
Служить народу, а не власти.

Споём?

Опять всё те же
И опять всё то же,
Вестимо, на заокеанский лад.
Не краснокожи и не чернокожи,
А чёрт-те что, не наше! — голосят.

Срамная, полуголая эстрада —
Кому-то блажь, а нам с тобою боль.
В защиту отчей песенной отрады —
Прошу! — словечко крепкое замолвь.

Мы видели, мы знали, мы смекали,
Как много
Русь не любящих кликуш.
Им хочется гитарными колками
Всё русское изъять из наших душ.

Им застит небо забугорный идол.
И, может быть, ни разу с детских пор
Никто из них не слышал и не видел
Народный хор,
Нарядный русский хор.

Мы разучились петь и хороводить,
Стыдимся коренных, родных речей.
Звучит в деревне, в поле-огороде
Напев не предков, а незнамо чей.

А где же наша славная гармошка?
Где балалайки звонкая струна?
Неужто дома —
Раствори окошко! —
Чужая, иноземная страна?

Когда поёт Россия не по-русски,
Я чую неуёмную тоску.
Мне грустно?
Нет, мне гнусно, а не грустно,
Как будто сдали врагу Москву...

И состоял, и состою

Закончусь там, где начинался,
На чём стоял, на том стою.
Не выходил,
Не возвращался,
И состоял,
И состою.

А ты,
Везучий и хапучий,
Твердишь:
Альтернативы нет!
Но в тайнике,
На всякий случай,
Хранишь давнишний партбилет.

Открою том

Люблю читать
Восточных мудрецов.
Их краткие и образные мысли —
Послания
Без конкретных адресов
И, стало быть,
Для каждого письмишки.

Ну, вроде ни о чём
И обо всём:
Об опыте,
Накопленном годами,
О тяготах,
Что стонем, а несём,
О радостях,
Что редко выпадают.

— Что наша жизнь? —
Открыл я веский том,
Словесные
Затейливые кудри.

— Всё и ничто, —
В ответ мне бросил тот
Предельно просто,
Философски мудро. —

Жизнь —
И вопрос коварный, и ответ,
Звериный рык
И соловейки песни.
Жизнь — это молния:
Сверкнёт — и нет,
Подлунный мир,
В котором миру тесно.

Жизнь — это спор.
В котором каждый прав
И столько правых,
Сколько и неправых.
Все прав хотят.
Всем не хватает прав,

А их с избытком,
Если мыслить здраво.

А рядом с правом
Водрузить бы долг,
Но о долгах
Не слышно перепалки..
В костёр вражды
Мы не жалеем дров,
А дружба —
Не объятия, а свалка.

А может, в этом
Суть и состоит?
Добро и зло
Легко ль уравновесить,
Слить воедино
Города и веси?
Ведь это значит —
Жизнь остановить.



Проза

Наталья Романова

Наталья Романова (Наталья Владимировна Сегель) родилась в селе Леуши Кондинского района Тюменской области, училась в Литературном институте им. Горького (семинар И.И. Ростовцевой). Прозаик. Член Союза писателей России. Награждена Золотой медалью Пушкина и Золотой медалью Есенина Академии русской словесности им. Державина. Действительный член Академии русской словесности им. Державина, лауреат Международной литературной премии «Русский позитив», впервые учреждённой Российским фондом мира (2-е место в номинации «Проза», лауреат Всероссийской премии СМИ «Патриот России».

Автор романа «Гефсиманский сад» (о преподобномученице великой княгине Елисавете и алапаевских мучениках), сборников христианских рассказов «В каждой ромашке Бог», детских рассказов «Сиреневая собачка», цикла рассказов «Мы — сибиряки». Живёт в Москве.

ШЛОССБЕРГ

Повесть

— Хорошее место... — молодой человек повернулся к старику, сидящему на противоположном конце скамьи. Тот понимающе кивнул. — Так сидел бы себе и сидел, но... — юноша, тяжело выдохнув, встал с насиженного места и быстро зашагал в сторону Ратуши.

Старик тоже выдохнул, но с облегчением. Он сдвинулся на середину, сел нога на ногу и раскинул худые жилистые руки по спинке скамьи, состоявшей из одной деревянной доски. В утреннее время в сквере было не так многолюдно. Лавочки, за редким исключением, пустовали. Фонтан уже работал, но как-то нехотя, лениво выбрасывая жалкие струи воды.

Старик не первый год изо дня в день приходил сюда, на Am Eisernen Tor — площадь у Железных Ворот. Никаких железных ворот здесь давно не существовало, но название сохранилось.

По обыкновению, удобно расположившись, он сначала внимательно прочитывал газету, а потом, когда округа оживала, наблюдал за происходящим.

Его родной Грац, столица Штирии, привлекал туристов. А как же! По количеству достопримечательностей Грацу нет равных в Австрии, ну, если только в самой Вене... К тому же город издавна был студенческим. В общем, жизнь здесь бурлила, в том числе и тут, в уютном сквере неподалёку от Главной площади.

Сложив вчетверо «Kronen Zeitung», старик стал с неприязнью думать об авторе одной из только что прочитанных статей, в которой тот пылко призывал как можно больше внимания уделять несчастным старикам, которые, видите ли, страдают от того, что им не с кем поговорить и даже поспорить. Почему этот болван считает одиночество несчастьем? Вот он в свои девяносто очень рад, что никто не лезет к нему с глупой болтовнёй и спорами. Пролетевший рядом трамвай «семерка» отвлек его от высоких дум об одиночестве, про которое так хорошо писал Рильке. Старику вспомнилось, как раньше трамваи грохотали. И, собственно говоря, ему даже не хватает сейчас того грохота. Новые трамваи, знаете ли, бесшумны. А бесшумно, как известно, действуют самые коварные убийцы.

День набирал обороты. Солнце только-только начинало припекать, а позолоченная статуя Девы Марии, стоявшая на высокой колонне спиной к старику, уже вовсю сияла, притягивая взгляды. Старик смотрел на статую, пока не заслезились глаза. Он достал из кармана аккуратно выглаженный синий квадрат платка и вытер набежавшие слёзы.

— Не помешаю? — услышал он женский голос.

Старик взглянул на просительницу. Перед ним стояла в лёгком коричневом плаще женщина примерно его лет.

— Нет, не помешаете, — приветливо ответил «хозяин», скрывая лёгкую досаду.

Незнакомка присела на край скамьи. Старик исподволь, с любопытством, посмотрел на неё. Её плащ в разгар лета нисколько не смутил старика. Он и сам частенько мёрз в солнечные дни.

— Сегодня дождь обещали, — незнакомка словно услышала его мысли о плаще.

— Разве?

— Причём в первой половине дня.

— Что-то я про это не знаю, — поскольку завязывалась беседа, старик теперь мог открыто смотреть на неё. — Может, вы слушали прогноз на завтра?

— Нет. Именно на сегодня, — женщина поджала ярко накрашенные губы так, что их стало почти не видно.

— Ну, хорошо, сегодня, сегодня, — рассмеялся старик, — только губы верните на место.

— Что?

— Ничего, простите, — старик перестал смеяться, хотя это далось ему с трудом.

— Пожалуй, мне пора, — незнакомка, опершись рукой на перекладину для спины, попыталась встать с места.

— Я не хотел вас обидеть! — в голосе старика сквозила тревога.

— Нет, нет, что вы. Вы ничем не обидели меня. Мне действительно пора. До свидания!

— До свидания...

Позволить такие вольности! Болван! — корил он себя, глядя на медленно уходящую незнакомку.

На следующее утро, к удивлению старика, его, можно сказать, личная скамья была занята. Но удивление вызвал не тот факт, что на ней уже кто-то сидел, такое случалось и раньше, а то, что на скамейке, робко так, на самом краешке, сидела его вчерашняя собеседница. Захотелось подойти и дерзко пошутить: «Не меня ли ты ждёшь, девица?» Но он, разумеется, сдержался.

— Позвольте присесть? — спросил «законный владелец» из вежливости.

— Да, да, — залепетала старушка. — Здравствуйте... Вчера не было дождя, вы были правы, я перепутала прогнозы.

— Вы специально пришли мне сказать об этом?

— Нет. Откуда мне знать, что вы будете здесь?

— Я в это время всегда здесь.

— Каждый день?

— Да, каждый, — с гордостью ответил старик. — За редким исключением. Уже пятнадцать лет.

Пожилая фрау округлила глаза, получились маленькие центики, поскольку и так-то глаза у неё были небольшие. Старик так и прыснул, успев, однако, подставить ладошку ко рту. Получилось, будто бы он чихнул. Отчего-то выражения лица этой особы сместили его.

Старик сел и, покрутив в руках газету, отложил её.

— «Krone»?

Старик кивнул. Фрау хмыкнула.

— Придерживаетесь левых взглядов в экономической сфере? — она пытливо взглянула на собеседника. Но тот лишь усмехнулся.

— Где ваш плащ? — спросил он. — Сегодня ведь дождь обещали.

— А! — фрау махнула рукой. И это получилось у неё так легко и беззаботно, что старик снова невольно улыбнулся.

— А вы задорная! — сказал он и, чуть помедлив, протянул ей сухую ладонь. — Генрих.

— Джульетта, — пожилая фрау на удивление старика ответила весьма крепким рукопожатием.

— Красивейшее имя! — воскликнул Генрих.

Соседка по скамье задумчиво посмотрела на проходящую мимо женщину с ребёнком в коляске.

— Знаете, а мне моё имя никогда не нравилось.

— Правда? И мне моё!

— Вот совпадение!

— А вам-то чего ваше не нравится? Джульетта — очень красивое имя! Шекспировское.

— Латинское. А вам чего не нравится ваше?

— Ну, согласитесь, дурацкое имя Доминик.

— Доминик? А при чём тут Доминик?

— Ну... Ну... — старик растерялся. — Вообще-то моё имя Доминик... Но я же говорю: мне оно не нравится!

— Поэтому вы Генрих? — Джульетта исподлобья взглянула на Доминика-Генриха. Не жулик ли этот тип? Старику даже показалась, будто она отодвинулась как можно дальше от своего собеседника, хотя и так сидела почти на самом краю. — По-моему, Доминик — прекрасное мужское имя. Чем оно вам так не угодило? Стыдно должно быть!

И старику стало стыдно. Запылали щёки, как в детстве, когда его отчитывали за провинности.

— Давайте по-новой знакомиться, — неожиданно предложил он и тотчас протянул руку. — Итак, стало быть, я не Генрих. Я Доминик.

— На сей раз без вранья?

— Без какого-либо.

Джульетта выждала небольшую паузу. Тем временем рука Доминика несколько секунд висела в воздухе над скамейкой, пока ей навстречу не выплыла женская ладонь.

— Тереза, — негромко произнесла недавняя Джульетта.

А дождя так и не было ни через день, ни через неделю. Стоял необычайно жаркий июнь, поэтому Доминик решил нарушить свой неизменный график и приходить раньше. Хотя чего кривить душой, его очень даже устраивало возвращаться домой после прогулки перед самым обедом, да и солнце в прошлые годы палило не меньше. Но... Тереза, как он выяснил, не жаловала солнечные ванны, да и к двенадцати ей надо было на процедуры в поликлинику. Поэтому, приходя в начале двенадцатого, она минут через пятнадцать срывалась к врачам. Доминику этих пятнадцати минут совершенно не хватало для общения со своей новой знакомой. А она была ему интересна. Вот потому-то он и предложил Терезе приходить в сквер на час раньше.

— Но... — Тереза не знала, что ответить. — А зачем?

— Зачем, зачем... Затем! — вспыхнул он, но тотчас взял себя в руки. — Я давно не встречал такого увлекательного собеседника. Умного, эрудированного.

— Когда это вы всё успели во мне разглядеть? Мы с вами виделись несколько раз, да и то минут по пять.

— Поэтому и хотелось бы узнать о вас побольше. Вы ведь недавно поселились в Граце?

— Да, недавно переехала в Грац к внуку. Из Линца.

— Верхняя Австрия. А ваш муж?

— О, с ним я давно в разводе. Даже не знаю, жив ли он. А ваша супруга?

— Вдовец.

— Дети?

— Нет. И не было. Пожалуй, достаточно биографических сведений. Как вам наш Грац?

На следующее утро Тереза пришла, как и договаривались, пораньше. Доминик уже поджидал её на скамейке.

— А! Пришли-таки! — улыбался он.

— Нас так мало осталось, стариков, — вздохнула Тереза, — а молодым мы не интересны, да и нам не все молодые интересны...

— Старики! — хмыкнул Доминик. — Во-первых, в Европе каждый третий — старик. Во-вторых, я себя стариком не чувствую.

— Ого? Сколько же вам лет, юноша?

— Скоро девяносто.

— Весна жизни!

— А вам сколько?

— Разве это не бестактно — спрашивать женщину?

— Ах, оставьте. Это в пятьдесят, в шестьдесят бестактно, а в наши годы...

— Вы думаете, мне тоже под девяносто?

— Полагаю, да. Но выглядите вы изумительно. Понятие «старость» к вам не относится ни коим образом. — Он разглядывал её бледно-зелёное платье с белым воротничком. — Вы такая красавица! И вкус ваш сдержан, безупречен.

— Вкус молчит, кричит безвкусица, — Тереза довольная своей находчивостью, присела на скамью. — Вы правы, мне тоже далеко за восемьдесят.

— Как ваши малыши? — Доминику вновь хотелось услышать какую-нибудь историю о правнучках Терезы. Вчера, рассказывая о них, она стала необычайно весёлой, смешливой и какой-то очень детской.

— Ох, малыши, малыши, — захохотала Тереза. — Вот так хочу вам что-то рассказать, а не могу.

— Почему же?

— Не совсем прилично...

— Тем более, рассказывайте немедленно!

— Хорошо, — Тереза прищурилась, а потом снова зашлась в хохоте.

— Да рассказывайте! Уже смешно!

— Лукас вчера такое выдал!

— Лукас, который старший? Которому четыре?

— Да, совершенно верно.

— И что он?

— Мой внук, отец Лукаса, на стажировке в Америке. Так вот. Вчера Лукас и говорит своей матери, жене внука: «У меня есть братик, пора бы сестричку». А невестка ему в ответ: «Без папы никак. Папу подождать надо». «Зачем? — удивился Лукас. — Папа приедет, а мы ему: «Сюрприз!»

Доминик смеялся от души, даже газету выронил:

— «Сюрприз!» Молодец какой!

Вдоволь насмеявшись, старик надолго замолчал.

— Простите, — Тереза с печалью в глазах посмотрела на Доминика. — Зря я вам про детей рассказываю... Не стоит больше мне этого делать.

Доминик продолжал молчать. Тереза огорчённо поглядывала то на него, то на золотую Богородицу. Наконец, старик заговорил:

— У меня жена не могла иметь детей, простыла в войну, болела сильно. — Он смотрел в сторону соседней скамейки, на которой сидели родители с двумя маленькими детьми. Младшего кормили из бутылочки с соской и он, причмокивая, лежал смирно, в то время как старшему ни за что не хотелось оставаться на месте. Его влекли неведомые дали, поэтому он всё время пытался вырваться из рук отца и сигануть по дорожке, куда глаза глядят. Родитель держал его крепко, потому малыш и куксился.

— Жаль. Но на всё Божья воля, — Тереза попыталась приободрить Доминика. — Значит, так должно было быть. Вы же знаете, ни один волос...

Старик кивнул.

— Тереза, этого я никому никогда не говорил, но с вами мне хочется быть откровенным, — Доминик снова посмотрел на семью на соседней лавочке. — Я жену свою очень любил, никогда не изменял ей. Но когда её не стало, мне всё чаще стала приходить в голову мысль о том, что зря я не стал отцом...

— То есть?

— Ну, были женщины, сослуживицы и не только, которые намекали или явно говорили о том, чтобы...

— Чтобы вы стали отцом их детей?

— Да. Но я был верен жене! Хотя и хотелось детей, конечно. Эх, надо было бы... Даже не для того, чтобы приходили со мной сюсюкались в старости, для продолжения рода хотя бы.

— И что за жизнь бы вас ожидала? — Тереза вскинула голову. — Тогда надо было бы от жены уходить или врать ей постоянно. Или бы вы сказали ей о ребёнке на стороне?

— Нет. Наверное, нет.

— Вот видите...

Старики помолчали.

— А что, было много предложений? — Тереза лукаво взглянула на Доминика. Тот кивнул.

— Много? — переспросила она.

— Да.

Тереза откинулась на спинку, чуть отвернувшись от Доминика.

— Ага! Вы ревнуете! — улыбнулся старик.

— С чего вы взяли? С какой стати мне вас ревновать?

— Ревнуете, ревнуете! По вам видно.

— Не вижу смысла продолжать этот бессмысленный разговор, — и Тереза вновь поджала губы так, что они исчезли с её лица.

— Понимаете, — начал извиняющимся тоном Доминик, — время ведь было такое. Да что мне вам объяснять! Вы и сами всё помните, — он тоже откинулся на спинку скамьи и посмотрел в небо долгим взглядом. — Война, — старик резко наклонился вперед, — будь она неладна! Выкосила целый пласт народа и, в основном, мужиков. А сколько калек, да дурных пришло с фронта! От кого женщинам рожать-то было? Нет, не из-за похоти на меня бабы кидались.

— Прямо уж и кидались, — пробурчала Тереза, но Доминик не обратил внимания.

— Я был недурён, молод, — старик посмотрел на голые руки, усыпанные «старческой гречкой», — полон сил. Одним словом, завидный кавалер. Хотя и меня война потрепала изрядно. Но, как вы знаете, среди слепых и одноглазый — король, поэтому... чего греха таить, были многочисленные предложения, были.

— И даже женатому?

— Как раз-таки женатому. Я ведь с Магдаленой познакомился ещё до войны.

— Она австрийка?

— Да. Из Граца. Это я берлинец. В Берлине мы и познакомились, и поженились. Когда началась война, я ушёл на фронт, она осталась в Берлине. Телефонисткой работала. Ждала меня. А после войны мы переехали в её родной Грац.

— Не жалеете, что вы, немец, всю жизнь прожили в Австрии?

— А чего жалеть-то? — пожал плечами Доминик. — Ни родных, ни дома в Берлине не осталось. Всё погребло под бомбёжками. Да и нравится мне Грац, — старик посмотрел в одну сторону, потом в другую и остановил свой взгляд на колонне с золотой Богородицей. — Я счастлив, что именно здесь прожил свою жизнь. Да ещё и с замечательной женщиной.

— Я рада за вас, — искренне сказала Тереза. — Не каждому так повезёт со спутником.

— Да, да, Магда была очень хорошей. Я все годы нашей совместной жизни вспоминаю с благодарностью. Она была заботливой, обходительной. Ну, куда я от такой на сторону? Жили душа в душу. Спокойно, размеренно. Всё у нас было спланировано, всё продумано, всё по режиму. Никаких ссор, скандалов, потрясений. Соседи, друзья умилялись над нами. То есть всё у нас было идеально. А потом, а потом она ушла от меня, — Доминик неожиданно стукнул ладонью по скамейке.

— Как ушла? — не поняла Тереза. — Куда ушла?

— В землю, — старик сжал газету. — В лучший, так сказать, мир. Сволочь!

Тереза, часто моргая ресницами, с испугом смотрела на Доминика. Но потом вдруг как засмеялась. Старик с недоумением взглянул на хохочущую спутницу.

— Вы чего?

— А ведь и вправду сволочь! Ну, кто так делает? — смеялась Тереза. — Надо же! Взяла и померла. Ну, не сволочь ли?

Доминик молчал, опустив голову.

— Да, смерть ещё ни про кого не забыла, — отсмеявшись, сказала Тереза. — Однако забавный вы, Доминик!

Старик по-прежнему молчал. Пожилая фрау посмотрела на маленькие часики с коричневым циферблатом в тон её старческой, как и у Доминика, усыпанной «гречкой» руке.

— А вы любите шоколадный цвет, — сказал старик. — И плащ, и часы, и туфли коричневого цвета.

— Всё, мне пора на процедуры. — Тереза достала из сумочки бумажный платочек и промокнула им лоб, а затем оглянулась в поисках урны.

— Я вас провожу.

— Нет, нет! Спасибо.

— Вы всегда отказываетесь, чтобы я провожал вас. Почему?

— Так в наших встречах больше таинственности.

Тереза ушла, а Доминик ещё немного посидел в сквере, думая о детях и вспоминая рассказы Те-

резы о правнуках. Вспомнилась недавняя информация: большинство жителей Австрии — старики, а показатели австрийской рождаемости самые низкие в мире.

— О-хо-хо! — Доминик встал со скамьи и отправился восвояси.

На следующий день Тереза выглядела усталой. Появились мешки под глазами, их раньше не было. «Сколько она говорила ей лет? Восемьдесят восемь? На все девяносто выглядит» — Доминик озабоченно смотрел на Терезу.

— С вами всё в порядке? — он помог присесть ей на скамейку.

— Выгляжу так, будто месяц назад померла?

— Месяц не месяц, но неделю точно!

— Ну, знаете, — хотела насупиться старуха, но передумала. — Не беспокойтесь, со мной всё в порядке. Просто очень плохо спалось. Всю ночь кошмары снились.

— Война?

Доминик попал в точку.

— И мне она часто снится. Раньше — так почти каждую ночь. Теперь пореже. Но всё равно часто.

Возле фонтана резвились подростки, брызгая друг на друга водой.

— Вот и мы так, в брызгах войны постоянно, хоть она и кончилась давно, — задумчиво сказал Доминик.

— Иногда после таких снов я плачу, — Тереза, не отрываясь, смотрела на молодёжь.

Доминик положил свою ладонь на её и чуть сжал.

— Знаете, Тереза, я сражался под Сталинградом. Недавно побывал там, впервые с того времени. Было семьдесят лет с момента Сталинградской битвы. На Мамаевом кургане я не сдержался. Расплакался. Ужас войны как никогда стоял перед глазами. Нет более сильного врага, чем русские. Тереза, самый страшный кошмар в моей жизни — это Сталинград, — Доминик закрыл лицо руками. — О чём можно говорить, если пятьдесят восемь дней мы штурмовали один-единственный дом?! И всё напрасно... Так вот. Стою я на Мамаевом кургане, рыдаю. Идёт мимо русский. Весь в наградах. Увидел меня, остановился, пальцем тычет и что-то яростно так мне говорит. А потом махнул рукой и пошёл. Я попросил сопровождающего перевести. «Плачешь? — говорил русский. — Да ты радоваться должен, что я тебя не убил в сорок третьем! Радуйся!»

Доминик и Тереза одновременно посмотрели на золотую статую.

— Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь, — прошептала Тереза.

Они сидели молча до тех пор, пока к ним не подошла молодая пара туристов с вопросом, как пройти к самой старой в Граце аптеке, открытой аж в 1534 году.

— Кому как не нам задавать вопрос про аптеки, больницы, да кладбища? — проворчал старик.

— Они из туристических соображений, — заступилась за пару Тереза. — А по вам издалека видно, что вы знаток города.

Ветер пригнал к их ногам красочную обёртку, возможно, от мороженого. Доминик прижал её ботинком к земле, наклонился, поднял обёртку и бросил в урну. Это он проделал с нескрываемым раздражением.

— Всю жизнь мне изъедала нутро горечь поражения. Такая, знаете, не проходящая изжога, — Доминик дотронулся до живота. — Я постоянно чувствовал себя проигравшим. Лучше бы погибнуть, как мой смелый друг Генрих, думалось мне порой, чем всё время жить с чувством унижения.

Тереза слушала старого солдата вермахта, а перед глазами у неё всплывали картины тех невыносимых месяцев войны.

— Вы были в плену? — спросила она.

— Мы сдались в плен 2 февраля 1943. Девяносто тысяч немцев! А домой вернулись шесть тысяч. Вот я в их числе, — Доминик ударил себя по груди.

— Всего шесть тысяч... Какая бесчеловечность!

— Русские здесь ни при чём. Знаете, какими попали в плен наши солдаты и офицеры? Десять процентов были безнадежными, ещё семьдесят больны дистрофией, и у большинства — обморожения с осложнениями в виде гангрены и сепсиса. Взятые в плен под Сталинградом погибли от

недоедания, холода и болезней. Советские доктора пытались нас спасти. Медсёстры и врачи сами заражались от больных пленных и умирали. Вы читали Гельмута Вельца? А Вильгельма Адама?

— Увы, ни того, ни другого.

— «Солдаты, которых предали» и «Воспоминания адъютанта Паулюса». Это написано теми людьми, которые побывали в Сталинградском котле, поэтому в их книгах — суцая правда.

— Прав тот русский ветеран, — вздохнула Тереза. — Повезло вам — пройти жернова войны и остаться зёрнышком. Он прав. Радоваться этому надо. Радоваться!

— А может, отметить сей факт? — Доминик подмигнул собеседнице.

— Вы приглашаете меня?..

— Приглашаю отобедать в уютном ресторанчике, — не дал договорить Терезе Доминик.

— Но мне на процедуры.

— Милая девушка, — засмеялся Доминик, — сегодня выходной.

— Но я... Но... — Тереза выглядела смущённой. — Давайте в следующий раз.

— Почему?

— Как я вам скажу, что губы не напояжены, а помада дома? И наряд неподходящий. Да и мешки под глазами, наверное, ещё на месте. Нет, сегодня исключается.

— Бросьте! Вы чудно выглядите! Соглашайтесь. Кутнём! Есть повод — жив остался.

— Спасибо, — сказала фрау, дав понять, что разговор на эту тему исчерпан.

Утро следующего дня у Доминика получилось суматошным. Пришёл волонтер из Красного Креста читать книгу и поиграть в настольные игры. Доминик удивился, потому как не заказывал ничего подобного и вообще не ожидал гостей. Оказалось, это сосед ошибочно назвал вместо своего жилья номер квартиры Доминика. Когда всё выяснилось, волонтер отправился к соседу, а тот — без сознания. Пришлось помогать волонтеру госпитализировать соседа.

Разумеется, к десяти Доминик опоздал и пришёл гораздо позже. Не пришёл, а почти прибежал. Неподалёку от сквера он остановился, отдышался и направился к скамейке бодрым шагом. Ещё издали он увидел Терезу и обрадовался ей. Однако радость была недолгой. Рядом с ней на его месте нагло восседал какой-то другой старик в шляпе и, как показалось «владельцу скамьи», весьма близко к фрау.

— Утро доброе! — Доминик чуть склонился в поклоне.

Незнакомец нехотя приподнял шляпу, а Тереза, выглядевшая сегодня отчего-то привлекательнее обычного, кокетливо улыбнулась и, скользнув взглядом по Доминику, что-то спросила у сидящего рядом с ней старика.

— Вот так так! — Доминика аж передёрнуло. — Не могли ли бы вы подвинуться? — обратился он к незнакомцу. Тот недоумённо посмотрел на нависающую фигуру Доминика, а потом на пустую часть скамьи, говоря взглядом — садись, место же есть.

— Подвиньтесь, — настаивал Доминик.

— Не могу, поскольку мне через вас будет неудобно разговаривать с фрау. Присаживайтесь с этого конца скамьи, — незнакомец слегка хлопнул ладонью по пустующему месту.

— Так и мне через вас будет неудобно разговаривать с фрау, — не отступал Доминик. — Подвиньтесь!

— По какому праву? — прищурился незнакомец. — Я раньше вас пришёл сюда, поэтому вправе сидеть, где хочу.

— Но это моя скамья!

— Что значит ваша? На ней что, написано? Или у вас есть соответствующий документ?

— Говорю вам, моя. Вон сколько пустующих! Идите на любую!

— Ну, уж нет. Чего это я стану бегать по скамейкам? Сами идите или садитесь здесь на свободное место.

Тереза молча наблюдала за происходящим. Её и огорчала ссора мужчин, и смешила одновременно.

— Доминик, не упрямитесь, садитесь, места же всем хватит.

— Так, Тереза, мы идём на другую скамью, — приказал Доминик, пытаясь взять её за руку.

— Ну, вот ещё! — Тереза убрала руку за спину. — И здесь хорошо. Садитесь, Доминик!

— Считаю до трёх, — лицо Доминика становилось багровым. — Если этот ваш знакомый не пересядет с моего места, я выкину его вот за эту перекладину, — он кивнул на спинку скамьи.

— Прошу вас, — обратилась Тереза к незнакомцу, — отодвиньтесь. Он не шутит.

В это время мимо них шёл мужчина с собакой, тоже завсегдатай утренних скамеек. Доминик, поздоровавшись с хозяином, ухватился за морду собаки, тем самым поприветствовав и её. Собака в наморднике гавкнула в ответ. По интонации было не понять, то ли она рада Доминику, то ли возмущается его выходке. А Доминик вновь вернулся к своей «битве».

— Давно по морде не получал? — спросил он у настырного соперника.

— Обратно к неандертальцам катимся, — старик в шляпе встал со скамьи. — Дичаем, однако.

— Вали, вали! — Доминик уже устраивался поудобнее на своём законном месте. — Смотри, в следующий раз кости переломаю!

Тереза смотрела вслед уходящему, покачивая головой. Взгляд её полнился укоризной.

— Как так можно? Взять и прогнать человека.

— А чего он...

— Вы как ребёнок. Мой Лукас и то умнее вас будет.

— А чего он? — повторил Доминик.

— Чего, чего... Я не желаю с вами разговаривать после вашей выходки!

Доминик насупился: «Конечно, ей больше по душе этот трусливый франт, ведь он в шляпе. Даже не спросила, почему я опоздал. Ей вообще нет до меня никакого дела!..»

Теперь развеселилась Тереза.

— А вы молодец!

Доминик недоверчиво посмотрел на смеющуюся Терезу.

— На самом деле молодец! Боевой такой! Мне вы даже очень понравились. Терпеть не могу толерантных.

— Вы это серьёзно? — спросил он у хохочущей фрау. Но та в ответ лишь смеялась, обмахиваясь газетой. — Я действительно нетолерантен. А скажите, кто вы по профессии? Где работали?

Тереза улыбнулась. Сегодня её губы были чуть тронуты розовым.

— Не скажу.

— Это ещё почему?

— Не хочу. Догадайтесь.

— Хорошо, не говорите! Я дома хорошенько подумаю и составлю список ваших предполагаемых профессий.

— Это будет любопытно.

На следующий день Доминик первым же делом достал из кармана сложенный листок со списком. Развернул его и надел очки.

— Интересно, — Тереза попыталась заглянуть в бумагу, но Доминик увернул руку. — И что вы там напредполагали?..

Старик пробежался глазами по списку, в котором значилось всего пять позиций:

— Итак, кто вы по профессии, на мой скромный взгляд...

— Зачитывайте уже, не томите! Первая в списке...

— Дрессировщица.

— Тигров?

— Ну, не знаю... Просто дрессировщица.

— Э, нет, так не пойдёт! Давайте с конкретикой.

— Какая разница — кого дрессировщица. Я просто предположил, что вы можете быть дрессировщицей, а уж кого — морских свинок или бегемотов — это детали.

— Хорошо, продолжайте.

— Я думаю, вы бы могли быть каскадёршей.

— Кем, кем? — Тереза так и прыснула. — Каскадёршей? Да вы в своём уме? Какая каскадёрша? Или вы никогда на меня не смотрели?

— Отчего же, смотрел. Вы очень ладная.

— Благодарю за комплимент. Давайте дальше. Жуть как интересно!

— На третьем месте у меня вы — скалолазка.

Терезе уже было неудобно смеяться, поэтому она закатила глаза.

— Экстраординарно!

— Я так и вижу, как вы кончиками пальцев хватаетесь за горный выступ.

— Вы находите меня героической женщиной? — вскинула бровь Тереза.

— Не то чтобы героической... — Доминик задумался. — Авантюрой, быть может.

Возле соседней скамейки залаяла собака. Хозяин похлопал её по спине и улыбнулся Доминику с Терезой.

— Интересно, что за порода собаки у нашего соседа Грабнера? — старик изучающе смотрел на подвижное крепкое животное. — Симпатяга.

— Вы говорили, Грабнер тоже давно здесь обитает. Почему же было не спросить?

Доминик пожал плечами, мол, и сам не знаю почему.

— Я и клички-то собаки не знаю, — признался он, — не то что породы.

— Австрийский брудастый бракк.

— Как?

— Бракк, — повторила Тереза. — Или штирийская гончая.

— А откуда вам это известно?

Тереза не ответила.

— Грабнер, должно быть, охотник? Австрийский бракк вообще-то охотничья собака, работает по мелкому зверю. Вы не видите, какого у неё цвета глаза?

— Нет. А что?

— Обычно они коричневые, но бывают и жёлтого цвета, правда, очень редко.

— Придётся мне кое-что поменять в списке, — вздохнул Доминик, — на четвёртое место, пожалуйста, я поставлю ветеринара или кинолога.

— Думаете, я породы собак выводила? — усмехнулась Тереза. — Ничего не меняйте в своём списке. У отца когда-то была такая собака.

— Ах, вот оно что... Тогда позвольте продолжить. Далее в моём списке идёт наездница.

Тереза задумалась.

— Анри де Тулуз-Лотрек приходит на ум со своей картиной «Наездница в цирке Фернандо», знаете такую?

— В той картине, по-моему, мало романтизма. Да и вообще его нет. Что наездница, что мужик с хлыстом в каком-то карикатурном виде.

— Зато скорость хорошо передана.

— Зато нет шляпы с пером.

— А наездница обязательно должна быть в бархатном костюме и со шляпой?

— О да! Обязательно. Гарцюющая наездница — так романтично!

— Всё с вами ясно. Влюблялись в наездниц.

Доминик, поёрзав на скамье, признался, что было дело. Но в совсем юном возрасте.

— А у героев картины Тулуз-Лотрека необычная история, как раз-таки романтическая. Художнику позировала всадница, молодая женщина, причём из богатой семьи. Она влюбилась в преподавателя верховой езды и ушла от мужа, занялась вольтижировкой, стала лихой наездницей.

— Не знал. Но раз уж речь зашла о картинах и художниках, мне тоже хочется блеснуть знаниями на эту тему. Был такой живописец. Врубель, — Доминик испытующе посмотрел на собеседницу.

— Как же, знаю, — мгновенно ответила та. — Русский. «Демон», что же ещё? — Тереза задумалась. — Сейчас вспомню...

— В Киеве гастролировал знаменитый берлинский цирк Шумана, — Доминик не стал дожидаться, пока Тереза вспомнит картины русского художника. — Так вот, Врубель пришёл на представление и влюбился в наездницу. Звали её Анна Гаппе, она остановилась возле ложи, где сидел художник. Врубель увидел её вблизи и был сражён красотой.

— И шляпой с пером, — съязвила Тереза.

— Кажется, всадница была в цилиндре, обвитом по тулье газовым шарфом.

— Скажите, какие детали вам известны!

— Я читал про это. И вообще, много читал, особенно после того, как остался один. Так вот, Михаил Врубель влюбился. Но Анна Гаппе была замужем. Кстати, за артистом того же цирка. А Врубель тогда расписывал храм. Возглавлял работы художник, как же его звали?.. Известный довольно... Э-э-э...

— Русский?

Доминик кивнул.

— Шишкин, Брюллов, — принялась перечислять Тереза фамилии, но Доминик, наморщив лоб, отмахнулся.

— Нет, не вспомнить. Значит, пришёл Врубель в собор, и вдруг его как захлестнуло желанием нарисовать Анну! Чистых холстов не было. Тогда он схватил написанную им «Богоматерь» и стал закрасивать изображение белым. А потом на нём стал рисовать Анну.

— Поверх Богоматери? — ужаснулась Тереза.

— Да! Поверх Девы Марии.

Тереза, сложив кисти рук, повернулась к колонне с золотым изваянием.

— Как же можно?.. — прошептала она.

— А тот, который главный, очень восхищался картиной, даже кого-то привёл посмотреть на неё. Но картину он не нашёл. А когда понял, что на изображении Девы Марии нарисован цирк, то разозлился.

— Ещё бы!

— Но это не всё. Врубель написал картину «Моление о чаше», причём писал долго. Сумел выгодно продать, и за ней со дня на день должен был приехать покупатель. Но Врубель, обуреваемый страстью к Анне, и на этой картине вновь нарисовал свою наездницу.

— Какой кошмар, — прошептала Тереза, — какой кошмар!

— Не кошмар, а любовь, — назидательно ответил Доминик.

— Значит ли это, что и вам подобным образом сносило голову от любви к всаднице?

— Я рисовать не умею, — пробурчал старик.

Повисла пауза. Тереза размышляла над рассказом Доминика, то и дело обращая взор к золотой Богородице. Её собеседник же, наоборот, смотрел в противоположную сторону — на соседа и его собаку, которую, как оказалось, звали Арчи.

— А какова пятая позиция? — Тереза прервала свои размышления.

Доминик замешкался.

— Так кто же?

— Спасатель береговой охраны.

— Кто-о-о?!

— Спасатель береговой охраны, — робко повторил старик.

— Ну, и фантазия у вас, — покачала головой Тереза. — Каскадёрша, спасательница, скалолазка...

— А что плохого в спасательнице? Я так и вижу взмахи ваших рук над водой и горячее желание прийти на помощь утопающему.

— А при чём тут авантюризм? Профессия самая что ни на есть героическая.

— Все героические профессии граничат с авантюризмом.

— Интересная теория, — усмехнулась Тереза.

— Я раскрыл вам свой список. Теперь вы откройте же мне, наконец, кто вы по профессии, чем занимались, кем работали? — Доминик свернул листок и убрал в карман рубашки.

— Боюсь, что разочарую вас. Моя профессия самая заурядная. Но это только на первый взгляд! В ней есть нечто мистическое, потайное. Магия чисел меня всегда завораживала.

— Вы нумеролог?

— Нет, я бухгалтер.

— Бухгалтер? — не поверил Доминик. — Чтобы вы — и бухгалтер?

— А почему нет? И что плохого в этой профессии? — Тереза сложила «в замок» руки на груди. Её взгляд стал холодным, даже безжалостным.

— Нет, ничего дурного в бухгалтере нет. Просто я думал... — старик почесал затылок. — М-да...

— У вас тоже профессия довольно обычная. Юрист. Так что вы от других хотите?

Старик молчал. А потом глянул на Терезу лукаво и, потирая руки, медленно произнёс:

— Я знал, что вы бухгалтер!

— А список?

— Это я нарочно. Дурачился. Нет, вы действительно вылитый бухгалтер. Пунктуальная, опрятная. И вообще...

— Обманываете! Вы понятия не имели, что я бухгалтер!

— Имел, имел! Ещё как имел! Ну, какая из вас каскадёрша или скалолазка?

— Да уж действительно, — развела руками Тереза.

— Я сразу понял, что вы — бухгалтер! Но мне уж очень хотелось позабавить вас!

— И впрямь позабавили. К тому же вы оказались правы.

— Ну вот, а я что говорил! — ликовал Доминик. — Уж поверьте моему опыту и интуиции.

Тереза кивнула.

— Вы оказались правы, — повторила она, — только я не бухгалтер.

— То есть?

— Не бухгалтер. Моя профессия в вашем списке значится на первом месте.

Доминик спешно достал листок бумаги и развернул его. На первом месте значилась дрессировщица. Он недоумённо посмотрел на Терезу.

— Она самая. Дрессировщица, — подтвердила фрау.

Старик хихикнул.

— Не вижу ничего смешного. Очень интересная, достойная профессия.

Что-то у меня не вяжется она с вами.

— И тем не менее.

— И кого вы дрессировали? Неужто львов?

— Нет, не львов. Дельфинов.

— Надо было мне догадаться, когда вы про собак рассказывали, — Доминик хлопнул себя по ноге. — Значит, вы имели дело с животными? Интересно, интересно. Расскажите!

— Обязательно, но в следующий раз. Нет, нет, как всегда, провожать не нужно, — Тереза остановила Доминика рукой.

— Таинственность... Просто боитесь, что родня увидит, будет смеяться, мол, какую развалину-ухажера себе нашли.

— Не без этого! — улыбнулась Тереза и, махнув рукой на прощание, пошла вдоль фонтана к одному из выходов сквера.

Доминик смотрел ей вслед и думал, где же она ему наплела, про бухгалтера или дрессировщицу?

— Доброе утро, дрессировщица! — с ехидцей в голосе поприветствовал Доминик свою знакомую. — Я забыл, кого вы там тренировали? Медуз?

— По-прежнему не верите? А вот это вас обязательно убедит! — Тереза достала из сумки пачку фотографий.

— Как вы безнадежно отстали, милая фрау...

— То есть?

— Я лично давно пользуюсь планшетом. Вы хоть слышали об этом предмете?

— Не умничайте, мой друг. Держать фотоснимки в руках — особое ощущение, и оно гораздо приятнее того, когда рассматриваешь их на компьютере.

Доминик пожал плечами, полез в карман, достал очки и, взяв несколько фотографий, стал внимательно их разглядывать. Чёрно-белые снимки чередовались с цветными, на большинстве которых были запечатлены дельфины.

— Каким ветром вас занесло в дельфинарий? — Доминик изучающе рассматривал фотографии.

— Придётся рассказывать по порядку, с самого начала. Родилась я в Линце, в городе, где Гитлер провёл детство и юность, отчего и считал его своим родным. Но мы не любили Гитлера, и в тридцать восьмом, после присоединения Австрии к Германии, наша семья эмигрировала в Штаты. Мы обосновались в Сент-Огастине.

— Это где такой?

— Штат Флорида. И в том же тридцать восьмом, представляете, в Сент-Огастине был открыт первый в мире дельфинарий. В общем-то, поначалу это был океанариум и назывался «Морская студия». Там собирались держать разные виды морских животных, но один из дельфинов проявил такую смекалку и такие способности! Это и положило начало дельфиньему цирку. И я, как и многие, «заболела» дельфинами. После войны мы вернулись обратно. Я не переставала бредить морскими животными. В середине пятидесятых был настоящий бум дельфинариев. К тому времени я уже вовсю занималась дрессировкой этих чудных животных и выступала на публике. Работала во многих местах Европы.

Доминик, отложив остальные фотографии на скамью, пристально вглядывался в один снимок. На дельфине стояла молодая девушка в обтягивающем костюме.

— Это ведь вы?

Тереза кивнула.

— Я был на одном из ваших представлений.

— Вот как?

— Вы — Тереза Перлькопф.

Фрау посмотрела на собеседника с удивлением.

— Я хорошо помню вас, — Доминик отдал фотографию Терезе.

— Почему вы меня хорошо запомнили?

— От возмущения. Ездили на дельфинах, как на горных лыжах. Я тогда в первый и последний раз посещал дельфинарий. Да и вообще бы туда не пошёл, если б не жена. Ей кто-то посоветовал чаще бывать там, где дети. Смотреть на них смеющихся, радующихся.

— Вот видите, смеющихся, радующихся! Дети в восторге от пребывания рядом с дельфинами!

— В восторге? — Доминик возмущённо посмотрел на Терезу. — А сколько загубленных дельфинов ради этого восторга? Не считали?

— Ну, знаете, — задохнулась Тереза от негодования. — Ну, знаете!

Из милой очаровательной старушенции она вмиг превратилась в разъярённую гарпию. Доминик даже выпалил вслух:

— В данный момент вы способны наводить ужас на людей.

— А вы, знаете ли, не смейте мне такое заявлять! — Тереза тяжело дышала.

— Но гуманно ли держать дельфинов в неволе? — Доминик уже был не рад затеянному разговору, потому его речь звучала не так резко.

— А собак? — Тереза кивнула головой в сторону Арчи.

— Это не довод, — Доминик нервно отстукивал узловатыми пальцами по деревянной скамье.

Я знаю, много сломано копий в дискуссиях на эту общественно значимую тему. Но послушайте меня... Всё начинается с долгой адаптации дельфина к жизни в неволе. Животное длительное время находится на карантине, — Тереза встала и принялась ходить вдоль скамейки.

— Но на воле они проплывают сто с лишним километров в день. А в бассейне сколько? Разве они могут это проделать в каком-то искусственном корыте? — старик начинал терять терпение. — А хлорированная вода? Да у них кожа слезает! — Доминика аж передёрнуло от нарисованной им в воображении картины. — А продолжительность жизни в неволе? И не питаются они на морских просторах мёртвой рыбой. Вам ли это не знать? Нет, англичане — молодцы! Все дельфинарии закрыли из-за общественного протеста.

— Дайте же сказать, наконец! Да будет вам известно, что в любом дельфинарии тщательно следят за солевым составом воды и меняют её регулярно! К тому же температура поддерживается соответствующая. И заставить животное что-то делать помимо его воли — невозможно! Не-воз-мож-но! А дельфины с радостью тренируются и выступают! Им нравится общаться с человеком.

— Это они вам сами сказали? — Доминик наполнил грудь воздухом и громко выдохнул.

— И что за бред, что пребывание в неволе укорачивает животным жизнь? В Германии живёт дельфин, не знаю, правда, на сегодня он жив или нет, но ещё недавно был жив. Ему пятьдесят два года! Почти половина дельфинов и в море, и в дельфинарии гибнет, не дожив до двух лет. Они очень чувствительны к заболеваниям. А в природе ещё и разные напасти. Шторма, например. Сколько дельфинов гибнет в море! Что-то об этом не больно трубят, — Тереза вновь села на скамью.

— Я понимаю, — Доминик ласково погладил Терезу по плечу, — это ваша работа, которой вы

посвятили жизнь. Простите меня за мою резкость. Тогда, много лет назад, увидев вас, я был сражён вашей красотой, грацией, ловкостью, но мне казалось недопустимым и тогда, и сейчас... Я даже ваше имя запомнил. Такое мне казалось несоответствие между красотой и...

— Всё ясно. Наши взгляды слишком разнятся. Отдавайте мне мои фотографии и прощайте!

— Нет, не отдам! — Доминик схватил пачку, лежащую с его стороны.

— Как это не отдадите?

— А вот так. Я ещё не досмотрел до конца.

— Но мне надо идти!

— Идите. Завтра придёте, я их вам верну.

— Но я завтра не собираюсь приходить! — Тереза топнула ногой в туфле на широком маленьком каблучке.

— А придётся, — Доминик крепче сжал фотоснимки. — До завтра. И по обычаю не провожаю вас.

Придя в сквер чуть раньше обычного, Доминик застал на своей скамейке пару. По его понятиям весьма молодую. Мужчина лет пятидесяти и женщина лет сорока сидели, держась за руки, разглядывая округу. Старик, подойдя, нехотя кивнул им, в ответ они дружелюбно улыбнулись и отодвинулись с середины скамьи на самый край.

Доминика в это утро раздражало всё. И солнце, колющее глаза, и сквер, наполняющийся людьми, и парочка подле него, которую вовсе не было желания рассматривать. Но больше всего старик негодовал, думая, что если и придёт Тереза, то только за фотографиями. Он её вчера обидел и вряд ли она захочет с ним вновь общаться. Но что поделать, если он и вправду так считает — не место животным в неволе! А Тереза... Ну, как она могла не понимать этого? Но он готов ей простить поступки прошлого. Это ведь было до него. Наверяд ли она работала бы дрессировщицей, будь его женой. От этой мысли Доминик вздрогнул. Женой... А ведь она тогда запала ему в душу. И он часто вспоминал яркую и задорную дрессировщицу с лекальными линиями тела.

Фотографии Доминик нарочно оставил дома. Сошлётся на забывчивость. К тому же он испытывал особую радость, перебирая их вчерашним вечером, словно проскальзывая в чужую судьбу с помощью старых карточек. Снимки он, конечно же, отсканировал, но ещё раз подержать в руках Терезу, пусть и с дельфинами — будь они неладны! — хотелось.

Парочка рядом разглядывала сияющую Мадонну. Их головы задраны вверх, к небу, застыв в одной точке. В такой позе порой находились многие туристы, поскольку колонна, на которой стояла Дева Мария, была достаточно высокой. Это тоже своего рода поклон, только в высь.

Доминик, глядя на благоговейные лица соседей, усмехнулся. Пока они ни разу не произнесли ни слова, только глядели по сторонам. Но, только успев подумать об этом, старик услышал:

— Здорово! Я так рад, что мы сюда заехали.

Доминик вздрогнул — русские! Уж эту речь он не спутает ни с какой другой... На душе стало как-то сразу нехорошо, хотя и до этого было досадно, но тут словно её обмакнули в кислый раствор. Если бы не Тереза, Доминик непременно бы ушёл. Не то, чтобы у него сохранялась ненависть к русским, но и любовью там не пахло, и даже симпатией. Где-то в глубине сидел страх, а на поверхности — осторожность.

Доминик взглянул на русских. Они о чём-то тихо беседовали, не переставая держаться за руки. Нет, никакой агрессии от них не исходило, наоборот, со стороны — милейшие люди! Но пусть бы эти милейшие люди шли дальше. Что, в Граце посмотреть больше нечего?! А точно ли это русские? Мужчина одет как заправский европеец. Ярко-голубая рубашка в крупную клетку, светлые джинсы, его спутница в изысканном летнем наряде. Хотя теперь и русские утратили свою особи́нку в манере одеваться, не то, что было раньше, когда у них там правили коммунисты, и бедняги приезжали в Европу за джинсами.

Речь самая что ни на есть русская. Какая ещё речь звучит так мускулисто? Однажды где-то Доминик вычитал: «Русский язык — это пара знакомых слов, затерянных в полном лингвистическом хаосе неприятных на слух звуков». Лучше и не скажешь.

Доминик достал газету, раскрыл её на странице с прогнозом погоды и стал анализировать, какая погода будет в ближайшую неделю. Он взял красный фломастер и подчёркивал солнечные дни.

- Зачем он что-то подчёркивает? — удивилась русская.
- Кроссворд, может, отгадывает, — мужчина чуть вытянулся.
- Нет, он в прогнозе погоды что-то помечает.

За годы плена Доминик неплохо усвоил русские слова, мог наполовину понимать, о чём говорят русские. Мужчина и женщина ещё немного понаблюдали за странностями старика, но затем переключились и теперь смотрели совсем в другую сторону. О чём-то переговариваясь, улыбались. Что они там увидели? Доминик наклонился вперёд и сразу узнал в идущей пожилой женщине Терезу. Русская пара явно говорила о ней, но в голосах чувствовалась теплота, словно речь идёт о давней знакомой. Чудо как она хороша! Доминик, наблюдая за Терезой, откинулся на спинку скамьи. Такой элегантный шаг. Такая значимая, но при этом совершенно невесомая походка. Русские, несомненно, восхищались величием старости австрийской женщины. Это стало неожиданно приятным для Доминика.

Тереза подошла к скамье и, хотя места было предостаточно, русские подвинулись. Они обменялись любезными взглядами, после чего Тереза села. Но Тереза стала интересоваться его здоровьем и что ел на завтрак.

— Сегодня день неблагоприятный, находиться на солнце много нельзя. Скажите, вы измеряли сегодня давление?

— Дорогая моя Тереза! Я старый солдат, о каком давлении может идти речь?

— Вот именно, что старый! — усмехнулась Тереза.

— Да я за свою жизнь не кашлянул ни разу! Не чихнул!

— А вот чихи сдерживать нельзя, — тон Терезы перешёл в нравоучительный. — Можно повредить барабанную перепонку или глотательное горло. Чихайте себе на здоровье! Ну, чихайте же!

— Да я не хочу.

Русские мирно беседовали на противоположном конце скамьи.

— Чехи? Поляки?

— Нет, русские.

— Русские? — Тереза с большим интересом стала поглядывать на мужчину и женщину. — Я признаться нечасто встречала русских туристов.

Разве? А по-моему, их теперь всюду полно, как блох.

Хорошая пара, — вынесла свой вердикт Тереза, немного понаблюдав за соседями по скамье.

Доминик не ответил.

— Ещё целый час можно посидеть здесь, — сказала молодая женщина, глядя на большие часы на стене здания. — Место просто магическое.

— Вы понимаете, о чём они говорят? — обратилась Тереза к Доминику.

— Подслушивать чужие разговоры нехорошо, — пробурчал он.

— Так и скажите, что нет!

Мне до них вообще нет никакого дела. Нечего тут торчать. Шли бы себе потихоньку.

В этот момент русский внимательно посмотрел на старика.

— Мы помешали вам? — спросил он по-немецки.

— Нет, что вы! — воскликнула Тереза и с укором посмотрела на старика, немного сконфуженного.

Русский улыбнулся, всё свое внимание направив на спутницу.

Тереза в негодовании сверлила Доминика глазами. Тот явно чувствовал за собой вину, но, судя по его нахохленному виду, признавать её не собирался.

— Как вам не стыдно! — прошептала Тереза, склоняясь к Доминику. — Ваша неприязнь так и бьёт, как струи этого фонтана!

— А вы хотели, чтобы я, не сворачивая, направлялся к святости?

Тереза взглянула на Богородицу.

— Вы бессердечный солдафон! Война давно закончилась, снимите же, наконец, свою форму.

— Не хочу, не могу и не буду. — Доминик помог себе руками закинуть одну ногу на другую.

— Старая сталинградская развалина! — Тереза с вызовом посмотрела на собеседника. — Которая никак не успокоится.

Доминик хотел сказать, что беспокойных развалин не бывает, но закашлялся. Русская тотчас же

протянула Терезе бутылочку с водой, показывая передать Доминику, но фрау вместо того, чтобы открыть пластиковую бутылку, как дала со всей силы ею по спине старика! А потом вернула её обратно, кивнув женщине в знак благодарности.

Доминик кашлять перестал. Насупленный, он молча наблюдал за округой. Терезе же явно хотелось общения.

— Вы первый раз здесь? — обратилась она к паре по соседству.

— Я во второй, а моя жена впервые, — ответил мужчина на хорошем немецком.

— Нравится?

— Сказочный город! Сказочный.

— Вы давно здесь? Надолго?

— До вечера. А приехали утром. С туристической группой.

— А где остальные?

— Все пошли с гидом, а мы с женой решили побродить самостоятельно. Через полтора часа у нас запланирован с группой поход в музей оружия. Говорят, он здесь бесподобный. А вы живёте в Граце?

Тереза дважды кивнула.

По скверу шли четыре девушки и юноша. В руках они несли большие квадратные коробки, вероятно, с пиццей. Свободная скамейка находилась напротив русской и немецкой пар, только за фонтаном. Туда молодёжь и пристроилась.

— Нам говорили здесь много студентов, — сказал русский.

— О да! Здесь четыре университета. Четыре? — переспросила Тереза у Доминика.

— Да, именно четыре. Не три и не пять, — Доминик был рад, что Тереза обратилась к нему с вопросом. — Медицинский, технический, актёрский и самый известный — имени Карла и Франца. Да будет вам известно, он дал миру семь нобелевских лауреатов, если мне не изменяет память.

Русский перевёл жене фразу Доминика, та покачала головой от удивления.

— Ваша жена не знает немецкого? — что-то неуловимо-презрительное промелькнуло в вопросе старика.

Но русский не остался в долгу.

— Нет, не знает. Впрочем, как и вы с супругой не знаете русского, — улыбнулся он.

При слове «супруга» Тереза и Доминик многозначительно посмотрели друг на друга.

— Я понимаю совсем чуть-чуть, — приврал старик и показал пальцами, насколько мало он понимает, — самое простое. «Нина шила, Нонна мыла, наши косы малы», — произнёс он на исковерканном русском и засмеялся. Следом за ним рассмеялись и русские. — Это из букваря тридцать седьмого года.

— А как он к вам попал? — удивился русский, но вопрос остался без ответа.

Студенты напротив уминали пиццу. И это получалось у них слаженно, словно отрепетировано. Раз — поднесли пиццу ко рту, два — откусили, три — опустили руки, жуют, четыре — проглотили. И снова — раз, два, три, четыре. Длинный верзила сидел посреди скамейки, а справа и слева от него по две девушки.

— Смешные и трогательные, — русская кивнула на студентов. — Этот Ганс окружил себя сразу четырьмя Гретхен.

Ещё немного понаблюдав за этим раз-два-три-четыре, немцы и русские вернулись к разговору.

— А вы откуда из России? — спросила Тереза.

— Из Волгограда.

— Из Волгограда? — опешил старик. Русский так запросто произнёс название города...

— Волгоград, Волгоград, — закивала жена русского.

Доминику в момент стало нехорошо. Навалилась такая жара, словно на него сейчас светили десятки солнц. Волгоград, Сталинград...

Старик уставился в одну точку, а именно на студентов с пиццей.

— Походная кухня привозила по вечерам еду. «Зингерь», так мы называли русские бипланы, потому что они стучали как швейные машины, летали над нами и сбрасывали осколочные бомбы...

— Вы воевали во Вторую мировую?

— Да. Я был в Сталинграде.

Русский хотел перевести это жене, но она остановила его:

— Он был в Сталинграде, я поняла.

— Я был в Сталинграде, — повторил старик по-русски и снова перешёл на немецкий. — Не приведи Господь никому быть участником этого. Военизированный бал сатаны.

— Как вы сказали? — не понял русский, но немец не стал повторять.

Лицо Доминика изменилось, будто он надел чужую маску. Морщины внезапно стали горестными. Он стал легонько раскачиваться, словно собирался взлететь, но при этом крепко держался обеими руками за лавку. Тереза погладила старика по спине, от этих прикосновений он вздрогнул, повернул голову и посмотрел на Терезу совершенно пустыми глазами.

— Он что, ждёт от нас сочувствия? — нервно спросил русский у жены, видя состояние немца. — Мы их не звали!

— Андрей, не надо на эту тему...

— Я разве начал?

— Ну, и не поддерживай. Переведи разговор на что-нибудь другое или вообще пойдём отсюда.

Старый немец примерно понял, о чём они, но отрешённо смотрел на золотую Деву Марию, расположенную спиной к ним.

— Вот и тогда она повернулась к нам спиной. Целая армия превратилась в труху. Подумать только, целая армия.

— А что вы хотели? — неожиданно повысил голос русский. — Вы пришли на нашу землю с оружием и хотели, чтобы мы плясали перед вами? — Его глаза гневно смотрели на немца. — Избитая фраза, но всё же я произнесу её: «Кто вас звал?» Вот вы живы-здоровы, сколько вам лет? За восемьдесят? А моему деду так и осталось двадцать пять! Он погиб под Сталинградом.

Жена Андрея в тревоге положила ему руку на колено и сжала его.

— Под Сталинградом? — Доминик взглянул на русского.

— Под Сталинградом, — устало выдохнул Андрей.

— Вы были в Берлине? — включилась в разговор Тереза.

— Да.

— А в церкви памяти кайзера Вильгельма?

Русский замялся.

— Там «Сталинградская Мадонна».

— Да, были, — остывая, ответил Андрей, его жена тоже кивнула. — Это в Синей церкви. Вернее, там стекла синего цвета. Сталинградская Мадонна нарисована на обратной стороне географической карты. Военным врачом.

— В отличие от Врубеля, который рисовал поверх Богородицы... — тихо пробормотал Доминик.

— Вокруг Мадонны надпись: «Свет. Жизнь. Любовь...» — Тереза посмотрела на переливающуюся в лучах вечного солнца статую Девы Марии и следом за ней все подняли головы вверх. — Наказ человечеству от человека, побывавшего в Сталинградском котле. Его звали Курт Ройбер.

— У нас в Волгограде в храме святителя Николая есть копия Сталинградской Мадонны, — Андрей, не отрываясь, смотрел на Богородицу. — Называется икона «Дева Мария Примирения».

— Правда? Я этого не знала.

— Вы многого не хотите о нас знать.

— Я прошу прощения, не спросила, как вас зовут, — Тереза чуть улыбнулась.

— Андрей. Супругу Ксения.

— Очень приятно. Меня Тереза.

— Доминик, — представился старик.

— Скажите, Андрей, вы так хорошо владеете немецким. Где вы его учили?

— В основном, сам.

— Да? — не поверила Тереза. — Сам?

— Да. Хотелось в подлинниках читать вашу великую литературу.

— И вы можете оценить сочность немецкой поэзии? — недоверчиво спросил Доминик.

— Думаю, да. Мы все в состоянии понимать друг друга, если по-настоящему захотим. Весь вопрос в открытости другим культурам и готовности их воспринимать, — Андрей встал со скамьи,

следом за ним поднялась жена. — К сожалению, нам пора. Перед музеем мы ещё хотим подняться на Шлоссберг.

Андрей протянул Доминику руку:

— Всего хорошего вам!

Немец растерялся, но вдруг, как пружина, вскочил, выпрямился и с достоинством воина пожал ладонь русского.

— Я также желаю вам счастья!

Когда русские ушли, какое-то время старики молчали.

— Шлоссберг... — проворчал Доминик. — У них остался час. На целый Шлоссберг! Хорошо иметь молодые ноги.

— Я давно хочу туда подняться, — вздохнула Тереза. — Причём по ступеням, а не на лифте или фуникулёре. Как когда-то давно, много лет назад. Наследникам станет плохо, если они просто узнают об этом желании.

— Может, они только мечтают, чтобы вы туда забрались и отдали концы? Не надо долго ждать наследства.

— Зря вы о них так думаете, злой старик!

— Да я в шутку, что вы, не понимаете? Кстати, а почему вы не требуете свои фотографии? А я их дома забыл!

— Оставьте себе, — беспечно заявила Тереза. — Любуйтесь!

— Я обратил внимание, у вас совершенно нет украшений, — огорошил Доминик Терезу на следующий день в середине разговора.

Пожилая фрау, не мигая, смотрела на старика и размышляла над его вопросом. Что он опять затеял?

— И что, что нет, — наконец молвила она. — Вам-то что?

— Вы их не любите? — не унимался Доминик.

— Да что вы пристали?

— Нет, скажите, почему на вас никогда нет украшений?

— Потому что вы не дарите! — язвительно ответила Тереза.

— Ах, если только дело за этим! — Доминик вальяжно раскинулся по скамье. — Я-то думал, может, у вас аллергия на металлы...

— Нет у меня никакой аллергии!

— А дело-то оказывается в том, что это я не дарю, — с этими словами старик склонился над пакетом и достал оттуда бархатную коробочку цвета бургунди. — Прошу принять!

— Что это? — спросила Тереза, принимая подарок. — А что там?

— Ну, что там может быть? Кусок курицы, конечно.

— Я серьёзно!

— Откройте да посмотрите!

Но Тереза не спешила открывать коробочку, видя, что солдафону не терпится, когда она это делает. Она для начала повертела её в руках, словно в поисках каких-нибудь надписей, потом пару раз взглянула на Доминика и только после этого приподняла крышку.

— Наконец-то добрались до содержимого, — вздохнул старик. — А то я думал, что прокиснет.

— Это брошь? — отчего-то спросила Тереза, глядя на украшение и понимая, что это брошь.

— Нет, кузнечик молодой!

— А кому эта брошь?

— Ну, не Грабнеру же! И не его брудастому бракку. Голубушка, ну что за странные вопросы! Вам! Кому же ещё?

Тереза выглядела очень растерянной.

— Не понравилось? — заволновался Доминик. — Вы достаньте её, разглядите получше. Она красивая.

Брошь, преподнесённая Терезе, была очень хороша, в виде стройного цветка из белого золота и немного напоминала арфу или даже морскую волну, набегающую на берег. Лепестки, усеянные

мелкими камешками, сверкали на солнце. Три соцветия из голубого топаза были того же цвета, что и глаза Терезы.

— Это правда мне? — руки Терезы дрожали.

— Да! — с гордостью выдохнул Доминик.

— Она такая, такая... лирическая.

— А вы думали, солдафон не способен...

— Ничего я не думала. А почему вы мне подарили это неземной красоты украшение? — медленно произнесла Тереза.

— Как почему? — растерялся старик. — Вот те на! Как это почему? Сами-то не догадываетесь?

Фрау сделала вид, мол, понятия не имеет почему, хотя в её глазах блеснули искринки явного понимания.

— Почему, почему... — проворчал старый солдат. — Потому что вы мне нравитесь! — отчеканил он сердито.

На другое утро народу в сквере было больше обычного. Скамеек на всех не хватало, поэтому многие присаживались на бортики фонтана.

— А меня отругали за ваш подарок, — потупив взор, молвила Тереза.

— Кто? Почему?

— Наследники. Сказали, негоже принимать такие дорогие подарки от незнакомого мужчины. Велели вернуть.

— Вы им рассказали обо мне? — Доминик был рад.

— Так, в общих чертах.

— В общих чертах! — радость старика сменилась недовольством. — О Доминике Кунштишлере, лучшем юрисконсульте Граца шестидесятых и семидесятых годов! Как это в общих чертах? Что это за общие черты?

— Ну, не занудствуйте, пожалуйста!

В этот момент к скамье подошёл грузный парень, и Доминику пришлось вплотную пододвинуться к Терезе, поскольку тот втиснулся между ним и ещё одним отдыхающим. От такой неожиданной близости и Доминик, и Тереза оробели. Старик несколько раз громко сглотнул, а пожилая фрау закопошилась в сумочке.

— Вы горячая, — шепнул ей Доминик на ухо.

— В каком смысле? — Тереза насколько возможно отклонилась в сторону от своего собеседника.

Старик вместо ответа подмигнул.

Следующие несколько минут прошли в молчании.

— Я тут подумал и решил, — тихо, не смотря на Терезу, произнёс Доминик. — Хватит бояться! Нам обязательно нужно сделать это.

У Терезы как-то сама собой, непроизвольно, рука легла на грудь.

— Что — «это»? — с трудом выдавила она из себя, как остатки пасты из зубного тюбика.

— То самое, о чём мы оба втайне мечтаем.

Тереза покраснела и оглянулась по сторонам.

— Вы что, с ума сошли?

— Почему? И мне, и вам этого очень хочется.

На бортике фонтана спиной к ним сидела молодая женщина. На её коленях лежала маленькая девочка, которая, наклонившись, забавлялась с водой. Время от времени, пока мать не видит, она украдкой попивала эту водичку.

— Смотрите, она пьёт воду прямо из фонтана! — воскликнула Тереза. — Надо обратить внимание её матери. Ребёнок может получить отравление.

— Наплевать на ребёнка! Я вам говорю совершенно о другом.

— Что значит наплевать на ребёнка?!..

— Во время войны мы охотно, бывало, пили из лужи. А уж из фонтана...

— Наплевать мне на вашу войну! И о чём таком вы мне там говорите? Это что, второй шаг после подарка? После броши? Невестка моя была права! Не следовало мне... — Тереза открыла сумочку. — Вот, возьмите! — Она протянула Доминику бархатный футляр.

Брови старика взлетели.

— Что это значит?

— А то и значит! Я женщина порядочная и не желаю из-за украшения соглашаться на это!

У Доминика от напряжения покраснели глаза.

— На что — на это?

— На что, на что? На то, о чём вы мне намекаете!

— Я не намекаю, а открыто говорю.

— Ну, знаете! — Тереза стукнула сумочкой Доминика. — Бессовестный!

— Да что тут бессовестного! Я же не постель вам предлагаю. Я задумал вместе с вами взобраться на Шлоссберг! — вскричал Доминик. Люди на скамье с нескрываемым интересом посмотрели на старика, — хотя, можно подумать, в близости есть что-то бессовестное, если она по любви. — Доминик вновь перешёл на тихую речь.

— Так вы, — растерялась Тереза, — имели в виду Шлоссберг?

— Ну да. А вы что имели в виду?

— Я? — Тереза поправила волосы. — Так и я Шлоссберг.

Взятие Шлоссберга, горы, возвышающейся над Грацем прямо в центре города, было назначено на субботу, до которой оставалось два дня. В эти дни старики решили основательно подготовиться к штурму.

— Наверное, будут нужны перчатки. — Тереза посмотрела на свои морщинистые с маникюром руки.

— Да, и альпеншток, — саркастически улыбнулся Доминик. — А также страховочные верёвки, каски, ледорубы и запас провизии на неделю. Ну, а если серьёзно, главное вам — не форсить, обувь на каблучке не надевать. Одежда должна быть лёгкой. На всякий случай возьмём с собой куртки, вдруг на горе ветер. Пару бутылок воды. Если проголодаемся, наверху есть кафе.

— Как вы думаете, кондотьер, сколько времени у нас займёт подъём?

— Дайте подумать, — Доминик закрыл глаза и что-то принялся высчитывать. — Ступеньки идут зигзагом, часто поворачивают. Всё это делает подъём нелёгким и достаточно долгим. Может, мадам предпочитает на лифте? — он внимательно взгляделся в лицо Терезы.

— Ни за что! Какой тогда смысл? Только пешком!

— Ступеней примерно триста, не так много, но они высокие, — продолжал рассуждать Доминик. — Будем отдыхать через каждые тридцать.

— Лучше на каждом новом этапе, — Тереза задумалась. — Эти ступени вырублены в скале ещё в Первую мировую.

— Работа русских пленных.

Тереза кивнула, поморщив щёку, мол, это общеизвестный факт.

— Утром перед восхождением много не ешьте, но и не идите голодной, — наставлял Доминик, — не забудьте покрыть голову, чтобы не напекло. Сегодня и завтра нужно поменьше двигаться, так мы сэкономим силы. Хорошо выспаться. Что ещё? С внуками поменьше нянчитесь, это тоже отбирает энергию. Так, про это я сказал, про головной убор тоже... Что же ещё? Не забыть бы... — бормотал он.

— Фотоаппарат или камеру, — подсказала Тереза.

— Это само собой. Это я беру на себя. А! Ещё зонты обязательно. Вы запомнили, что я вам сказал?

Тереза кивнула.

— Может, всё же, запишете?

— Ну, Доминик!

— Что Доминик? Подниматься на такую гору!

— Уж как-нибудь с Божьей помощью осилим. — Тереза долгим взглядом посмотрела на золотую Богородицу.

Субботнее утро выдалось хмурым. В назначенное время заговорщики встретились на Шлоссбергплатц, у фонтана с тремя птицами. Причём Тереза пришла первой.

— Наследники не знают? — спросил Доминик после приветствия.

— Я бы тогда здесь не стояла.

— Не передумали?

— Вот ещё! — фыркнула Тереза. — Может, это вы хотите дать задний ход? На целых две минуты опоздали к назначенному часу икс!

Доминик пропустил это высказывание мимо ушей. Он с интересом смотрел на новую Терезу. Да, такой он её ещё не видел. На сей раз она была налегке, в спортивном костюме оливкового цвета, который очень молодил её.

— Командуйте, кондотьер! — Тереза выпрямилась, ожидая указаний.

— Вперёд! — коротко приказал старый солдат и выставил вперёд зонтик, но выкидывая его, он случайно нажал на кнопку. Зонт, раздвигая пространство, автоматически раскрылся, чем вызвал смех Терезы.

— Очень красиво! — отсмеявшись, она окинула взглядом скалу со ступенями.

Возле основания лестницы находился вход, ведущий в систему штолен. Там, в глубине, располагался стеклянный лифт.

— Во время войны здесь было бомбоубежище, — Доминик кивнул на вход, ведущий вглубь горы.

Тереза, ничего не ответив, прошагала мимо, к лестнице.

— Я первый! — Доминик опередил Терезу. — Следовать строго за мной.

Он, опираясь на ограждение, твёрдо шагнул на первую каменную ступень. Когда поднялся на четвертую, Тереза начала свой путь.

— Вы знаете легенду, связанную с этой горой? — Доминик через плечо посмотрел на Терезу.

— Смотря какую.

— Дьявол заключил сделку с местными жителями. В обмен на души пообещал создать в центре города возвышенность. И чем выше будет гора, тем больше душ он получит. Улетел за скалой в Африку. Выбрал высокую. Ташил, корячился, сволочь. А когда вернулся обратно, видит, жители Крестным ходом идут, Пасху отмечают. А как известно, в Пасху он не имеет права забирать души, власти над людьми не имеет. Рассердился и бросил эту скалу. Вот по ней мы сейчас и поднимаемся.

— Да знаю я эту дурацкую легенду. Зачем они вообще с ним сделку заключали? — возмутилась Тереза.

— Вы бы поменьше говорили, — осадил её Доминик. — Силы не тратьте. Это ведь только начало виляющей лестницы.

— Сами же тратите силы на пересказ глупых выдумок.

Желающих подняться на гору пешеходным путём было немного. Но те, которые выбрали этот путь, проскальзывали мимо стариков быстро и бесшумно.

— Люди-то соколами, а мы черепахами, — усмехнулась Тереза.

— В нашем возрасте и черепахой за радость, — проворчал Доминик.

Всё выше поднимались они, всё ниже оставалась земля. Местами скала была одета растительностью, кое-где значились самодеятельные стандартные надписи — тот плюс эта равняется изображению сердца. На каждом изгибе установлены фонари. Повсюду сновали чёрные дрозды. Они спрашивали:

— Вы что, совсем тю-тю? — но без ехидства, а даже с неким восхищением.

Тереза остановилась на одной из маленьких смотровых площадок, оборудованных по всей длине лестницы.

— Устали? — обернулся Доминик.

— Нет. Даже взбодрилась. Вы не считали ступени?

— Не догадался.

— Я поначалу забыла вести им счёт. Когда вспомнила, мы уже сколько-то прошли.

Некоторое время старики шли молча, ненадолго останавливаясь. Доминик то и дело доставал из сумки воду со стаканчиками.

— У вас не кружится голова? — спросил он во время очередной передышки.

— Нет.

— А у меня — да.

— Вам плохо?

— Нет. Мне очень хорошо. От этого и голова кружится, — Доминик долгим взглядом посмотрел на Терезу.

— Сколько людей прошло по этим серым ступеням... — Тереза поднялась на очередную.

— И каких разных. Блѣклых и ярких, — принял философскую эстафету Доминик, — злых и добрых.

В середине пути хорохорству обоим пришѣл конец. У Доминика сильно разболелась спина. Однако он старался не подавать виду. У Терезы скрывать боль получалось хуже. Совершенно невозможно было встать на правую ногу. Старик взглянул на Терезу. Она шла с потемневшим лицом, закусив губу. Даже её оливковый спортивный костюм, казалось, пожух, утратив цвет.

— Что делать? — спросил Доминик.

— Это я виновата, что увлекла вас своей дурацкой идеей, — сказала Тереза.

Они остановились. Кроме боли ещё одно обстоятельство делало поход невыносимым — свирепство жары.

— Проклятые метеорологи! — воскликнул Доминик. — Я нарочно назначил на сегодня, потому что они обещали прохладный день. И на тебе! Сволочи!

С Доминика рекой тѣк пот. С Терезы — ручьѣм. Доминик расстегнул рубашку, выставив напоказ серебристую грудь. При виде его полуобнажѣнного торса Тереза заметно взбодрилась.

— Снимите совсем, — властно сказала она, но тут же сконфузилась. — Я к тому, что жарко очень. Разденьтесь, не страдайте.

— Как-то неудобно идти голым, — Доминик поспешно стал застѣгивать пуговицы.

— Зачем? Ну, зачем же? Зачем застѣгиваете? Тепловой удар захотели? — И она судорожно принялась расстѣгивать ему пуговицы, которые он успел только что застегнуть.

— А вы? Почему такая закупоренная? — Он посмотрел на молнию через всю курточку.

— Мне холодно! — отступила на шаг Тереза. — Знобит меня.

Доминик удивлѣнно взглянул на свою спутницу:

— Что-то не похоже, чтобы вам было холодно.

— Но не могу же я вам сказать, что надела куртку поверх лифчика.

— Тогда понятно.

— Застряли мы тут с вами между землей и небом.

— Да уж... — Доминик глянул вниз. — Ровно посередине. Придѣтся спускаться, — вздохнул он.

— Ни шагу назад!

— Да, но ваша нога...

— У меня их две.

— Я возьму вас на руки.

— С вашей-то спиной? Нет уж! Как-нибудь сама доковыляю.

— Смотрите, дважды предлагать не буду.

— Кондотьер, хватит болтать. Командуйте.

— А вы не указывайте мне! — Доминик выпрямился. — Что ж, вперед, к небесам! Авось ещё полетаем.

На развилке внимание стариков привлекла табличка с указателями: к альпийским растениям — стрелка налево, к Часовой башне — стрелка направо. Мнения в команде разделились. Тереза настаивала на первом варианте:

— Умереть, так среди альпийских растений.

Доминик строго возражал:

— Отставить меланхолию! Не умереть, а победить и прийти к башне!

В итоге он убедил свою спутницу. Часовая башня Уртурм являлась символом города. Огромный циферблат, на котором почему-то большая стрелка показывала часы, а маленькая минуты, был виден издали.

Чем меньше оставалось до верха, тем сложнее давался каждый шаг.

— А какая ваша любимая актриса? — вдруг спросил Доминик.

— Роми Шнайдер.

— Почему?

- Она австрийка, как и я.
- Ну, у вас и критерии отбора. А актёр — Шварценнеггер, потому что он родом из Граца. Если я немец, то мне должно нравиться только немецкое? И женщины только немки?
- Но вы же давно живёте в Австрии, — Тереза перевела дух. — Значит, и австрийские тоже могут.
- Логика у женщин вне всякого разума, — Доминик не знал, то ли рассердиться, то ли рассмеяться. Он в очередной раз вытер лоб влажной салфеткой.
- Когда же будет обильной тени парадиз? — Тереза тоже промокнула лоб платком.
- Мы сами выбрали этот путь. Пусть он тернистый, но наш.
- Сколько пафоса! — рассмеялась Тереза. — А вы когда-нибудь взбирались на Шлоссберг подобным образом?
- Что я, дурак по-вашему? Нет, только вот так, — Доминик кивнул на трассу фуникулёра. В этом месте она была наиболее близко расположена к пешему пути наверх.
- Я тоже.
- А почему у вас возникла такая странная мечта — подняться на вершину пешком?
- А я желание когда-то загадала. — Тереза тяжело дышала, и слова ей давались с трудом. — Да и была-то я здесь, в Граце, на этой горе всего единожды.
- Ну да, вы ведь не местная. А что за желание?
- Так я вам его и сказала, — грустно вздохнула Тереза, но тут же прочла строки:
Беги, беги от мишуры обманной,
Расстанься с непотребной суетой,
И ты достигнешь пристани желанной,
Где неразрывны вечность с красотой.
- Вы что, карабкаетесь на вершину помирать? — с ужасом спросил Доминик, перегордив ей дорогу.
- А почему бы и нет?
- А ну, поворачиваем назад! Какие-то шальные мысли бродят в вашей идиотской голове с седыми буклями! А ну, немедленно! — взволнованный не на шутку старик крепко схватил Терезу за руку. — И не сопротивляйтесь, иначе я вас просто скину с лестницы.
- Отпустите же! Отпустите! Ну, отпустите же меня, наконец. — Тереза, бросив все запасы сил на освобождение, вырывалась из рук Доминика. — Да сколько же мощи в вас! Кому говорят, отпустите! Не то я вас покусую! Я серьёзно! Я новые зубы вставила. Зачем, думаете, я ходила в поликлинику?
- Вы новые зубы вставили? — старик ослабил хватку. — Я и не заметил...
- Простите, что не продемонстрировала!
- Значит, вы не собирались умирать на вершине, раз только-только зубы вставили?
- Да как бы я там умерла? Вы в своём уме? Или думаете, у меня с Богом договор? Кто знает минуту своей кончины?
- Ну, я думал... — замямлил Доминик, доставая одну салфетку за другой и непрерывно вытираясь ими, — может, у вас мечта такая — достигнуть вершины и погибнуть.
- Как?
- Спрыгнуть, например...
- Тереза закрыла лицо руками.
- Тереза, простите! Я чего-то не так понял. Дурак, дурак, дурак, старый причём! Просто я после ваших стихов...
- Это Христиан Гофмансвальдау.
- Удручённый Доминик не знал, какие слова найти в оправдание.
- Знаете что! — неожиданно резко заявил он, стукнув ладонью по ограждению, — стихи нужно знать соответствующие!
- Соответствующие чему? — Тереза присела на ступень спиной к Доминику.
- Чему, чему... Я тоже знаю стихи! — старик вытянулся, одёрнул рубашку, потёр уголки губ и начал декламировать:
— Туда! Туда!..
- Но вдруг передумал.

— Ну, дальше, — потребовала Тереза.

— Достаточно.

— Это из Гёте, что ли?

— Кажется.

Тереза встала со ступеней. Не говоря ни слова, она протянула влажную ладонь Доминику. Он взял её, и, подержав несколько секунд в своей, сжал.

Так, взявшись за руки, они и преодолевали оставшуюся часть пути.

— Вот она, колыбель Граца! — воскликнул запыхавшийся Доминик, едва они достигли башни Уртурм. Сердце колотилось так громко, словно внутри него забивали сваи.

— Кондотьер! Мы победили! — Тереза вскинула руки кверху. — Мы поднялись на гору!

С высоты открывался восхитительный вид на весь старинный город и его окрестности.

— Плачете? — Тереза положила руку на плечо Доминика.

— Вы в своём уме? Чтобы я плакал... — Старик коснулся глаз платком. — Добрались-таки, старые черепахи.

Он молча смотрел на красную черепицу домов, на возвышающиеся старинные башенки, на современные небоскребы.

— Ну что, вы довольны, старый солдат? — Тереза тоже не сводила взгляд с великолепной картины города.

— Как спокойно и тихо... — Он помолчал. — И какое счастье, что нет войны.

Они ещё долго стояли на одном месте скалистого горного выступа, прижавшись друг к другу, и смотрели вдаль — на край земли.

— А знаете, почему я привёл вас к Часовой башне? — Доминик перевёл взгляд на Терезу. Она в ответ покачала головой, всё ещё созерцая даль.

— Потому что здесь парень впервые целует девушку. Вы ж не местная, откуда вам знать? — И Доминик жадно припал губами к Терезиным. — Если вы намереваетесь сбросить меня с горы, то знайте — никуда я без вас не полечу, — первое, что сказал он, когда поцелуй закончился.

— Похоже, что здесь вместе вот с этим плющом, — Тереза указала на зелень, — вьются многочисленные любовные истории. — И она, достав из кармана брошь, приколола её к куртке цвета оливы.

— Отныне это ваша медаль за взятие Шлоссберга! — радостный Доминик чуть поправил украшение на груди Терезы.

Вернувшись домой после операции «Взятие Шлоссберга», вечером Доминик начал хандрить. Тело ломило, как при высокой температуре. Однако градусник показывал нормальную.

— Что за чёрт? — бормотал старый солдат. — Неужто такая мелочь — подняться на пятьсот метров — выбила меня из колеи? Может, я начал стареть?

Воспоминание о поцелуе на вершине Шлоссберга утешало его, наполняло сердце гордостью. Много лет назад Доминик приготовился к смерти, к желанной, ожидаемой, неминуемой. В ледово-адском Сталинграде. В другой раз это было в семидесятые, когда боролся с тяжёлой болезнью. В третий — после смерти Магды. Но сейчас, несмотря на свой почти девяностолетний возраст, он не готов был вот так взять и умереть. Сейчас, когда любовь появилась, как неожиданный дождь в пустыне, где так уже всё устоялось в своём однообразии, сейчас, когда касание плечом будоражит, словно в юности, сейчас, когда пришла женщина, которая, может быть, нужна была ему всю его прежнюю жизнь, его смерть явилась бы самым большим грехом в его жизни. Он хочет быть с ней, не час, не день, а месяцы и годы. Совершать безумные поступки, носить на руках, нянчить её правнуков. И жить, жить, жить! Так сильно хочется жить, как никогда раньше. Но только с ней! Иначе, к чему всё?

Доминик открыл старый скрипучий шкафчик, налил рюмку виски, выпил и повторил ещё, после чего лёг в постель. Как она там? Как себя чувствует? Думает ли о нём? Ему хотелось, чтобы Тереза, где-нибудь уединившись, предавалась воспоминаниям сегодняшнего знаменательного дня. Пусть она не выпускает из самых красивых на свете морщинистых рук его брошь, любит её и непрерывно думает о Доминике и завтрашней встрече. С такими радужными мыслями старик погрузился в сон.

Но ночь не принесла ему безмятежности, наоборот, снились кошмары. Тереза во всём белом махала ему рукой и исчезала в розовой дымке. Вновь появлялась и уплывала, стоя на спинах дельфинов, и он слышал её возглас:

— Прощайте, мой кондотьер!

Утром Доминик первым делом бросился к фотографиям Терезы, ему захотелось увидеть её веселую и озорную. Но старые потрескавшиеся фотоснимки, как казалось Доминику, не давали тепла.

Он заставил себя позавтракать и, едва дождавшись половины десятого, вышел из дома.

— Проклятые метеорологи! — проворчал старик, потому что прохлада, обещанная на вчера, пришла сегодня.

Доминик спохватился, что ни разу вчера не фотографировал, так фотоаппарат и пролежал в сумке весь путь. От взятия Шлосберга не останется у него запечатлённых счастливых моментов. Да, но они будут в памяти...

На пути к скверу Доминик по обыкновению купил «Kroner Zeitung». Усевшись на скамью, дабы отвлечься от тяжёлых предчувствий, принялся читать. Но ветер то и дело налетал, пытаясь вырвать газету из рук старика.

— Может, тебе по морде дать? — сказал Доминик ветру. — Чего привязался?

Он прочёл пару страниц перед тем, как свернуть газетный номер, но спроси старика про написанное, не ответил бы. Глаза его блуждали мимо строк, поскольку все мысли были только о Терезе.

— Лежит себе сейчас, руки на груди, мордочка ангельская. Наследники радуются. А мне как дальше жить?!

Доминик поднял голову к Деве Марии.

— Ты отвернулась от нас в Сталинграде. Ладно, согласен, русский прав, нас туда никто не звал. И мы получили по заслугам. Но теперь-то!..

Ветер чуть утих, а потом снова встрепенулся со страшной силой. Полетел вверх тормашками мусор. Мелкий, незатейливый, словно извиняющийся дождь мужал и креп. Вот уже и барабанная дробь слышна по деревянной скамье. Сквер понемногу пустел. Соседи с лавок нехотя поднимались и, теряясь в сомнениях, смотрели в небо. Правильно ли что уходят, вдруг постучит дождь, постучит, да и солнце покажется. Но солнце и не думало появляться.

Доминик, обхватив голову руками, сидел, не шевелясь. Никого уже поблизости не было, но это его мало волновало. Деревья за спиной скрипели и стонали. Чёрная туча зависла над всем округе — деревьями, фонтаном, Домиником, золотой Богородицей.

Старик закрыл глаза. Больше он сюда уже не придёт, даже если и проживет ещё не один год.

— Простите, я, кажется, немного опоздала.

Доминик открыл глаза. Перед ним под большим зонтом, в коричневом плаще стояла Тереза. Живая. Довольная. И даже вполне здоровая. Его брошь светилась у неё на груди. И он с какой-то особой пронзительностью увидел, какие небесные у неё глаза. Хоть и маленькие.

— Знаете что! Убить вас мало!

Тереза в ответ расхохоталась.

— Чему, чему вы радуетесь? — Доминик был вне себя от злости.

— Как чему? Вам, дождю, снова вам.

— Перестаньте хохотать! Почему вы опоздали. Вам было плохо?

— Мне было хорошо, как никогда в жизни.

— Правда? — Доминик недоверчиво оглядел Терезу. Капли дождя стекали с его взъерошенных мокрых волос.

— А почему мне должно быть плохо? Может, это вам было плохо, кондотьер?

— Почему же тогда вы опоздали?

— Да проспала я! Что, женщине нельзя проспать и прийти на свидание чуть позже? Всю ночь не могла заснуть. Думала. Как вы думаете, о ком?.. Вот и проспала. Ой, какой вы мокрый и смешной! Вставайте под зонт, вставайте же!

Доминик подчинился её приказу. Они стояли лицом друг к другу, близко-близко, и казалось, что вдох одного является выдохом другого.

— Какая вы красивая! — Доминик не мог оторваться от Терезы. А затем, не сдерживаясь, стал покрывать её лицо поцелуями так же бешено, как неистовый дождь стучал по их укрытию.

— Наконец-то и плащ пригодился, — чтобы скрыть смущение, сказала Тереза, когда шквал его поцелуев окончился.

— А теперь скажите, что у вас была за мечта? Что вы загадали, думая о взятии Шлоссберга?

— Мечта? — Тереза приподняла зонт и посмотрела на небо. — Мечта? Так она уже осуществилась.

— Уже осуществилась? Прекрасно! Значит, у вас всё в порядке, и вы полностью здоровы? Ну, тогда вперёд — к новым испытаниям и победам!



Поэзия

Галина Димитрова

Галина Димитрова родилась в Ленинграде. Окончила ленинградский институт культуры, библиотечное отделение. Много лет назад переехала в Янтарный край и буквально влюбилась в Балтийское море. После окончания института пришла работать в Калининградскую областную научную библиотеку библиографом, где трудится по сей день в должности заместителя директора. Публиковалась в местном еженедельнике «Страна Калининград» и в журналах: «Балтика», «Калининградка», альманахе «Эхо», в московском альманахе «Фиолетовая трава», в детских журналах: региональном «Мур-р+», в электронном проекте «Бродячий заяц», в журнале «Радужные пузыри».

Замерзшее море

Я шла по морю, будто посуху, —
Замерзла Балтики вода,
Мороз своим волшебным посохом
Ваял торосы из льда.

И нереальными картинками
Взывало море: «Наступай!»
А волны шелестели льдинками,
Лаская вымерзший припай.

Стихия в плен морозом скована,
Как после ядерной войны.
Свободу морю! Заколдовано
Оно недолго. До весны...

Калининграду

Я с этим городом срослась,
Как небо с морем.
И хоть я в нем не родилась,
Меж нами родственная связь
В любви и в горе.

Сменялись годы и вожди,
Менялся город...
Люблю я по нему бродить,
И пусть в нем часто льют дожди,
Но он мне дорог.

Я полюбила этот край
С его природой,
А, если надо выбирать,
Его я выберу опять —
И до исхода.

Ноябрьское море

Море ноябрьское серого цвета,
Чайки настырные спрятались где-то,
Не вдохновляет полет над волною,
Видно, скучают по летнему зною.

Дождик нахальный весь день моросит,
Серое небо над морем висит.
Мир ноября до чего ж неприветлив!
Я заколдована серостью этой.

Скоро природа обрушится снегом...
Но буду ждать, когда солнцем и негой
В мареве синем весеннего дня
Море мое расколдует меня.

Мечтает девчонка

Мечтает девчонка на желтом песке,
И в синих глазах отражается море.
Мечтает девчонка о том пареньке,
Что в жизнь ее вносит и радость, и горе.

А волны бушуют, а волны грохочут,
Соленые брызги швыряют в лицо.
И солнце сверкает, и ветер клокочет
Любви безответной свободным певцом.

И в сердце ее беспокойном тревожно:
Какие-то дали открыты давно,
А он — он все время такой невозможный,
Такой непонятный, как море одно.

В прозрачной дали появляется парус,
И медленно в небе ползут облака.
А здорово было б услышать на пару
Чудную шуршащую песня песка.

Ну что ему стоит понять и поверить,
Сказать ей: «Люблю, не могу. Только ты!»,
Прийти, незаметно ступая, на берег,
Подслушать девчоночьи эти мечты,

Побыть с ней на светлом свободном просторе,
Держать ее нежную руку в руке...
Но нет его — лишь беспокойное море.
Девчонка мечтает на желтом песке.

Море

Тогда был теплый майский день,
И я, расставшись с каблуками,
Стремглав бежала по воде
И волны трогала руками.

Смеясь, чертила на песке
Чудные буквы-закорючки,
Довольна тем, что вдалеке
Нигде ни облачка, ни тучки.

А море на закате дня
Янтарные дарило крошки,
С весельем брызгалось в меня
И изгибалось, словно кошка.

А море! Нет, не передать —
Такая чувствовалась сила:
Романтику руками взять,
Мечту вдруг ухватить за крылья,

За горизонты поглядеть
Сквозь волн веселую погоню
И даль немножечко задеть,
Пригоршню моря взяв в ладони.

Жизнь моя

...Жизнь — это то, что происходит с тобой,
пока ты строишь другие планы...

(Джон Леннон)

А жизнь моя — почти роман,
То интересный, то не очень,
Сентиментальный и порочный,
В нем есть и правда, и обман.

Сама б я написала строго,
Красиво, правильной строкой,
Но не получится такой —
Соавторов уж слишком много.

В нем есть вступление — залог,
Что часть продлится основная,
А чем все кончится, не знаю,
Ведь не написан эпилог.

А, впрочем, и не нужно знать,
Что в эпилоге этом будет,
И сколько мне различных судеб
Еще придется описать.

Появятся другие лица
На неизведанных листах,
А я с улыбкой на устах
Пишу страницу за страницей.

Любовь сильнее смерти

Он лежал, глаза уставив в небо,
Не дожил чуть-чуть до двадцати.
Неужели все? Конец пути...
В жизни этой он почти что не был.

Вдруг склонилась женщина над ним,
Расправляя белые одежды:
— Ты, солдат, не потеряй надежду,
Выживешь, коль попадешь к своим.

Шевелись, солдат! Пройдет гроза,
Ты увидишь рыжую девчонку,
И веснушки, и смешную челку,
Голубые как лазурь глаза.

Повернулся, отгоняя боль,
И пополз, сжав кулаки до хруста...
Метров пять — и вот заветный бруствер...
Прохрипел солдат:
— Вы кто?
— Любовь.

Я прошу тебя, солдат, живи!
Должен ты еще меня изведать.
Будешь жить, отпраздновав победу,
И во имя будущей любви.

А когда уже кончались силы,
Подскочила санинструктор Сашка
И, поправив рыжую кудряшку,
До своих солдата дотащила.

Сразу мысли черные забылись.
Вот его отправят в медсанбат.
И спасут. Послышалось:
— Солдат,
у нее глаза-то голубые...

Лунная дорога

Который день снежит, пуржит и вьюжит,
Вокруг все белым снегом замело...
Но этой ночью снег устал. И тут же
Луна вдруг улыбнулась сквозь стекло
Все в зимнем мире будто опустело, —
Лишь свет струится серебром на белом.
На небе темном звезд совсем немного,
А белый снег сверкает как хрусталь.
Куда ведешь ты, лунная дорога?
Заманиваешь в призрачную даль.
И этот лунный свет, как очумелый,
Волшебным серебром блестит на белом.
Растает снег. Зима не будет вечно,
Каштан у дома снова расцветет,
И лунная дорога в бесконечность
Иных миров прекрасных приведет.
А дивный лунный свет там, за пределом,
Струиться будет серебром на белом



Публицистика

Дмитрий Стахорский

Дмитрий Васильевич Стахорский родился в 1937 году в Харькове. После окончания Донецкого политехнического института работал геологом в Забайкалье — на поисках золота, а с 1966 года — в Воркуте — на разведке угольных месторождений Печорского бассейна. В 1974 году окончил Литературный институт имени Горького. С 1982 года — член Союза писателей РФ. Автор нескольких книг художественной прозы, театральных и радиопьес, публикаций в журналах, альманахах, коллективных сборниках. С 1994 года живёт в Трубчевске Брянской области.

Украина — печаль и надежда

Всегда в этом мире хватало у России недоброжелателей, а то и просто откровенных врагов. С началом текущего века их сильно прибавилось за счёт бывших друзей — от Прибалтики, Польши и прочих «сбросивших иго» восточных европейцев до родной Украины. Печально и в то же время смешно было слушать, как угнетали москали бедных хохлов, как насильственно насаждали свою культуру и свою москальскую мову, и как виноваты они, «кляті москалі», во всех бедах, постигших народ украинский за его многовековую историю...

Я родился в Харькове и прожил там первые свои 18 лет. В школе, кроме математики, физики и прочих наук, нам в равной мере и в равных объёмах преподавали русский и украинский языки, русскую и украинскую литературу: от Пушкина до Симонова с Твардовским и от Тараса Шевченко до Тычины с Сосюрою. Писали мы диктанты и сочинения, сдавали устные экзамены. И в голову никому не могло прийти эти два языка и две эти богатейшие культуры как-то противопоставить друг другу. Оба языка я знал с детства.

Родиной мамы моей тоже была Украина — маленькая деревенька на Сумщине с нежным названием Кулики. Каждое лето на все школьные каникулы она отправляла нас с младшим моим братишкой Гошкой туда, к односельчанам своим, друзьям юности — дышать хвойным воздухом сосновых лесов, пить целебное козьё молоко и тем поправлять ослабленные войной и послевоенной проголодью детские организмы.

Это были счастливые бесконтрольные времена. Мы дружили с босоногой деревенской пацанвой, вместе совершали пиратские набеги на сады, огороды и бахчи, часами барахтались в местной речке Псёл до дрожи в теле и перещёлка зубов, и единственное, что каждый раз поначалу слегка напрягало — это переход с харьковского русского языка на местный украинский. На этот переход уходило обычно не больше недели, но каждый раз — через насмешки ребятни. Потом всё становилось на свои места. И точно такой же переход приходилось переживать вторично — по возвращении в Харьков, когда начинались занятия в школе, и снова нужно было переходить на русский. Так формировалось моё двуязычие...

В нашем роду по материнской линии все мужчины были охотниками, и это, видимо, с лихвой мне передалось. Начинать я с рогатки и самодельного лука. В 10 лет мне подарили «воздушку», и я во главе ватаги местных огольцов в послевоенном голодном Харькове стрелял воробьёв во дворах. На берегу городской речушки по имени Лопань, общипав и проткнув тушки палочками, мы жарили их на костре и с аппетитом съедали. При этом я всегда поровну делил добычу на всех, и только Гошке неизменно оставлял двойную порцию. Никто не возражал. Гошка был самым маленьким и часто болел. А главное — он был моим братом.

В 16 лет я получил в подарок от мамы настоящее ружьё — двустволку 12-го калибра. К тому времени у меня уже было в Харькове много знакомых охотников. Они брали меня, ещё с «воздушкой», на взрослую охоту, я жадно учился у них, опытных, бывших фронтовиков, этому древнему мужскому занятию. Теперь же, с настоящим ружьём, я уже приносил с охоты домой трофеи, и это было хоть и небольшим, но подспорьем для семьи в то трудное полуголодное время...

Тогда не было телевизоров, тем более — интернета, и, познавая мир, мы жадно читали книги. Я открывал для себя увлекательную вселенную героев Джека Лондона и Свифта, Стивенсона и Мелвилла, Жюль Верна и прочих певцов морской романтики. И созрела во мне мечта — увидеть море! Увидеть чарующую безбрежность до горизонта, окунуться в неё, ощутить вкус солёной морской воды, омывающей в огромном мире далёкие острова и континенты...

Была весна, назревали каникулы, предстояло душное лето в Харькове. Нас, повзрослевших, в Кулики уже не отправляли. И всё более овладевала мною эта мысль — вдвоём с Гошкой добраться до Чёрного моря, ближайшего к Харькову настоящего моря. По карте выходило: иди вдоль Днепра, не заблудишься. Что брать с собой в дорогу, я знал, охотничий опыт не прошёл зря. Была, правда, проблема — какие-то деньги нужны на дорогу, хотя бы на первое время. Мать работала на двух работах, опекать нас особо было некогда, и она ежедневно оставляла нам несколько рублей, чтоб пообедать в столовке. Мы экономили часть этих денег, ели по минимуму, и когда набралась какая-то сумма, собрались в путь.

Мы объявили, что идём на охоту. Мать не удивилась, обычное дело, не в первый раз. Была у нас карта Украины из школьного географического атласа, был простенький компас, ружьё с патронами, «воздушка» для Гошки, и в рюкзаках — запасная тёплая одежка для ночёвок под небом и армейский котелок с двумя кружками. Деньги на обратную дорогу я зашил в подкладку штормовки, чтобы не было соблазна потратить их раньше времени.

Из Харькова до Днепропетровска мы добрались «автостопом» на попутных машинах, и с первой попавшейся почты отправили домой открытку: «Мама, не волнуйся, мы идём к Чёрному морю». Только годы спустя я смог представить себе, сколько седых волос добавила матери эта наша открытка. Но уже тогда хватило ума посылать такие открытки из каждого города по пути следования: «Прошли Запорожье... Прошли Николаев... Каховку... Херсон...» и наконец — «Мы на море!!!» — с тремя восклицательными знаками.

Маршрут наш, как и было задумано, проходил вдоль Днепра — где пешком, где на попутных грузовиках, а где и по воде, на речных пароходиках, которые работали и как переправа на другой берег, и как водный транспорт вниз по течению, от дебаркадера до дебаркадера. Мы покупали за копейки билеты якобы для переправы, прятались в глубине трюмов и плыли, пока нас не обнаруживали и не высаживали на берег.

Мы охотились на уток в днепровских плавнях, заходили в прибрежные хутора и деревни и продавали эту битую дичь городским «дачникам», отдыхающим у своих сельских родственников или просто снимающим угол в деревенской хате на время отпуска. Этот «заработок» кормил нас в пути и позволил сохранить деньги, зашитые в подкладку, на обратный путь домой.

Мы прошли в то лето через всю Украину, с севера на юг, прошли практически пешком и узнали её, родину свою, по-настоящему, изнутри. Женщины в деревнях поили нас парным молоком, давали в дорогу хлеб, яйца, варёную картошку, вздыхали, как далеко мы ушли от дома своего («Ой, лышенько, дэ ж той Харків ваш, так далёко зайшли!») и переживали, как будем возвращаться. Мы говорили с ними на их родном языке, который и для нас был родным, с русским наравне, и я, мальчишка, понял тогда и навсегда запомнил, как добр, бескорыстен и доброжелателен народ моего отечества, простой народ Украины...

Мы достигли, наконец, самого что ни на есть открытого моря, добрались до небольшого городка (тогда это было село) под названием **Железный порт**. В кузове старого грузовика, везущего с рынка **Голой пристани** домой местных старух, мы познакомились с одной из них, помогли ей донести до её хаты покупки и договорились несколько дней пожить, покататься в море и помочь по хозяйству. Был у неё муж, серьёзный такой, обстоятельный старик, который ко всему подходил философски, уважал всякие науки и много лет ежедневно записывал в толстую тетрадь текущую погоду: давление (старинный aneroid висел на стенке в горнице), температуру (термометр за окном) и направление ветра (самодельный ветрячок на шесте и выдавший виды морской компас на комод).

Но всё это мы узнали потом. А тогда, едва сгрузив бабкины покупки и дотасив их до хаты, мы побросали рюкзаки в отведённый нам для житья закуток, побежали к морю, и нас тут же арестовали пограничники. На заставе, куда нас привели, личный состав играл в футбол. Нас посадили на скамейку «до выяснения».

— Эй, пацан! — крикнул мне капитан одной из команд. — В футбол играешь?

Какой пацан не играет в футбол?! Но я не любил бегать, поэтому предпочитал стоять на воротах. И поэтому же всерьёз потом занимался боксом, чтоб не бегать самому, а чтоб бегали, если что, от меня. Впрочем, за дворовую команду на воротах стоял неплохо.

— Играю, — сказал я. — Вратарём.

— О, то что надо! Давай, становись!

И пока в штабе изучали мой паспорт и Гошкину метрику, выясняя, не шпионы ли мы, я стоял в воротах одной из команд и взял несколько неплохих мячей.

Мы прожили у стариков около двух недель и успели за это время не только вдоволь накупаться в море и загореть до черноты, но и убрать нехитрый урожай на участке наших добрых хозяев, помочь деду отремонтировать старый сарай, а также сбить и пригнать по месту новую дверь земляного погреба во дворе.

Время пролетело мгновенно, пора было собираться домой. Старики прощались с нами, как со своими детьми или внуками, собрали в дорогу всяческой еды, приглашали приезжать ещё. Они тоже стали для нас родными людьми, и долго потом мама наша переписывалась с ними и посылала им туда посылки. И они ей писали, просили прислать что-то, что можно было найти в Харькове и чего не было там у них, в прибрежной деревне.

Это было достойным завершением похода, давшего мне на всю жизнь ощущение сопричастности к родной украинской земле и душевным людям её...

А потом я учился в Донецке, в политехническом, на геолога, и уже пробовал себя в литературе — писал патриотические стихи на русском языке в местные газеты и лирические на украинском... студентке пединститута. Она была родом из деревни под Купянском, говорила только по-украински, и это ничуть не мешало нашему общению — мы прекрасно понимали друг друга и просто не замечали, что говорим на разных языках.

Это был Советский Союз, русскоязычный Харьков, русскоязычный Донбасс, и в то же время это была Украина, язык, историю и культуру которой мы впитали с детства и не представляли себя в ином человеческом пространстве...

Прошло много лет. Я искал месторождения железа и золота в Забайкалье, работал на угольной разведке в Большеземельской тундре, в Воркуте, я тридцать с лишним лет не видел, как вишня цветёт, и пришло время возвращаться в родные края, на землю моих предков, пора было подумать о конечной пристани своей жизни. Но случилась история, закрывшая мне дорогу в страну, где я родился и прожил первую треть своей жизни...

На Сейде, под Воркутой, работал главным механиком геологоразведочной партии Дима Федюк. Специалист классный, до этого прошёл хорошую школу на угольных разведках Кузбасса, Казахстана и Сибири, и к началу 1990-х трудовой путь его подходил уже к пенсионному завершению. За все эти годы скитаний по России Дима так и не избавился от своего хохляцкого акцента, представляясь, говорил: «Дмытро Хведонюк», и за километр, что называется, веяло от него щирым украинским хлопцем.

И была у Димы мечта — после выхода на пенсию вернуться на родную Житомирщину и заняться потомственным от дедов и прадедов делом — пчеловодством. Он готовился загодя. Ездил специально в Воркуту, заказывал в каких-то мастерских ульи, рамки, всё, что нужно для будущей своей пасеки, поездом привозил на Сейду и до поры хранил всё это на складе среди керновых ящиков.

Наконец, пришёл срок. Мы торжественно проводили Диму — с застольем и тостами, по доброму позавидовали ему, что уезжает с Севера, погрузили ульи его и пожитки в специально арендованный товарный вагон, и пошла наша геологическая жизнь своим чередом уже без него.

А через какое-то время появляется Дима опять на Сейде. И рассказывает, как встретила его рідна Україна.

Приехал он в свой городок под Житомиром, пошёл оформляться в местную жилконтору на постоянное, наконец, жительство в родных местах — где прошло его детство, где покоятся предки на местном кладбище и где самому предстояло встретить старость. И получился такой разговор:

— Ты дэ народывся? — спросил его местный чиновник.

— Та отут же и народывся, — бодро отвечал Дима, не подозревая подвоха. — У цьому мисти.

— Ага. А вчився дэ?

— У тутэшний школи, а пóтим — у Кыїві, в институти.

— Ага. А робыв дэ?

— Ну, у Сибири, у Кузбаси, на Воркути.

— Ага. Мы тэбэ народылы, мы тэбэ вывчылы, а ты усэ життя на москалив проробыв? Так ото шоб знав: нэ будэ тут тоби ни пропыскы, ни пэнсии. Чимчикуй туды, видкиля прыйихав.

И рухнули мечты Дмытра Хведонюка о спокойной старости в родных краях, рядом с могилами предков и с долгожданной пасекой на берегу ставка, заросшего очеретом...

Рухнули и мои планы вернуться на Украину. Хоть Харьков и не Житомир, а всё ж неуютно как-то вдруг оказаться таким вот чужаком на родной земле «бэз пропыскы та пэнсии». По тайге да по тундре шли мои жизненные маршруты, и чтоб хотя бы увидеть, как вишня цветёт по весне, выбрал я для конечной своей пристани почти пограничный с Украиной Трубчевск. Не жалею. Трудно жила моя родня в Харькове после обретения «нэзалэжности», измордовали рідну Україну временщики с их патологической ненавистью ко всему русскому, выросли новые поколения под знаком этой ненависти. До нелепости, до парадоксов всё это доведено. Один из главных ненавистников России — русофоб по фамилии **Москаль**. Не удивлюсь, если объявится антисемит по фамилии **Жид**. Театр абсурда...

Короткая память не даёт им возможности вернуться к истокам и осознать, наконец, что нечего нам делить в этом мире. Что все мы — дети Великой Руси, рождённой тысячу лет назад волею исторической неизбежности единения славянских народов. И что выжили, может быть, во всех передрыгах истории именно благодаря тому, что были едины в самых суровых испытаниях, выпавших на нашу долю. Не могут или не хотят всё это осознать... Но вот забрезжил рассвет. Вопреки всем мировым силам зла, вернулись в Россию Крым с Севастополем, пробуждается мой родной Донбасс, исхоженный в студенческие годы геологическими и охотничьими маршрутами. Потомки тех добрейших женщин, поивших нас с Гошкой парным молоком, стряхивают постепенно это антирусское наваждение последних десятилетий и начинают понимать, кто им враг, а кто друг. Очень хочется верить, что помешать этому уже невозможно.



ОТ ЧЕРВОННОЙ РУСИ ДО ПЬЕМОНТА УКРАИНСТВА

Галицкая земля была западной окраиной Русского мира, она граничила с католическими королевствами Польшей и Венгрией, которые постоянно покушались на русские земли. Впервые эти земли древних русских племен тиверцев, уличей и белых хорватов выделились в отдельное княжество в 1097 г., после съезда князей в Любече. В 1099 г. Галицким княжеством завладел волынский князь Роман Мстиславич, который объединил оба княжества.

Захват Киева в 1202 г. сделал Киевское княжество зависимым от галицко-волынского князя. Своей победой над половцами в 1202 г. князь усилил позиции Галицкой Руси в Северном Причерноморье. Современники воспринимали Романа Мстиславича как главу всех русских земель и называли его не только Великим князем, но и «Самодержцем всея Руси».¹ Роман Галицкий впервые в русской истории удостоился подобного титула. Киевский архимандрит Иннокентий Гизель (+1684) в «Киевском синопсисе» объясняет это тем, что Роман Мстиславич, князь Галицкий, престол киевского самодержавия перенёс из Киева в Галич, в связи с тем и стал всей Руси самодержцем.² В 1238 г. его сын Даниил Галицкий присоединяет к своим владениям Киевское княжество. Даниил стал последним владетелем Киева домонгольского периода. Он посадил в Киев наместником боярина Дмитра. К тому времени Киевское княжество не представляло серьёзной политической силы и было объектом борьбы между владими́ро-суздальским и смоленскими князьями.

В это время в русские земли вторгаются татаро-монголы. В 1237—1238 гг. они опустошили рязанские, владимирские и суздальские земли. В 1240 г., сломив ожесточённое сопротивление горожан во главе с Дмитрием, они захватили Киев. Затем татаро-монгольские войска двинулись в Юго-Западную Русь. Даниил не только восстановил государственность, но сумел значительно расширить пределы своего княжества, хотя и потерял Северо-Западное Причерноморье. Даниил и его потомки активно участвовали в политической жизни соседних государств, поддерживая своих союзников. Татаро-монголы, считаясь с силой княжества, вынуждены были обращаться с галицкими правителями более корректно, чем с другими русскими князьями. К сожалению, Даниилу Галицкому не удалось, несмотря на постоянные попытки, освободить Русь от монголо-татарского ига.

Даниил пытался создать коалицию против татаро-монгольских ханов, но после разгрома в 1252 г. войска Великого князя Андрея Ярославича мог надеяться только на военную поддержку Запада.³ Приняв решение короноваться, Даниил отложил вопрос о соединении церквей, по свидетельству известного русского духовного писателя А.Н. Муравьева (1806—1874) до решения Вселенского собора.⁴ Однако соглашение, оформленное в Дорогичине, так и не было выполнено: в 1253 г. Даниил известил курию о приближении татаро-монгольских полчищ, но папа ни Швецию, ни Данию, ни Орден, ни немецкие земли в поход не призвал. Не татары в то время волновали папу, а вопросы церковной унии и восставшие племена пруссов. Поняв тщетность своих усилий во введении унии, папа в булле от 13 февраля 1257 г. грозит князю Даниилу церковными карами и «оружием верных». Но напрасными оказались увещевания и угрозы папы. Даниил до конца своей жизни остался в Православии. Все его отношения с папой, продолжавшиеся около десяти лет, окончились для папы ничем. «Из всего хода дела видно, что главная цель при этих сношениях для нашего князя постоянно была одна: получить от папы достаточную помощь для освобождения своего народа из-под владычества монголов — цель вполне достойная истинного патриота!», —

¹ Полное собрание русских летописей (далее – ПСРЛ): Т. II. Ипатьевская летопись. Москва, 1962, с. 715.

² Келейный летописец святителя Дмитрия Ростовского с прибавлением его жития, чудес, избранных творений и Киевского синопсиса архимандрита Иннокентия Гизеля. Москва, 2004, с. 448

³ Вернадский Г.В. История России. Монголы и Русь. Тверь-Москва, 2004, с. 153.

⁴ Пашуто В.О. О политике папской курии на Руси, с. 64—65.

отмечает митрополит Московский и Коломенский Макарий.¹ Даниил Галицкий «старался по возможности утратить раны отечества», стал восстанавливать многие города и церкви.² Ему принадлежит инициатива создания Почаевской мужской лавры в честь Успения Пресвятой Богородицы. По преданию, она была основана иноками, ушедшими из Киева от татарского разгрома.³ В 1246 г. Даниил Галицкий послал Кирилла, своего ближайшего сподвижника, боярина, «печатника» (канцлера), в Никею для посвящения в сан митрополита Киевского и всея Руси. Никогда ещё выбор пастыря не мог быть удачнее, считает А.М. Муравьев.⁴

Начиная с конца XIII в. Даниловичи – Лев и его сын Юрий – прилагают много усилий, чтобы улучшить внутреннее положение страны. Именно в XIII в. впервые появляется название Малая Русь. В те времена Малой Русью называли Галицкую, Волынскую и Туровскую земли.⁵

В 1303 г. Константинопольский Патриарх по настоянию Юрия I учреждает в Галиче митрополию кафедру, называя нового прелата митрополитом Малой Руси. В 1308 г. Юрий, подобно великому деду, отправил галичанина Петра к Константинопольскому Патриарху для посвящения в митрополиты всея Руси. В связи с разорением и почти совершенным уничтожением монголо-татарами Киева святитель Петр сначала перевёл свою кафедру во Владимир, а со временем окончательно переселился в Москву, тем самым положив начало митрополии Московской. По установленной традиции и по сей день при интронизации Патриарха Московского и всея Руси ему вручают посох святителя Петра.

Хотя после смерти прямых наследников Даниила большая часть его государства оказалась захвачена Польшей и Литвой, русинов не постигла участь ассимилированных немцами пруссов. Даже в составе других государств Галицко-Волынская Русь в XIII—XV вв. в той или иной мере продолжала жить по русскому праву.⁶ Литву-победительницу, по меткому выражению академика Б.Д. Грекова, взяла в плен побеждённая Русь — победила более высокая культура Руси.⁷

Только после образования Речи Посполитой (Люблинская уния, 1559) и навязывания церковной унии (Брест, 1596) начинается усиленная полонизация населения Западной Руси. Эта проводимая много столетий политика польских католических кругов со временем привела к размыванию национальных ценностей русинов.

В 30-х гг. XIX в. Франтишек Духинский вместе с другими деятелями польского движения Гордонном и Винницким начал вести среди населения Малороссии пропаганду, чтобы «напомнить Малой Руси о Польше». В своей книге «Основы истории Польши и других славянских стран, а также истории Москвы» Духинский проводил мысль о родстве украинцев с поляками, говоря об антагонизме между славянской польской и «финно-монгольской» московской культурами. Подстрекая иностранные державы к борьбе против России, Духинский уверял их, что Россия, несмотря на внешние признаки европейской цивилизации, остаётся азиатским, опасным для Европы государством.

Последователем Духинского был М. Грушевский, чьи историко-политические взгляды нашли отражение в его многотомной и не менее претенциозной «Истории Украины-Руси». Известно, что в начале XX века по заданию австрийских властей Грушевский работал над созданием «научного» украинского языка, причём действовал настолько беспринципно, заменяя русские слова польскими или выдуманными, что поругался со своим наставником И. Нечум-Левицким, который полагал, что «языкотворчество» должно происходить хотя бы «на народной основе», опираясь на сельские говоры». Именно Грушевский предложил выбрать в качестве герба УНР «трезубец» Рюриковичей, сохранившийся и на теперешнем украинском гербе, отмечая, что «постоянного герба Украина никогда не имела», и лучшим символом, по его мнению, будет именно этот знак.⁸ Такой герб должен был подчеркивать идею «преемственности» Украины и Киевской Руси, которую Грушевский активно развивал.

¹ Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. История русской церкви. Книга 3 (1240-1448). Москва, 1995, с. 334.

² Там же, с. 104, 143.

³ Волынь. Исторические судьбы юго-западного края. Издано П.Н. Батюшковым. Санкт-Петербург, 1888, с. 22.

⁴ Муравьев А.Н. История российской церкви с. 92.

⁵ Вернадский Г.В. История России. Монголы и Русь, с. 208.

⁶ Греков Б.Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века. Москва-Ленинград. 1946, с. 389.

⁷ Там же, с. 258-259.

⁸ История Герба Украины // Наука и жизнь, 1994, № 5.

Современный российский историк, автор ряда публикаций по истории Древней Руси Всеволод Меркулов утверждает, что нынешние украинцы не связаны с населением Киевской Руси, которое было почти полностью уничтожено монголо-татарами. Согласно установленным археологическим данным, погибли почти все населённые пункты, причём сейчас неизвестно, как даже назывались многие из них. Остатки русского населения переселялись в северные районы, в основном лесные, не возвращаясь обратно из-за постоянной угрозы набегов кочевников. Киевщина надолго получила название «дикого поля»¹. С XVI века здесь начали складываться исторические области нынешней Украины с новыми людьми и новыми традициями.

Выдающийся ученый Д.К. Зеленин доказал, что народы финно-угорской группы, которые действительно населяли некогда лесные северные районы европейской территории нынешней России, во времена образования здесь русских княжеств в XII—XIII вв. были вытеснены и до сих пор сохранились в районах Поволжья. Вопреки желанию отдельных украинистов представить русских потомками финно-угров, эти народы и по сей день сохраняют свою идентичность, отличную от русской.

Ни один из антропологических типов нынешней Украины (их состав достаточно чётко подразделяется по границам исторических областей) не соответствует древнерусскому антропологическому типу, представленному в захоронениях эпохи Киевской Руси. В этом состоит одно из непреодолимых доказательств, опровергающих предположения о преемственности Украины и Древней Руси.² Облик теперешнего населения Украины сформировался значительно позднее. Кстати, былины о Киевской Руси, о князе Владимире и богатырях были записаны на Русском Севере (преимущественно в Архангельской и Олонецкой областях-губерниях), а украинский фольклор Киевской Руси не знает и вообще не помнит о событиях ранее XVI века.

Кроме того, современная украинистика не учитывает того важнейшего факта, что существование карпатских русинов, отличных от украинского населения, сохранивших национальную русскую идентичность, — это яркое опровержение многочисленных измышлений и ещё одно непреодолимое доказательство того, что Украина не является исторической преемницей Руси.

На территории Украины действительными носителями древнерусского культурного наследия являются именно русины. В исторических документах, например, в «Русской Правде» словом «русин» (Руси сын) обозначался просто русский человек. Знаменитый автор «Слова о законе и благодати» митрополит Илларион назывался «русином». Несмотря на многовековое существование в составе различных государств (особенно Австро-Венгрии), оторванность от России и украинизацию, русины сохранили русское этническое самосознание, русский язык и православную веру. В.М. Разгулов справедливо писал, что на протяжении многих столетий они «шли на невероятные жертвы только за то, чтобы называться русскими»³.

С середины XIX века в Галичине и австрийской части Буковины начался процесс национального возрождения русинов. Он вызвал размежевание в русинской среде. Единые до того русины начали делиться на народовцев (украинофилов) и русинов-русофилов (москвофилов). Первоначально как народовцы, так и русофилы называли себя русинами, хотя понимали название своей национальной принадлежности по-разному.

К началу Первой мировой войны народовцы Галичины уже имели свою организацию «Головна Українська Рада», которая объявила Россию главным своим врагом и призвала всех своих сторонников воевать против России, которая в начале войны на Галицком фронте воевала очень успешно. Война началась в начале августа 1914 г., а к октябрю этого же года русская армия уже заняла всю Галицию, австрийскую часть Буковины и занимала эти территории до середины 1915 г.

В свою очередь, русины в 1914 г. в Киеве создали свою организацию под названием «Карпатский освободительный комитет»⁴. Этот комитет выпустил брошюру под названием «Современная Галичина», в которой он представлял украинское движение как несерьёзную штучную интригу украинской интеллигенции, которую поддерживала австрийская власть. Подавляющее большинство галицких, буковинских и угорских русинов, призванных в австрийскую армию и

¹ Кузьмин А.Г. История России с древнейших времен до 1618 г. Кн. 1. Москва, 2003, с. 331-341.

² Меркулов В. Тенденциозное освещение истории Руси в современной украинистике // Русин, 2005, № 2 (2).

³ Разгулов В. Ф. Аристов и Карпатороссия, 2001, с. 3.

⁴ Гунчак Т. Україна, с. 64-69.

вынужденных участвовать в боевых действиях против России, с самого начала войны поголовно сдавались в плен русской армии. Это общеизвестный факт. В то же время отсутствуют данные даже о единичных случаях перехода малороссов и русинов, воевавших в русской армии, на сторону немцев и австрийцев, даже несмотря на агитацию украинских националистов. Австрийское командование принимало драконовские меры, чтобы приостановить массовую сдачу в плен, заставить воевать галицких русинов (повальные аресты и ссылки в концлагеря, пытки, казни). Но ничего не помогало. Большинство населения встретило русскую армию доброжелательно, охотно сотрудничало с русской военной администрацией. При отступлении русской армии с ней ушло очень много представителей русинского населения. Т. Гунчак определяет их количество в несколько десятков тысяч, но цифра эта явно занижена.

По возвращении австрийской армии в Галичину репрессии против русинского населения ещё больше усилились, тюрьмы и концлагеря были переполнены. Расстрелы без суда и следствия, казни через повешение по ложным обвинениям в шпионаже при наименьшем подозрении или через донос. А доносили украинские националисты, ненавидевшие всё, что было связано с Россией¹. Власти арестовывали тысячи невинных людей, которые были вывезены в специальные лагеря в глубине Австрии, где их годами держали без суда и следствия в ужасных условиях. Особенно отличался своим жестоким режимом лагерь Талергоф в Штирии, где только от тифа погибло свыше тысяч человек.

И. Мигович называет количество расстрелянных и погибших в тюрьмах — около 160 тыс. человек². Обращение австро-венгров с русинами было очень близко к гитлеровскому. Вероятно, тогда был получен первый опыт массового истребления людей. В период Первой мировой войны была уничтожена самая политически активная и национально сознательная часть русского населения. Памятники, русинам-жертвам репрессий установлены во Львове на Лычаковском кладбище и в г. Галиче Ивано-Франковской области.

В этом году в России на Поклонной горе установлен мемориал памяти героев Первой мировой войны. Было бы справедливо, чтобы там также были имена русинов Галичины, Закарпатья и других патриотов исконно русских земель, считавших себя вместе с северными братьями единым великим русским народом и отдавших за Святую Русь свои жизни.

Несмотря на страшные жертвы галицкие русины всё же смогли ещё раз озадачить украинских историков. В ноябре 1918 г. в Галиции создаётся Западно-украинская Народная Республика — ЗУНР. Между Галицкой Республикой и Польшей начинается вооружённая борьба за Галичину. Польская армия превосходила галицкую примерно в 5 раз, была лучше вооружена, и поэтому она быстро вытеснила её на восток, за пределы Галиции, за реку Збруч. Там находилась армия Директории Петлюры — армия Украинской Народной Республики (УНР), которую большевики, в свою очередь, теснили на запад. Здесь обе армии встречаются и объединяются. Вскоре они начали вытеснять большевиков со всей правобережной Украины. 30 августа 1919 г. галицкая армия заняла Киев. Однако того же 30 августа в город вступили передовые части армии Деникина и столкнулись с галичанами. «Не зная, как реагировать на белых (западно-украинское правительство часто заявляло об отсутствии какого-нибудь конфликта между ним и Деникиным), галичане отступили, к огромному сожалению Петлюры и восточных украинцев, которые из политических и символических соображений очень хотели занять Киев»³. Более того, вскоре галицкая армия перешла на сторону Деникина.

Некоторые современные украинские историки называют это событие необъяснимым, так как его с их позиций невозможно понять. Без признания того факта, что в галицком правительстве и армии были сильны русинские (прорусские) настроения, действительно, подобные действия объяснить невозможно. Действия галичан показали, что между ними и правительством Директории, руководимой украинскими националистами, социал-демократами С. Петлюрой и Винниченко, существовала огромная пропасть.

¹ Фролов К. Святые мученики и исповедники Галицкой и Карпатской Руси // Суляк С. Осколки Святой Руси. Кишинев, 2004, с. 213.

² Мигович И.И. Преступный альянс. О союзе униатской церкви и украинского буржуазного национализма. Москва, 1965, с. 69.

³ Субтельний О. Украина. История, с. 460.

В 1939 г. Галиция вошла в состав СССР, и её тоже коснулась политика украинизации. Воплощение целей и задач украинских националистов продолжили большевики. Исчез из публичного обращения этноним «русин», были изъяты труды Д. Зубрицкого, И. Наумовича, Я. Головацкого, И. Свентицкого и многих других, вся созданная русинами литература. Советская власть употребила все средства, чтобы стереть из народной памяти целый пласт исторического и культурного наследия. Мало что изменилось и сегодня. К тому же свои усилия здесь активно приложил ещё и Ватикан, легализовав и возродив Греко-католическую церковь. Историография современной Украины, осуждая на словах тоталитарное прошлое, хорошо усвоила большевистские формы и методы работы, скрывая и дозируя информацию, интерпретируя исторические события в выгодном для себя духе.

Это всё очень сложно понять американским и европейским политикам, журналистам и разного рода аналитикам. Очевидно, не всё можно и объяснить. Есть знания, которые хранятся в глубокой генетической памяти, накопленной столетиями.



Публицистика

Михаил Полищук

Безвременно русский

Я — хохол, но очень русский,
Очень русский, — но хохол.

А.С. Галенко

Сдаётся мне, что исключительно чистый литературный русский язык уже не услышишь в России. Разве что в среде филологов или литераторов, да и то, пожалуй, не всегда. И понятно отчего это происходит. Ни в крупных, ни в маленьких городах России практически не осталось русских людей, которые Наверное могли бы сказать о себе твёрдо: «Я русский» и подтвердить этот факт перечислением родственников по отцовской и материнской линиям, хотя бы до прадедушек и прабабушек. Но, возможно, где-то сохранились деревни в которых всё-таки есть отдельные экземпляры таких рафинированных носителей нации, однако правильно ли они говорят по-русски?

А вот мои детство и юность — школьные годы — прошли в послевоенном северном Казахстане. Окружающие меня молодые люди, так же как и почти во всех районах Советского Союза, не задумывались о принадлежности к той или другой национальной общности, не было у нас никаких противоречий, связанных с прописанной в паспорте национальностью. Да и какие могли бы быть национальные противоречия в моей семье например.

Дед и баба украинцы, венчанные в конце XIX века в селе Михайловское Каменец-Подольской губернии, имели четырнадцать детей: шесть мальчиков и восемь девочек. В двадцать первом году усадил дед в арбу (была в его крестьянском хозяйстве пара волов) свой выводок и поехал от голода на восток за Камень. Как гласит семейное предание, за два месяца доехали до Кустанайской области и обосновались в большом посёлке Фёдоровка. Надо ли говорить, что родным языком семьи был украинский, но вот о том, что в посёлке Фёдоровка была не только русская, но и украинская школа, сказать надо. В первые годы Советской власти и до самой Великой Отечественной никакого притеснения языка не было — там, где была необходимость, открывались школы, работающие на любых языках народов советского Союза. Замечу попутно, что подростком в середине шестидесятых годов прошлого столетия, зарабатывая на летних каникулах деньги в геофизических отрядах северного Казахстана, мне доводилось бывать в крупных сёлах, где бок о бок работали люди четырёх национальностей: русские, украинцы, казахи и немцы, но школы уже существовали только русские. В городах, конечно, существовали ещё и казахские, но их тоже было мало, так как городские казахи старались учить детей в русских школах. При этом языком межнационального общения был Великий и могучий, а дома в семьях говорили на родном языке. Так, в моей семье, значительно поредевшей после Великой Отечественной войны (из мужской части семьи вернулся только мой отец), общались на украинском.

Мой отец говорил как на русском, так и на украинском языке без акцента, он преподавал русский язык и литературу и украинский язык и литературу.

Моя мама русская.

Мои тётушки украинки вышли замуж: одна за белоруса, одна за еврея, одна за татарина и самая младшая за русского потомка ссыльного из Петербурга. В их семьях уже говорили только на русском. Можете представить себе этот интернационал в основном послевоенного выпуска, который вернувшись с Тобола, разномастной и разнокалиберной компанией садился за длинный стол в садике под карагачами. Все мои двоюродные братья и сёстры слушали украинскую речь бабушки и дедушки, все, за исключением петербуржцев, начинали разговаривать на украинском языке, а в настоящее время все русскоязычные. Позволю себе предположить, что именно там, в северном Казахстане нас обучили говорить по-русски, и сейчас мы все или почти все владеем настоящим литературным русским языком. Не хочу никого обидеть, но когда я поступил в Ленинградский

институт и сроком на пять лет влился в пёструю русскоговорящую среду, то был сильно удивлён особенностями русской речи моих новых друзей.

Мой сосед по комнате как раз такой деревенский — чисто русский парень из под Вятки (тогда Киров) — из тех, кто может перечислить всех свои прабабушек и прадедушек, казалось, вообще не знал буквы «А». Писал он, кстати, правильно, но всегда вплоть до окончания института произносил только «О». Северяне (у нас были только архангелогородцы) тоже «окали», но по-другому — более протяжно, напевно как-то, другие гласные тоже слегка потягивали, а речь их была насыщена словами местного значения. Южане (краснодарцы, ростовчане, крымчане) тоже немного окали и вместо «что», произносили «шо». Были у нас и сибиряки — эти тоже со своими особенностями и словечками. Москвичи чаще других коверкали слова таким образом, что сразу понять их было непросто, эти вместо «что», произносили «чё», а ещё пользовались безмерно кучей слов паразитов. Так что, делаю вывод: чистая русская литературная речь выковывается в местах слегка отдалённых от центра: например в Казахстане, если конечно повезёт с учителем литературы.

Это было такое затянувшееся вступление, навеянное последним запретом киевских властей на пользование русским языком, неприязнью ко всему русскому, русскоговорящему.

А как быть нам? Вот таким как я, русским украинцам или украинским русским?

— Мальчик! Ты кого больше любишь, маму или папу?

Бред.

Когда пришло время получать паспорт, моих одноклассников не спрашивали: кто ты по национальности? До сих пор не знаю, из чего исходили тётки-клерки, заполняя новенькие бланки паспортов, по какому принципу они заполняли знаменитую пятую графу. Один из моих двоюродных братьев оказался по отцу белорусом, а его родной брат русским (*внимание: у него папа естественно, тоже был белорус, а мама украинка!*). Братьев и сестёр, у которых папа был евреем, всех назначили украинцами, а у многодетного папы татарина сыновья стали украинцами, а дочери — татарками. Но, самое обидное, что меня, единственного носителя украинской фамилии деда, единственного продолжателя рода по мужской линии, записали по матери русским. Мне шестнадцатилетнему такой оборот событий представлялся, ни много ни мало, предательством памяти отца, который недолго прожил после войны и ушёл, оставив меня в этом мире за «старшего». Тогда я со своей обидой ходил в паспортный стол и требовал исправить эту несправедливость, но мне вежливо объяснили, что сейчас уже поздно что-либо менять, что нужно проявить сознательность, что когда будете менять паспорт, обязательно предупредите и ваше желание числиться украинцем будет удовлетворено.

Вот так *я временно стал русским*.

Дальше был выбор профессии. Институт в северной столице. Знакомство с самым замечательным городом России. Любовь. Там же в Ленинграде незабываемая студенческая свадьба.

Моя любимая училась в Киеве. Она, так же как и я, была наполовину русской, наполовину украинкой, только её украинскую половину представляла мама, а в паспорте у неё значилось — русская.

После медового месяца, летом моя Танюшка проходила практику на заводе «Красный экскаватор», и я какими-то правдами-неправдами, оказался в Киеве, в её студенческом общежитии на улице Киквидзе. Вот тогда и представилась мне возможность поближе познакомиться с украинским менталитетом, ну, по крайней мере, с менталитетом киевлян, и сравнить его с русским. Оказалось, как говорят в украинском городе Одессе, это две большие разницы.

Моя Танюшка весь рабочий день пропадала на заводе. И побывав в Печерской лавре, побродив пару дней по Крещатику в одиночестве, я скоро затосковал и по благу устроился работать на завод: отчасти для того, чтобы заработать денежек, отчасти для того, чтобы быть поближе к любимой.

Вот несколько ситуаций того времени. Я их изложу как оно было, а вы, уважаемый читатель, уж сами смотрите: характеризуют ли они особенности украинского менталитета или так могло случиться и в Москве, и в Челябинске, и во Владивостоке.

Ситуация простая заводская.

Чтобы успеть к восьми часам утра на смену, приходилось вставать очень рано. От общаги до специального бесплатного заводского автобуса я добирался на трамвайчике, и там было всё почти, как в Ленинграде, а вот спецтранспорт приходилось брать с боем... И дело не в том, чтобы занять

сидячее место, об этом и не мечталось, можно было просто не «впресоваться» внутрь и тогда — опоздание на смену. Ну, опыт — дело проходящее, и по-ленинградски спрашивать на остановке последнего, я перестал уже на второй день. А вот занимать очередь в заводской столовке во время короткого обеденного перерыва продолжал, наверное, с неделю. Всё равно свою котлету с картошкой или гуляш с макаронами и компот я всегда получал последним и это было принципиально: все, кто приходил после меня, проходили вперёд и пристраивались к Васе, Пете или тётё Лиде, но встать за мной (неизвестным чужаком) не позволяло достоинство... И только к концу месяца, который соответствовал окончанию Танношкиной практики и моей карьере чистильщика литья литейного цеха, я стал почти своим, и небрежно перемахивал турникетное ограждение, втискиваясь перед моим напарником Иваном Катунем.

Об этом персонаже пару слов напишу отдельно. Иван был кадровым рабочим. Это был человек невероятной физической силы, хотя внешне это никак не проявлялось. Он работал в должности чистильщика литья уже несколько лет и не собирался менять квалификацию, хотя квалификация — никакой и не было. Для тех, кто не в курсе, поясню, что же это за должность такая. На заводе есть свой литейный цех, откуда горячие отливки деталей могучих строительных машин: тракторов, скреперов, экскаваторов и прочих, как говорится, ещё горяченькие (на самом деле весьма горячие), вручную загружаются в дробемётные барабаны и после очистки, соответственно вручную, разгружаются (по крайней мере такова была технология производства в начале 70-х). Какая уж тут квалификация! Ну, не скажите так моему напарнику Ивану... Барабан похож на всем известную бетономешалку, только он гораздо больше, а внутри него со страшным грохотом переворачиваются детальки, вес которых достигает 55 кг. И к чему я всё это так подробно описываю? А вот к чему. Дробь внутри барабана со страшной силой тузит отливки, очищая их от формовочного материала; достигнуть герметичности, при этом, практически невозможно; дробинки, будто водичка, которая, как известно, дырочку найдёт, вылетают и преобладающе «кусают» в незащищённые участки тела. Техника безопасности категорически запрещает иметь такие участки, а глаза требует оберегать, надевая специальные очки. Короче, всё предусмотрено. И я, естественно, надел очки, кожаные рукавицы, натянул на лоб специальную фуражку и «встал в строй», то есть присоединился к своему старшему напарнику в таком виде.

Ситуация не простая, дурацкая.

— Сними. Не позорься. — Одарив меня полным презрения взглядом, сказал Иван.

— Почему? — искренне удивился я.

— Ну, ты что не понимаешь? Это ж риск... благородное дело значит... Ты пацан что ли?

— Не понимаю... В очках пацан, а без очков уже девочка что ли? Глаз выбьет, и ты без глаза благородный сразу, а в очках с двумя глазами — не благородный...

— Как хочешь... Мы университетов не кончали, а вот понимаем, — пробурчал Катун. — Я вот, к примеру, ни за что не натяну эти дурацкие очки, хотя у меня один глаз повреждён — совсем не видит...

Иван замолчал и отошёл от меня обиженный.

— Что! У тебя глаз не видит!

Я уставился на его правый, какой-то неживой неподвижный глаз.

— Видит маленько, но без левого не видит совсем — закатывается...

— Ну, ты напарник даёшь! А если дробинка в левый попадёт, тогда ты ослепнешь ведь совсем... И ты, несмотря на это, всё равно работаешь без очков? — у меня от удивления у самого чуть глазик не выпал...

— Да как же это можно прятаться за очки, это я вроде боюсь, как ты не понимаешь. Не трус я! — ещё более округлив литуую грудь, заявил Иван.

— Никто и не подумает, Ваня, что ты трус. Просто зачем это делать? Смысл в чём? Тем более у тебя один глаз уже повреждён, — попробовал я воззвать к его разуму.

— У меня то, как раз лучше других. Толян и Борис совсем кривые — чёрные повязки носят, а очки и не думают одевать. А ты хочешь, чтобы я их предал! — подбавил пафоса Катун.

Я был поражён. Мало того, что есть один идиот, который несмотря на повреждённый глаз не надевает защитные очки, так есть ещё и совсем одноглазые идиоты.

— Кто такие Толян и Борис?

— Толян Доренко у нас смену принимает, он старшой, а Боря Медведь нам смену сдаёт. Он, хоть и давно работает, но вторым номером навряде тебя, хотя и опытный, но ему нельзя старшим, — не очень понятно объяснил напарник.

Следует отметить, что храбрость и трусость, солидарность и безразличие, героизм и предательство понимались моими новыми украинскими друзьями весьма своеобразно... По крайней мере, мои представления об этих понятиях резко отличались. Я был удивлён, но поначалу предполагал, что такие особенные, перевёрнутые с ног на голову представления не являются характерными для украинского менталитета, а свойственны только отдельным малообразованным «работягам». Решил проверить.

На студенческой вечеринке, на которой присутствовали только украинцы, ну или ребята, выросшие на Украине под Киевом, я рассказал о «смешных» воззрениях моего напарника Ивана, но в ответ получил дружное непонимание:

— Так что? И ты натянул на себя эти ужасные очки?

— Лично я тоже ни за что не надел бы их!

— И я бы не надел, даже под расстрелом...

А мой новый приятель Валик Лайкин из Киева посочувствовал мне и предложил перейти на другую работу:

— Понятно ведь, что надеть очки в такой ситуации — это просто предательство!

А уже в Ленинграде, когда я рассказал про трёх кривых чистильщиков литья перед разномастной студенческой аудиторией, сорвал дружный смех:

Надеюсь, у тебя хватило ума надеть очки?

Я бы согласился работать только в защитных очках.

И я бы обязательно надел.

А мой старый приятель Изя Гертман из Севастополя сказал:

— Ты просто был обязан надеть очки и сломать эту дурацкую ситуацию.

Позже я узнал, почему опытному Борису Ивановичу Медведю нельзя старшим, но это уже другой эпизод.

Абсолютно дурацкая ситуация.

Я уже рассказывал о том, как по утрам я садился в переполненный заводской автобус. Пару раз пропустил, но потом уже удачно втискивался, предварительно напряжённо поработав локтями. Дальше можно было расслабиться, то есть расслабиться полностью: низкорослые пассажиры по большей части просто висели, мирно похрапывая в такт натужным всхлипам старенького мотора... Идиллия. Ехать было долго. Однажды я тоже задремал, даже сон увидел — снилось, что я селёдка и мне, селёдке пряного посола, на брюшко попала большая горошина душистого перца, стало неудобно... Я заворочался, проснулся и почувствовал вкусный совсем не селёдочный запах, а ещё послышался посторонний звук:

Тыф-тыф, птыф, тыф-тыф...

Я понял, что это был за запах, я его вычислил! Это был вкусный запах хорошо прожаренных солнечных украинских семечек.

— Чхлых, тыф-птых, — опять зазвучало прямо в правое ухо.

На правое плечо упало что-то маленькое... Будто птичка какнула... Я медленно превращался из селёдки в ленинградского студента, перемещаясь из дубовой бочки в переполненный заводской автобус, обретал возможность оценить ситуацию. Первое, что я понял — в бочке было уютнее. Второе с большим трудом уместилось в голове — кто-то сзади грыз семечки и сплёвывал шелуху мне на плечо! Нарушив все законы физики, я взвился и повернулся на 180 градусов...

Да, уважаемый читатель, я действительно увидел, то, что сначала вообразил по звукам и запаху — огромный мужичина в переполненном автобусе смачно грыз семечки и сплёвывал шелуху мне на плечо.

— Ты что делаешь! — вырвалось у меня неожиданно громко, а если бы руки не были зажаты, наверное, я бы ему врзал...

— Шо ты шумышь, куды ж мэни плюваты?

Мужик был совершенно спокоен. Он не издевался, не пытался меня обидеть или унижить, просто недоумевал. От моего вскрика очнулось от дрёмы несколько пассажиров, слышались комментарии:

Дывысь на нёго, якась цаца! Куды ж йому плюваты?
Ты шо взывся, тут плюваты бильш нема куды.
Смэшный парубок, куды шэ тут плюваты?

Народ не шутил, не подстраивался под здорового мужика, оттого что он такой здоровенный. Нет, ему бедному искренне сочувствовали, будто это я на него сплёвывал, а не он на меня. Все, кто мирно дремал около меня и проснулся, были удивлены моей реакцией: чем это я не доволен? Никому и в голову не пришло, что можно потерпеть, и не грызть семечки. Слава богу, вскоре, в обычной манере, водитель нажал на тормоза... и в передней части автобуса дышать стало невозможно, а место у задней двери освободилось для активного выхода. «Оплёвыватель» нежно потряхнул с моего плеча оставшуюся лузгу и заспешил к своему литейному цеху.

Эпизод поучительный.

(Никогда не пейте спиртного с малознакомыми людьми).

Наступил день получки. И здесь от меня уже ничего не зависело. Всё решала традиция и мой старшой Иван Катун.

В этот знаменательный день, мы заканчивали свою восьмичасовую смену, как всегда в шестнадцать.

— Я, пораньше чуток, пойду в административный до кассы, а ты, ровно в шестнадцать часов беги туда же, — загодя предупредил меня Иван.

Он с утра был настроен на предстоящее действие, сожалел только, что не сможет пойти с нами на торжества наш сменщик Толя Доренко, так как он принимал у нас вахту.

— Ты... это... пацан правильный, так что купи маленькую сверху, надо уважить Толяна. Потом заглоти за твоё влияние, — продолжал «образовывать» меня Иван, который искренне полагал, что вливаться в коллектив означает вливание в себя спиртосодержащей жидкости — горилки то есть, которая, в свою очередь называется так, потому что в ней «градус должён быть» больше сорока — чтобы горела...

В этот день произошло ещё одно маленькое событие, которое в этом поучительном случае имело неожиданные последствия. Ко мне в цех заглянула моя Танюшка. Она была в лёгком летнем платьице, которое замечательно обрисовывало фигурку, она улыбалась, золотые кудряшки через приоткрытую дверь просвечивались ярким солнечным снопом, как будто не земное, а небесное создание случайно занесло в нашу преисподнюю... Мы с ней перекинулись парой слов и она выпорхнула. Мы не могли тогда надолго расставаться — ведь ещё продолжался наш медовый месяц. Конечно же, это никак не было связано с получкой, но Катун так и решил:

Это твоя жинка?

Угу, — буркнул я, не вдаваясь в подробности.

Шо! Она знае про получку... Пропасти явилась...

— Успокойся, Иван, она студентка, на практике в КБ вашем, на минутку заскочила, — попытался объяснить я.

— Шо! А як она из административного через металл без пропуска сюда попала?

— Да не нервничай, Ваня, наш праздник состоится при любом раскладе. — И тут я совершил непоправимую ошибку. — Моя жена Танюшка — племянница главного металлурга завода, она все ходы-выходы здесь с детства знает.

— Шо! Ты зять главного металлурга! Ты Гурвича зять!

— Ну, да. Его зять получается. Ну, и что же с того?

— Шо! Шо з того кажешь? — Напарник, когда возбуждался переходил на украинский, а успокаиваясь, снова говорил по-русски почти чисто. — Да *если б у меня был такой дядя, то я б на завод ходил в нейлоновой рубашке*, а ты тут железяки ворочаешь...

Дорога на «вливание» была продумана: сначала мы дружной ватажкой отбились от радостного, по случаю полочки, потока заводчан; потом завернули за «снабжением», в какое-то частное домовладение, где у Ивана было «всё схвачено»; и наконец «настоящая горилка» полилась из чёрного холщёвого заплечного мешка моего напарника, там же нашёлся шмат сала, дюжина варёных яиц и немереное количество малосолевых огурцов. Мы сидели за удобным деревянным столом в старом хозяйском саду, Иван неспешно отрезал от домашнего каравая ломти хлеба и наделял четверых, включая и меня, чистильщиков литья и ещё двух бывших чистильщиков, которые оставались корешами Ивана.

— Ну, как я вам всё организовал, так вот принимайте в коллектив, всё за его счёт и вот малёк для Толяна, — показывал на меня заскорузлым пальцем и демонстрировал небольшую ёмкость Иван, — и вливайте...

Может всё бы так в торжественных тонах и закончилось, но когда после третьего «полстакана» Иван высказал в мой адрес опасения, связанные с тем, что я женат на племяннице Гурвича, мол: сомневается он надолго ли я вливаюсь в их профессиональную среду, Медведя понесло...

— Я думал, шо тут шить украинцев общаются, а тут жидёнок затесался.

— Ни, Борыс, вин украинэц и жинка у ёго тэж украинка обо русская, — заступился за меня напарник.

— Ну, тоди шэ страшнийш — мабудь вин суржик обо москаль!

После этого мне стало понятно отчего почтенный Борис Иванович не мог быть старшим даже из двух человек.

Кто-то скажет, что это обычная пьяная болтовня... Возможно...

Мне пришлось покинуть уважаемое собрание досрочно. Самое главное, что я вынес из этой поучительной истории, это не то, что бывают запойные мужики, ведь они встречаются среди людей любой национальности, а то, что *нелюбовь к евреям и открытая неприязнь к русским* просматривалась не только у Бори Медведя, но и у всех присутствовавших на мероприятии заводчан.

Потом мне приходилось много раз бывать в Крыму, в Запорожье, Днепропетровске и на Донбасе. Не скажу за всю остальную часть страны, а среди жителей перечисленных мест ни разу мне не встретились националисты или люди с неприязненным отношением к русским.

А про «западынцев» и говорить не буду — с ними всё понятно, по большей части это люди иной веры и абсолютно иной ментальности.

Они нам не братья!

Закончилась Танюшкина производственная практика на заводе «Красный экскаватор», а вместе с ней и моя карьера чистильщика литья. Вот уже более сорока лет длится наш медовый месяц. В Калининграде выросли дети, которые вроде бы несут в себе половину русских и половину украинских генов, но они уже не задаются вопросом о своей национальности. Они не просто русскоязычные — они русские. Впрочем, и я после той киевской практики твёрдо решил, что правильно тогда «тётки-клерки» записали пятую графу в моём первом паспорте.

И я и стал русским навсегда, безвременно!

Что я чувствую сегодня, когда идёт гражданская война на Украине? Наверное, как все нормальные люди, не принимаю, не могу принять действий украинских властей. Но не принимать совсем не одно и то же, что не понимать. Действия пришедших к власти националистов как раз понятны, они основаны на *старинной генетической неприязни, существовавшей в нескольких поколениях* и на особенностях национального менталитета.

Я не берусь запросто объяснить, как же всё это состоялось, но не сомневаюсь в том, что неприязненные отношения существовали столетиями.

Мой дед украинец, участник гражданской войны, рассказывал сказки, которые он слышал от своего деда про то, как хитроумный украинский хлопец выходит из разных злокозненных ситуаций, подстроженных злыми но тупыми москалями.

Мой отец украинец, участник Великой Отечественной войны, в кругу друзей, иногда выдавал известные оскорбительные нелепицы, типа: «Шёл хохол — наклал на пол, шёл кацап — зубами цап»!

Мой напарник украинец, в начале 70-х, частенько говаривал: «С утра зустрив москаля — дэнь нэ заладыця».

А сегодня вся Украина дружно скандирует на майданах: «Кто нэ скаче — той москаль», — а иногда и «Москаляку на гиляку»!

Ах, если бы мой дед знал, к чему приведут эти его сказочки, если бы отец знал, если бы напарник предполагал, если бы эти сегодняшние ограничились только криками, да угрозами, но... увы... полилась кровь...

Нынешние руководители Украины сплошь олигархи, легитимные там, не легитимные, использовали, оседлали националистов. И вот она, пришла, как всегда неожиданно, гражданская война... Проморгали! Прощёлкали! Проулыбались! И полилась кровушка славянская, уже потоком полилась. Только тут телевизионные умники приметили руку из-за океана. А америкосы — международные жандармы и хитрованы во всю уже «прессуют» и Украину, и Россию, скоро и Европу будут «конопатить», на то они и международные — не ляжет карта, так деньгами задавят — они ж эти деньги сами же и печатают, чего им скупиться то...

Сегодня мы говорим украинец или русский, имея в виду совсем не национальность, а только лишь место жительства. Но на Украине живут люди и на юго-востоке и на западе, а это совсем разные, несовместимые друг с другом украинцы.

Я скажу вам уважаемые читатели крамольное... Нет такой единой страны под названием Украина, да и не было никогда такой единой страны, в таких именно границах. История рвала нынешнюю территорию на части, «тусовала» куски во времени и в пространстве, а на этих рваных кусках жили люди: любили и ненавидели, страдали, радовались, ели сало и «гарно спивали»... Ну, не будешь мил насильно... Семьи разваливаются и страны разваливаются... Это надо осознать и расстаться. Разойтись по-людски (по доброму уже не получится), но чем дольше тянуть с разводом, тем большее будет потом.

Понятно, что взывать к разуму одуревших от денег и власти олигархов из нового украинского руководства — бессмысленно, но к простым людям западной и центральной части Украины, к тем, которые борются за национальную идею с, так называемыми, сепаратистами. У них своя национальная идея имеется и она совсем не такая как у вас, хочу обратиться: «Остановитесь! Решайте свои вопросы дома, на тех территориях, где проживают вам подобные, той же веры и той же ментальности. Нет у вас варианта победы силой. Просто нет. Вы представьте себе, что на вашу землю пришли чужие из районов юго-востока, где исторически живут православные и потребовали жить как они, говорить на русском языке и креститься справа налево. Так неужто, вы пустили бы их на свою землю? Вот и они вас не пустят на свою!»

Что же нам делать, таким, как я — русским украинцам? Воевать? А с кем или с чем воевать? У нас ведь внутри это самое русское и украинское. Правая рука будет воевать с левой? Правая почка с левой? Ухо с ухом? Даже мозг можно условно поделить на правую и левую половину. Короче, все парные органы найдут себе достойного соперника. А с кем или с чем будет воевать сердце? Ваше человеческое сердце ... На чью сторону станет оно? Кому вы отдадите этот непарный орган, свое сердце?



Переводы

Миленко Ергович

Пасхальная притча с одного католического кладбища для иноверцев

Перевод Алены Солодовниковой

На северном въезде в Цавтат, у Мечайца, есть церковка Св.Джордже, махонькая, но складная, построенная в XV веке на месте другой церкви, которая, в свою очередь, тоже была возведена на остатках прежней, еще более старой. Впервые эта церковь упоминается в связи с договором, подписанным между Дубровником и болгарским царем Михаилом. Под стенами этой церкви, на сайте епископата Дубровника под логином «от людей к людям» можно прочесть, что здесь с давних времен хоронят иноверцев. На этом кладбище и по сей день около 20 поросших травой могил. Имена на надгробных плитах, в большинстве своем, выбиты на сербской или русской кириллице. Только скрыты они под толстым слоем сосновых иголок. И не приходит сюда никто и не зажигает восковых поминальных свеч. Так и последний раз здесь схоронили в далеких уже 80-хх. А недавно, лет эдак несколько назад, тут возвели склеп из белого мрамора для упокоения членов некой католической семьи. И кто их тут вообще разберет, вкупе с местным жупаном, почему для этого почтенного семейства не нашлось места в более «элитном» пантеоне Цавтата, на вершине Св.Рок, под боком семейного мавзолея династии Райчич, да еще в мастерском исполнении самого знаменитого югославского скульптора Мештровича. На том, одном из самых умиротворенных далматинских кладбищ. С чего бы вдруг их сподвигло возвести склеп именно здесь, среди эмигрантов?

Среди двадцати имен, которые уже не прочесть толком на надломленных каменных крестах, перенесших и людское отчаяние, и другие невзгоды, упомянут «народный учитель», которого любили и уважали в стародавние времена, и некий младенец, для которого обезумевшие родители просили у Бога исцеления от какой-то страшной смертоносной болезни. Тут же похоронен и жандарм, ему не позабыли все положенные атрибуты на керамической плитке изобразить, начиная с нагайки. Но в основном в этой земле упокоились те, кто зачитывался романами Бунина и Набокова, а вовсе не наши, привыкшие к средиземноморскому солнцу и климату, представители славных Балкан.

Едва читается на надгробной плите имя Владимира Юстиновича Трилесского, генерала царской армии, скончавшегося в Цавтате в 1926 г на 69-м году жизни. Хотя вполне отчетливо видно имя архитектора Николая Васильевича Белосердова, ушедшего из жизни в 1961 г в возрасте 63-х, после 40 лет в изгнании.

Здесь же обрела последний приют Йованка Штрайнич, сербская и югославская художница, прожившая большую часть жизни в Дубровнике. Всего каких-то 20 км навечно разделяют ее от спутника жизни Косты. Жаль, что не получилось у них упокоиться рядом, так как ему по рангу было положено место на парадно-нарядном Бониново и все остальные заслуженные почести, а вот место для боевой подруги тут, увы, никак не предусматривалось.

Но именно та могила, которая привлекает наше внимание, и могла бы послужить началом для множества рассказов, сегодня пуста и будет пуста до того дня, когда по ожиданию верующих, восстанут все души и вознесутся на небо. На изящно задуманном и огражденном памятнике выбито имя Лидии Михайловны Ираклиди. Год рождения — 1893.

А вместо даты кончины грифельным школьным карандашом нацарапано — Апатин 1995.

Поскольку мало кто на это кладбище заходит, и не так уж много тех, кто еще помнит, что кто-то из предков похоронен в Цавтате, но ведь кто-то же потрудились и счел необходимым дописать карандашиком — НЕ фломастером, дабы не попортить весь памятник, год ухода Лидии из жизни. Судя по сведениям из Апатина, могила в Цавтате действительно пуста, а вот тут как раз и начинается история, которой не суждено быть открытой. Никогда. Только если чуть занавес приподнять. В общем, так же нет никакой надежды на то, что кто-то с кладбища у церкви Св.Джордже отправится

в Апатин, чтобы там отыскать могилу Лидии Ираклиди, зажечь поминальную свечу и положить на надгробие удивительной женщины достойный букет. Так же, как сама Лидия Ираклиди давала в свое время советы представительницам прекрасного пола — «Будьте мудрыми, если придется, будьте добрыми, если хочется, но при любых обстоятельствах всегда будьте красивыми».

Младшая сестра Лидии Ольга Михайловна Соловьева, могила которой находится в 2-х шагах от пустой могилы Ираклиди, в 20-х гг прошлого века была известной в Европе балериной, а после и актрисой в немом (и не только немом) югославском кино. Карьера танцовщицы и в те времена длилась недолго, и ее собственная не стала исключением, и в начале 30-хх она покинула сцену и задумалась о месте, где смогла бы жить вместе с родителями. И внезапно купила дом в Цавтате, на Малом Камне, откуда весь Дубровник виден, как на ладони Св.Влаха. С трех сторон дом был окружен морем, а сзади, вернее за спиной его была вершина Св.Рока, с тем культовым кладбищем, где издавна хоронили весь «цвет» города. В доме всегда были слышны поминальные колокола, когда кого-то провожали в последний путь. В то время еще смерть была вожденной, тогда еще верили в то, что после нее все только начинается.

Деньги у Ольги имелись, и она могла себе позволить жить, где хотела, увы, только не в том городе, из которого в свое время бежала. Поэтому она и выбрала Цавтат, а в нем — Камен Мали, который так напоминал ей родную Одессу. Об этом легендарном городе сегодняшней Украины Исаак Бабель написал неплохую книжку. На улицах и базарах той Одессы слышался не один десяток разных языков, и каждый из них был и родной, и в то же время общеодесский. Там перемешались равнины с разбойниками, моряки и греческие торговцы, православные монахи и убийцы с проповедниками. Никто в той Одессе не был свой, но в то же время все были своими. В феврале 1920 г, когда Михаил Алексеевич Соловьев эмигрировал с семьей, возник последний шанс, когда еще можно было успеть бежать. Старшая из сестер Лидия уже была замужем за одесским греком Владимиром Александровичем Ираклиди. Обманым путем родители заманили ее на борт битком набитого английского корабля, как же им помогло впоследствии ее блестящее владение языком, а может быть и весь ее изысканный вид, о чем она любила вспоминать потом, а ведь тогда она понятия не имела, куда вообще направляется это судно. Они поначалу думали, что идут на Мальту или в Египет, но на полпути, в открытом море, им объявили, что курс — на Югославию. Пришвартовались в Солуне, дальше путь лежал сухопутный до Скопле, а потом и до Белграда. В дороге Владимир Александрович лишился сундучка с фамильными драгоценностями. Он просто мог его забыть на вокзале. Из-за этой неприятности они решили на три года задержаться в Скопле. Лидия устроилась на работу в банк, а ее муж — в библиотеку. Они были молоды, и утраченные бриллианты не стоили дороже их собственной жизни.

В то же время младшая сестра блистала на европейских и латиноамериканских сценах, «зажигала» в Белграде и постепенно вошла во все элитные круги югославской столицы. Она вела жизнь голливудской звезды, и даже ее квартира в Белграде была обставлена и декорирована по последнему писку моды — « Слева и справа, на оттоманку с райскими птицами небрежно брошены две шкуры леопарда, как в культовой ленте «Санни бой», маленькая обезьянка, самолично привезенная с Тринидада, сама хозяйка в тончайшем японском кимоно отдыхает в своем будуаре после 4-х бурных лет активных турне по всему свету». Так описывал интерьер и темперамент известной балерины тогдашний lifestyle журнал.

Ольга выступала в обеих Америках в составе балетных трупп Михаила Фокина и Михаила Мордкина и очень неплохо зарабатывала. Это было время, когда русская аристократия растеклась по всему свету, включая многочисленных музыкантов и деятелей искусства. Под натиском революции великая школа русского балета раскололась на небольшие гастрольные коллективы, типа тех русских передвижных цирков с дрессированными медведями, вызывая бурю восторгов и аплодисментов поначалу, пока примы-балерины не пересекали сорокалетний рубеж и не становились престарелыми нищими попрошайками или кокаиновозависимым персоналом публичных домов, где некоторым удавалось дожить до глубокой старости исключительно благодаря благосклонности хозяев.

Ольге удалось избежать подобной печальной судьбы. Вероятно потому, что у нее была семья, о которой надо было заботиться. Отец ее Михаил Алексеевич Соловьев служил судьей в Окружном Суде Нового Сада и уже был готов выйти на пенсию. Проживет он еще долго в той Ольгиной вилле на Камне Малом и в 1950 г будет похоронен на том самом кладбище у церкви Св.Джордже в Цав-

тате. Его жена Марина Васильевна переживет его на три года. Вообще, в начале 50-х ушло немало членов семьи. В 1951 г не стало и мужа Лидии Владимира Александровича Ираклиди.

Ольга Соловьева не сразу рассталась с мировыми сценами, прощание было долгим, в частности в театрах Югославии, таких как в Новом Саде, Мариборе и Белграде. Той крайне холодной зимой 1929 г ей довелось выступать в сараевском Народном Театре. Не было большого количества афиш ни по какому другому похожему поводу. И репертуар заявлен в мельчайших деталях, и дифирамбы приме-балерине, и интервью с ней, и множество выигранных фотографий. И все это задолго до начала гастролей. Писали восторженные статьи, подчеркивая мировое значение госпожи Соловьевой, как выдающейся балерины. При этом не было никакого деления на «хорватскую» и «сербскую» прессу, никакого насилия со стороны режима и вскриков оппозиции. Даже диктатура не смогла настолько уравнять и сплотить газетчиков, как гостевое турне г-жи Соловьевой. «Она заявила о себе, как о балерине высочайшего мирового уровня» писала Слободанка Грбич Софтич в своей монографии об истории боснийско-герцеговинского балета «от первых пробных выступлений до основания Балетного ансамбля в 1950 г», опубликованной в 1986 г.

В том бенефисе Ольга действительно превзошла самое себя. Она исполнила вариации из классических балетов и характерные танцы, а общий эффект был усилен великолепными сценическими костюмами.

Двумя днями позже в вечерней газете была опубликована статья «Вечер г-жи Соловьевой» Йована Палавистра, первого профессионального балетного критика в истории Сараева, в которой он пропел гимн «нерву, темпераменту и чувствам, умноженным на слияние музыки и движения». В Ольге увидели балерину «мощного таланта и ярко выраженного стиля, которая еще не достигла балетного Олимпа, но уверенно к нему движется, и, возможно, скоро станет одной из самых выдающихся балерин в мире».

Ну, и как положено, надо было кого-то пошпынить, чтоб не только овации. Под горячую руку попал оркестр, у которого «не все попадали в унисон».

Покупка виллы на Камену Малом для Ольги значило только одно — конец балетной карьеры.

Она рассталась со сценой и кино, навсегда простилась с Белградом и совсем еще молодая, 35-летняя, стала «пенсионеркой». Правда, она до этого повредила лодыжку, а это и для балерины, и для племенной лошадки непоправимо, но не эта травма стала причиной окончания балетной карьеры. Превратив купленный дом в некую семейную колонию, Ольга предалась типичной жизни эмигрантов — коктейлю из ностальгии, воспоминаний и тоски по Одессе и русскому декадентству. В Дубровнике поселилось примерно сто семей русских эмигрантов, в основной массе людей достойных и в прошлом очень обеспеченных, но в новой жизни лишенных постоянной работы и беднеющих с каждым днем.

Только после Второй Мировой в этой же вилле поселяются Лидия и ее неудачливый муж-растеряха. Вся семья наконец собирается под одной крышей. Увы, к этому времени Иво Войновича уже не было на этом свете, а кроме него мало кому в голову приходило записывать то, как тут жилось русским эмигрантам. Писал еще, правда, и Црнянский, но больше о самом себе, а не о них, поэтому история русской эмиграции в Дубровнике навечно останется недооткрытой и недорассказанной.

Вскоре после конца войны Дом Соловьевых станет модным арт-салоном, в котором побывают важнейшие персоны как Дубровника, так и всей тогдашней Югославии, как жаль, что так мало осталось свидетельств тому. Так и ГОСПОД больше не осталось, все вышли!

Ничего неизвестно и о том, как в Камену Малом пережили эту страшную войну. Дом этот, воистину находившийся на стыке разных миров и держав, всегда умудрялся сохранять нетронутую приватность. Черта, которая так запросто умеет все поделить надвое, нередко проходит напрямки через утробу человека, а русские эмигранты Дубровника имели совсем непохожие судьбы. В усташском Дубровнике были и такие, кто приняли «Поглавник» (Анте Павелича), потому что он был против коммунизма и Советского Союза. Но и это их не всегда могло уберечь, так как для усташей они всегда были православными и братьями сербов по вере. С приходом партизан, когда стало проверяться досконально, кто, с кем, и за кого был, среди жертв попадались и русские. Но этот дом на Камену Малом с его фатальным видом на Дубровник и в эту годину остался нетронутым.

Хоть и не сохранилось никаких доказательств этому, но, похоже, во время Второй Мировой главную роль «хранителя семьи» взяла на себя старшая сестра Лидия. Более сноровистая в практичных

бытовых вопросах и более общительная, чем Ольга, она в конце станет семейным патриархом, «хранителем ключа» и последним из могикан Камена Малого. Ее личная история сохранилась благодаря Алексею Арсеньеву, историку и исследователю русской эмиграции в Югославии из Нового Сада. Ему довелось лично общаться с Лидией и записать ее воспоминания.

Лидия Ираклиди родилась в Кишиневе, столице Молдовы, откуда после ее родители переселились в Одессу. Девушка училась в Университете языкам и музыке. Владела многими языками, охотно шла на контакт, очаровывала людей, так же легко с ними расставалась, и во многом походила на тех самых героев Исаака Бабеля. В середине 20-хх после невосполнимой утраты мужем сундучка с драгоценностями в Скопье, она отправилась в Париж, где полгода серьезно изучала косметику. Потом была Вена, потом немножко Берлина, и в 1927 г она открыла первый косметический салон в Белграде. Дело не шло совсем, вероятно, сказывалась специфика Балкан. В косметические чудеса никто не верил.

«Долгое время я и понятия не имела о том, как нервничают мои клиентки. Кому-то было стыдно, а кто-то и побаивался. Я никогда не назначала процедуры двум дамам на одно и т же время, нужно было избегать их случайных встреч друг с другом. Когда наконец дело пошло в гору, ко мне стали приходить леди Кэмбл — жена английского посла, синьора Мамели — супруга итальянского посланника, синьора Капраньека, не трогайте лицо руками, пожалуйста».

После окончания войны, с приходом коммунизма, наступает долгий период презрения к косметике, бизнес Лидии начинает разваливаться, закрывается ее салон в Белграде. Через годы, когда режим слегка помягчает, и «товарищи женщины» осознают, что не все проблемы можно решить с помощью отечественного мыла и холодной воды, Лидия откроет новый косметический салон в Сараево, правда, дирижировать будет из Цавтата, периодически наезжая с инспекциями. Добиралась на поезде и порой оставалась на несколько месяцев. Этот салон «у русской» станет легендой, и долго еще будут вспоминать местные дамы, как Лидия Ираклиди учила их сохранять данную природой красоту в соответствии с ее принципом, который не лишним будет привести снова: «Будете мудрыми, если Вам придется, будьте добрыми, если Вам хочется, но при любых обстоятельствах будьте красивыми».

После того, как в начале 50-хх сестры остались вдвоем, схоронив своих близких на кладбище для пришлых у церкви Св.Джордже, они активно включились в общественную жизнь. У них уже имелся некий опыт просветительской работы среди местного населения. Ольга обучала селянок Конавлия рукоделию, изящным манерам и танцам, то есть всем тем исконно женским искусствам, которые сама постигала в дамских школах в Одессе, а Лидия проводила очередное «введение в мир косметики». Сестры очень сблизилась с теми, рядом с кем в свое время решили поселиться. Несмотря на некоторую удаленность Малого Камена от Цавтата Ольга и Лидия всегда были среди людей и стали частью прошлого Цавтата и его истории, которая вряд ли когда-нибудь будет написана, но именно к этой истории принадлежит маленькое православное кладбище и пустая могила на нем.

Между тем «возрождение» сестер Соловьевых тесно связано с 1950 г, когда были основаны Летние игры в Дубровнике. В течение трех последующих лет один за другим уходили их родные, и, оставшись вдвоем на этом свете, в летнем театрално-музыкальном фестивале Ольга и Лидия не только обрели новую семью, а еще и внесли новый смысл в их жизни.

Ведь эмигранты, беженцы, в большинстве своем, русские, в XX веке искали по свету новый дом и новое применение своим знаниям и искусствам, чтобы заглушить ностальгию по Родине. Ольга Соловьева стала главным хореографом Летних игр и оставалась на этом посту целых двадцать лет до конца своих дней. В 50-хх же она открыла при Музыкальной школе в Дубровнике балетный класс, которым сама же и руководила. Надо сказать, что время тогда было голодное, тем не менее, Дубровник не отказал в открытии хореографической студии.

В начале 90-хх, когда не будет уже сестер Соловьевых, ни виллы на Камену Малом, Музыкальная школа превратится в «Школу искусств Луки Шоркочевича», на интернет-странице которой можно прочесть, что «в 1997-1998 гг здесь успешно закончило среднее образование единственное на сегодняшний день поколение классического балета».....

Ольге при этом одного только искусства было мало. Она состояла в дружбе с еще одним отшельником, сбежавшим в провинцию — Костой Штрайничем, эстетом, историком искусств, консерватором, который обучил ее азам живописи и скульптуры. Их отношения были серьезными и продолжительными, что не могло скрыться от внимания таблоидов, которые частенько о них упоминали. Так

вот Ольга увлеклась живописью и даже пробовала ваять, притом делала успехи на обоих поприщах. Ей позировал даже Святослав Рихтер, ее добрый знакомый, выдающийся советский пианист. Благодаря дружбе с Ольгой он был частым гостем на Летних играх в Дубровнике. Рихтер бывал и на Камену Малом, где Ольга, усаживала его поудобнее и начинала лепить его совсем неславянское, не от мира сего лицо великого русского музыканта.

Святослав Теофилович Рихтер родился в 1915 г в украинском Житомире. Его мать Анна Павловна была русской, а отец — Теофил Данилович Рихтер, музыкант и композитор — из поволжских немцев. Принадлежность к немцам, то есть врагам, после 1945 г, причиняла Рихтеру массу неприятностей. В постсталинское время это не помешает ему стать исполином советской культуры, и его «неправильное происхождение» будет реабилитировано. А тогда его спасло от гибели только то, что он был великим пианистом. Впрочем, именно его талант предопределил знакомство с сестрами Соловьевыми. Нет на свете более высокого искусства, которое помогало бы талантливому человеку выкупать собственное право на жизнь, начиная от Шехерезады до Рихтера.

У сестер бывали Ростропович, Хачатурян, Менухин, звезды театра и эстрады из Белграда и Загреба, такие как Матко Фотез, Мария Црнобори, Боян Штупица. Общались в этом доме без протокола, говорили на любые темы, идеологические контексты тут не приветствовались. Как в Одессе здесь тоже смешивались языки в одной беседе, начинали на одном, потом переходили на другой. И так продолжалось до «конца света», который неминуемо приближался и наступал в день закрытия очередных Летних игр в Дубровнике. Но для Ольги и Лидии жизнь и в этот день не кончалась. Все-таки они были из чужаков, эмигрантки на Балканах, откуда им было знать, как тут у нас вершатся малые и «истории» побольше.

Так как больше родни у них не осталось, в начале 70-хх Ольга и Лидия приняли решение завещать виллу на Камену Малом Летним играм в Дубровнике. Вилла уже тогда стоила баснословные деньги, но сестры выставили условие — пусть здесь найдут приют пожилые и бедные художники, актеры и музыканты. Есть подобные дома на белом свете, например, в Будапеште, в престижном квартале, где-то между сербским и хорватским посольствами находится Дом пенсионеров, предназначенный именно для деятелей искусства. А уж во время социализма нехватки в них точно не ощущалось.

Ольга умерла весной 1974 г. Лидия осталась жить в вилле на Камену Малом, окруженная картинами, скульптурами и призраками. Она и далее продолжала общаться с людьми, принимала у себя, заводила новые знакомства, но ее начало тревожить предчувствие того, что условие их завещания с сестрой может быть не до конца соблюдено. Своей неуверенностью, что дом может не стать последним приютом для стариков из мира искусств, она делилась с друзьями. Они с Ольгой так были привязаны к этим людям, рядом с которыми жили, они уважали их обычаи и традиции, и никогда бы не сказали о них дурного слова, но Лидии не суждено было узнать, что будет после того, как ее не станет. Ее сомнения, что их завещание будет выполнено именно так, как они этого хотели, не давали ей покоя.

Алексею Арсеньеву Лидия Ираклиди дала свое последнее интервью, опубликованное в загребском «Вечернем листе» в 1991 г: «Я слишком долго тут задержалась. Тяжело видеть своими глазами *Sic transit Gloria mundi*. ...я держу руку на пульсе и жду, когда он затихнет. Терпеть не могу часто задаваемый мне вопрос, хотела ли бы я пожить еще. Тело уже не выдерживает». Несколько месяцев спустя благодаря заботливому опекуну, а злые языки непременно его и в любовники записали, Лидия Ираклиди стала беженкой, сначала в Герцег Новом, а после в Апатине.

Она не могла позволить себе дожить свой век в любимом доме на Камену Малом, виной этому стал тот самый сказочно-фатальный вид на Дубровник, который открывался с их террасы. ЮНА (Югославская Народная Армия) разместила на лужайке перед виллой артиллерийскую батарею, откуда та наносила анонимно — точечные удары по городу. Об этих «подвигах» станет широко известно после войны, правда, имена тех, кто давал команду «огонь», так и останутся секретом. А любопытно было бы узнать, с какими чувствами тот солдатик палил по Дубровнику, что он ощущал, впервые войдя в эту виллу, полную бесценных картин и воспоминаний. В чем был повинен тот мир, который в конце концов был «успешно» разрушен? Увы, убийцы и палачи на Балканах всегда остаются в тени и в масках на лицах, поэтому нам вряд ли удастся выслушать их исповедь.

А виллу на Камену Малом потом просто спалили. И случилось это уже после освобождения Цавтата. В огне погибли все следы одной, отдельно взятой, семьи русских эмигрантов, не пощади-

ло пламя и большую часть летописи Летних игр, которая хранилась в доме. Стерлась и еще одна страница цавтатской биографии, хотя и по сей день старожилы помнят сестер Соловьевых, даже изредка попадаются фотографии с ними в семейных альбомах. Наверняка и в Цавтате, и в Сараево еще найдутся баночки из-под той Лидиной косметики. А в той школе Луки Шоркочевича полагалось бы находиться бюсту Святослава Рихтера, который Ольга и сваяла сама, и при жизни подарила Музыкальной школе.

Не выполнено завещание сестер Соловьевых. Пока было возможно, да еще цены на недвижимость взлетели до небес, организаторы Летних игр в Дубровнике продали по сходной цене тот самый красивый островок Цавтата вместе с руинами сожженной виллы. Легко найти оправдание этому поступку в сербско-черногорской агрессии. Дом в любом случае погиб, а откуда бы у этих организаторов взялись средства на открытие дома для престарелых деятелей искусств. Сегодня на легендарном Камену Малом, окруженная пугающей оградой, напигованной видеокамерами, прячется невидимая постороннему глазу вилла богатого иностранца. Таких заборов, возведенных по косовскому образцу, тут в прежние времена, отродясь, не видывали.

Никто не знает имени этого иностранца, да и боязно было бы узнать. Вот так завершились Летние игры вместе с русскими сестрами, подтверждая тот печальный факт, что рано или поздно все подлежит забвению. Ничто не напоминает о них в сегодняшнем Дубровнике, ничто не названо в их честь, вероятно, никто из теперешних функционеров летнего культурного фестиваля вообще никогда и ничего не слышал о сестрах Соловьевых.

Вернемся еще на минутку на другой край Цавтата, на Мечаяц, на кладбище у церкви Св. Джордже. Йованка Штрайнич и Ольга Соловьева упокоились рядышком. Коста же оказался среди выдающихся деятелей Дубровника, в другом, более пафосном некрополе. Вот как порой может подфартить некоторым мужчинам. На Ольгином надгробии барельеф, выполненный ее же рукой. Что-то подсказывает мне, что это заглавная партия из какого-то балета. Тут и все остальные: целые русские семьи ждут день, когда воскреснут их близкие, когда больше не будет важно, кто ты и откуда, потому что все тогда вернется домой, на свою Родину. Христиане испокон в это верили и верят. Только одна могила так и останется пустой. Лидия Ираклиди в полной мере испытала судьбу русской эмигрантки, чтобы в возрасте 97 лет вновь стать беженкой.

Никто не приносит цветы на кладбище у Св. Джордже. Никто не зажигает свечи. Пусто на балканских кладбищах для иноверцев. Наверное, дожидаются, когда все воскреснет.



Безбрежный Русский мир

Оксана Карнович

О легитимности престолонаследия

Продолжение темы, начатой в № 1(7).

Беседа с князем Дмитрием Михайловичем Шаховским

О.К. Дмитрий Михайлович, хотелось бы узнать Ваше мнение как историка по вопросу престолонаследия в доме Романовых. По поводу законности, присвоенных титулов княгини Марины Владимировны, высказались уже барон Эдуард А. Фальц-Фейн, князь Никита Д. Лобанов-Ростовский, князь Александр А. Трубецкой и граф Сергей А. Капнист.

Кн. Д.Ш. Нужно придерживаться исторической объективности, не стоит потакать какой-нибудь версии, надо пытаться найти общий подход. Начнем с того, что после отречения Николая II есть факт, что великий князь Михаил Александрович решил предоставить народу выразить свою волю посредством всенародного голосования, т.е. через Учредительное Собрание. Это дает впечатление, что Михаил Александрович хотел вернуться к положению 1613 года. Он видел, что происходит смута. И для него важным шагом было выйти из смуты. Не надо забывать, что Романовы это первая династия в России, которая избрана. Рюриковичи княжили по праву рода своего. К ним примкнули Романовы. Алексей Михайлович каялся в грехах Ивана Грозного, как потомок последнего! Это говорит о последовательности восприятия государственности, которую подчеркивает «Титулярник».

О.К. Думаю, Михаил Александрович отказался вступить на престол потому, что не мог пойти против Государя Николая II, которому присягал.

Кн. Д.Ш. Не думаю. Отрекаясь в пользу своего брата, Государь возложил на его плечи всю ответственность. Могу сказать следующее. Отрекаясь, Государь предоставил ему последнее слово. Но, как и Государем, так и Михаилом Александровичем руководила мысль о благе России. Я понимаю отлично Михаила Александровича, потому что все присягали Государю. Я перечитывал одну проповедь Святого Святителя Иоанна Максимовича, Архиепископа Шанхайского. И он пишет, что осуждает всех, кто пошел против присяги. Это касается и части военных генералов, и всех тех, которые заставили Государя подписать отречение и спровоцировали революцию 1917 года... Отречение — это роковой момент. Важно, что исторически оно было воспринято обществом очень тяжело. Все остались у какого-то пустого корыта. Через Государя присягали России, и отречение не снимало с них эту присягу.

О.К. Можно, конечно, пофантазировать, что по одной из причин великий князь Михаил Александрович, зная законы престолонаследия, мог отказаться от верховной власти из-за морганатического брака с Натальей Сергеевной (урожденной Шереметьевской), женой его подчиненного поручика.

Кн. Д.Ш. Вряд ли. Если Государь указал на своего брата великого князя Михаила Александровича, следовательно, этот вопрос становится второстепенным. Здесь не следует фантазировать.

О.К. Но, по Вашему мнению, может ли Мария Владимировна провозглашать Георгия Гогенцоллерн — Романова наследником Российского Императорского дома?

Кн. Д.Ш. Мне кажется, по духу закона пока есть наследники по мужской линии нельзя выдвигать наследников по женской линии. Но если вы меняете закон, или толкуете по-другому, то, конечно, вы все согласовываете по данному закону. Если вернуться к вопросу по линии старшинства, конечно, представитель старшей линии — Владимир Кириллович, а потом есть еще ближайшие родственники потомки Александра II, включая светлейшего князя Юрьевского, который тоже Романов. Нельзя забывать, что Юрьевский получил свою фамилию, как одну из первых фамилий Романовых — Романовых-Юрьевых-Кошкиных. Это Романовская фамилия, а не какая-нибудь другая. Князь Юрий Долгорукий не является предком князей того же имени, вернее Долгоруковых, которые ведут свой род от Черниговских князей.

О.К. По логике, если отступать от законов престолонаследия, то принц Юрьевский Ханс-Георгий являясь прямым потомком Императора Александра II и княгини Екатерины Долгорукой, имеет такие же основания объявлять себя наследником? Совершенно очевидно, что род Багратион-Мухранских не является царствующим домом. После присоединения грузинских княжеств в 1801 году к московскому государству они не сохранили суверенных прав, так как присягали на верность русскому царю, что являлось отказом от царских претензий. Поэтому они автоматически теряли свой суверенитет.

Кн. Д.Ш. В данном случае есть определенный прецедент, который можно использовать. Это факт, что великая княжна Татьяна Константиновна, которая вышла замуж за князя Константина Александровича Багратион-Мухранского в 1911 году, должна была отказаться от всех прав на престол, потому что ее брак рассматривался как мorganатический. Потому что единственные грузинские князья, которые имели особый статус, были светлейшие князья Грузинские, тоже Багратионы. Я отлично понимаю, что все эти вопросы могут болезненно восприниматься. Но нужно придерживаться истории. Все это было до 1917 года. После 1917-го многое меняется и требуется новый взгляд. Это не означает, что у меня есть новый свежий взгляд. Это лишь попытка разобраться в этом вопросе. Я просто делюсь соображениями. Сначала нужно рассматривать факты, а потом, действовать по совести. Конечно, я стараюсь быть объективным. Все мои предки присягали Императору. И я считаю, если я продолжаю традицию, от присяги России я не могу отказаться. А что касается присяги Императору, то императора нет. А присягали когда? Когда Император, или великий князь вступал на престол. Когда было соединение с одной стороны права наследия и правления. С моей точки зрения это так. вспомните, когда присягали Николаю Павловичу Романову. Думали, что будут присягать Константину, его брату. А по сути, Александр I ничего не подготовил, и если не ошибаюсь, считал, что Николай Павлович его наследник. Но он никого об этом не предупредил. Всегда надо подготавливать будущее. И в этом была ошибка Александра I. Восстание 1825 года, отчасти, произошло тоже из-за этого. Мои коллеги в основном не принимают Марию Владимировну. У каждого своя точка зрения. Кстати, отметим, что граф Петр Петрович Шереметев по происхождению того же корня как и все Романовы от Федора Кошки. Это тот же род Кобылы.

О.К. Поэтому важно собрать мнение лучших представителей русской аристократии пусть не единодушных во мнении, но старающихся добраться до истины.

Кн. Д.Ш. Лучше мнение объективного историка, который варился в этой каше, и немного разбирался. Эти разговоры мне знакомы с детства. Сегодня 13 декабря было празднование 90-летия Объединения Императорской гвардии. Я помню, когда был последний юбилей Лейб-гвардии Преображенского полка. Мой отец был секретарем полка. Праздновали юбилей в присутствии великого князя Владимира Кирилловича. И этим самым, если Вы хотите, гвардейское объединение и полк отдавали честь нашему представителю Романовых. Я помню, как это происходило, и какое сильное впечатление на меня это произвело. Я увидел несчастного, скромного представителя рода на которого обвалилось непосильное бремя и который находится в каком-то тупике.

О.К. Сложно, когда нет поддержки семьи...

Кн. Д.Ш. Остальные представители Дома Романовых были глубоко обижены этим постановлением насчет того, что Владимир Кириллович начал раздавать новые фамилии своим родичам. Кроме того, фамилию Романовские, или Романовские. Первый раз она появилась, после того как Великая княжна Мария Николаевна вышла замуж за герцога Лейхтенбергского. Потомство именовали герцогами Лейхтенбергскими — князьями Романовскими. Следовательно, фамилию Романовских не следует давать представителям по мужской линии. В конечном итоге, правильный титул Георгия, рассуждая с точки зрения Владимира Кирилловича и Готского альманаха — Романов-Голштейн-Готторп-Гогенцолерн, так как мужская линия Романовых угасла в XVIII. Но вполне понятно, что эта ветвь рассуждает, как надо сохранить преемственность, и оказаться на первом месте с точки зрения старшинства. И выделиться на фоне молодого поколения Романовых сохраняя русский язык.

О.К. Дмитрий Михайлович, по Вашему мнению, что двигало Владимиром Кирилловичем объявить себя наследником Императорского дома, не имея реальной власти?

Кн. Д.Ш. Мне кажется самое главное, это положение Великого князя Михаила Александровича. Его отказ от престола, который, по сути, касался всех, явно Кирилл Владимирович не признал. И как только он оказался за рубежом, объявил себя наследником Императорского дома. Это логич-

но, потому что он был самым старшим. Но это, конечно, не соответствовало, наверняка, мнению покойного Государя, который, как Вы знаете, издал тайный указ, дав этой ветви, если у них будут наследники, другой титул. Это многим известно. Между прочим, я, может быть, первый видел этот акт и никогда его не цитировал, не считая это полезным. Но теперь он опубликован. Государь дал секретное распоряжение, если у Великого князя будут дети, то они должны носить титул «Кирилловские». Все это было до 1917 года, до отречения Государя и, конечно, до рождения Владимира Кирилловича. Распоряжение было секретным и, следовательно, никак не сказывалось на перечне Императорской фамилии в Придворном Календаре. Тоже можно считать, что если существует семейный закон, он должен как-то преобладать. Совершенно последовательно эта ветвь продолжала считать, что она претендует на престол и таковой она была единственной. Тут есть определенная закономерность. Но эта закономерность, конечно, не опирается на законы о престолонаследии Российской империи. Почему? Потому что с момента революции, в общем, произошло пресечение всех законов. Законы может продолжать не только тот, кто является наследником, но и тот, который имеет реальную власть, либо является коронованным императором. Вот, такая точка зрения, мне кажется более правильной. Я совершенно не берусь рассуждать, в чем эта ветвь была права, в чем она была не права. Есть одна вещь, которая меня удручила это то, что Кирилл Владимирович всем членам Романовых, у которых были морганатические браки, изменил фамилии, называя их Романовскими, Романовскими-Ильинскими и т.д. Я питаю к Владимиру Кирилловичу особое уважение, и конечно, ко всему роду. Кроме этого, я с Владимиром Кирилловичем очень часто встречался, начиная с 80-х годов. Когда было празднование Крещения Руси, я ему говорил, что это важное событие Крещение Руси, Ваше Высочество. (Он имел право на титул Ваше Высочество; между прочим, все великие князья, когда их еще было несколько, решили, что он, как сын старшего имеет право носить этот титул). И я ему сказал, что, если Ваше Высочество хочет праздновать тысячелетие Крещения Руси, то нужно это делать в России, в Москве. Совершенно неважно: согласятся или не согласятся, пустят, или не пустят. Самое главное, все-таки высказаться. Это Ваше право, и совершенно естественно, это сделать в честь святого Владимира, чье Вы носите имя. Все равно останется, что в этот момент Вы были с Россией. В данном случае, это может быть воспринято тоже как определенная историческая последовательность. Я ему тоже советовал, так как он был старшим, объединить всех Романовых. Но, к сожалению, Леонида Георгиевна, несмотря на весь ее ум этому препятствовала.

О.К. Препятствовала? Почему?

Кн. Д.Ш. Потому что, с ее точки зрения, Владимир Кириллович единственный обладал легитимным правом. Я думаю, что самое главное право, которое он имел это то, что он был самым старшим. Это право старшинства, потому что законы после 1917 года могут оставаться для семьи, но не имеют больше, скажем, удельного веса, потому что официально они упразднены, они могут действовать в узком кругу. Например, Гвардейское Объединение живет по девизу «За Веру и Верность», Союз Дворян, живет по законам Российской империи до 1917 года. И когда мы принимаем в Союз Дворян, мы принимаем по этим законам. В этой области закон продолжает существовать.

О.К. Но, законно ли, что Мария Владимировна раздавала титулы?

Кн. Д.Ш. В данном случае, я очень сожалею, что раздаются титулы. Для нас это совершенно неприемлемо с исторической точки зрения. Она берет на это право во вред себе. Это не логично. Это воспринимается как неправильный шаг. Почему? Потому что она, может быть самая старшая, но государственная власть у нее отсутствует. А надо то и другое. Иначе говоря, чтобы как-то сохранить или утвердить свои права ей не хватает народного признания, или признания Учредительного собрания. На первом месте ставится воля народа. Мне кажется, такой подход самый трезвый. Выставлять ошибки предшественников — неправильно, но и игнорировать не надо! Каждый человек может ошибаться. На ошибках учатся. Сейчас они нас коробят, но они были совершены в то время, когда была полная неразбериха. То есть ошибки у всех и всегда были. Не судите, и не судимы будете. Я выработал для себя определенную точку зрения, это верность России. Первая русская династия это, мой род, это род Рюриковичей для которого забота о России на первом месте. Что конечно не подразумевает какие-либо нелепые притязания. В этом русле совершенно правильно была проведена выставка Рюриковичей в Москве. Зато удивительно, что из Рюриковичей, которых не так уж мало (есть несколько родов), ни один род не был представлен. Как будто все Рюриковичи угасли с сыном Иоанна Грозного. Это тем более неправильно, что после того как угасла ветвь Иоанна Грозного все-



Слева направо: Князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский, князь Александр Александрович Трубецкой, Оксана А. Карнович, князь Дмитрий Михайлович Шаховской на праздновании Объединения Императорской гвардии, Париж, 13 декабря, 2014 г.



Карнович Оксана А. берет интервью у князя Дмитрия Михайловича Шаховского. Париж, 13 декабря, 2014 г.



Ю.А. Трубников и О.А. Карнович. Париж, декабрь, 2014 г.

таки был Василий Шуйский, царь из рода Рюриковичей. Но не следует разбираться между кандидатами. Мы все знаем, что было в 1613 году. Хотя точно не знаем, как избирался Михаил Федорович, но, во всяком случае, он был избран Земским Собором и был составлен акт. И весь народ, включая Рюриковичей, включая Гедиминовичей, включая дворянство, служили и присягали через Государя России. Пожалуй, следует этого придерживаться. Самым важным можно считать службу России. Все что для России хорошо — хорошо, а все что для России плохо — плохо.

Беседа с Юрием Александровичем Трубниковым

О.К. Юрий Александрович, расскажите, пожалуйста, каким образом Мария Владимировна оказалась в России и стала вхожа в кабинеты российской власти?

Ю.Т. Она стала вхожа, потому что в Россию приехала с отцом, великим князем Владимиром Кирилловичем в 1991 году. Я довольно часто встречал его в тот период во Франции. Вернувшись в Париж после августовского путча, я рассказал ему о событиях, происходивших в Москве. Он спросил, могу ли я передать письмо Борису Ельцину. Я ответил: «С удовольствием». Владимир Кириллович писал, что хочет впервые приехать в Россию, где никогда не был. Неделю или две недели спустя, в сентябре я приехал в Россию, но не мог найти сотрудника Ельцина, с которым был знаком. Тот был в отъезде. Тогда я решил обсудить просьбу великого князя с Анатолием Собчаком, с которым у меня предварительно была назначена встреча. Я рассказал ему о Владимире Кирилловиче и спросил, как сделать так, чтобы письмо попало к Ельцину. Собчак сам предложил его передать, так как собирался ехать в Кремль и спросил: «Это открытое письмо?». Я ответил, что да, прочтите. Он прочел и сказал: «Я приглашу Владимира Кирилловича», что и сделал. И два месяца спустя, 5-го ноября, мы приехали в Ленинград, а 11 ноября уехали из Санкт-Петербурга.

О.К. Вы приехали с князем Владимиром Кирилловичем, или самостоятельно?

Ю.Т. Я часто бывал в России по долгу службы, знал многих людей. Не я аккредитовал князя лично, но один из моих друзей Алексей Березников в составе нашей группы. Приехал я не со всеми, а на день раньше, посмотреть, наладить и убедиться, все ли в порядке и т. д. Мы провели в Петербурге несколько дней. С ним приехала его жена Леонида Георгиевна, Мария Владимировна и ее сын Георгий, еще совсем мальчик.

О.К. Где состоялась первая встреча Владимировича Кирилловича с Ельциным? В России?

Ю.Т. С Ельциным он встретился впервые не в России, а во Франции, в резиденции посла в Париже на улице Греннель в феврале 1992 г. Ельцин приехал в Париж и посол Юрий Алексеевич Рыжов в его честь организовал прием и пригласил эмигрантов всех поколений. Многие тогда впервые вступили на российскую территорию. Народу было очень много. Среди приглашенных соотечественников был Владимир Кириллович с женой, но без дочери. После этого они вышли в другой кабинет, обменялись несколькими фразами, ничего интересного. Ни тот, ни другой не сообщали ничего существенного.

А потом несколько месяцев спустя, 21 апреля 1992 года, Владимира Кирилловича не стало. Его хоронил 29-го апреля в Петербурге в Исаакиевском соборе Патриарх Алексий, а после великого князя перезахоронили в Великокняжеской усыпальнице Петропавловского Собора.

О.К. Как Вы думаете, не воспользовался ли Владимир Кириллович теми сумбурными перестроенными временами, рухнувшим коммунистическим прошлым, чтобы его семью восприняли как наследников императорского трона?

Ю.Т. Я никогда не слышал, чтобы Владимир Кириллович себя называл наследником.

О.К. Значит, после смерти Владимира Кирилловича, Мария Владимировна сама себя провозгласила «Главой Дома Романовых»?

Ю.Т. Не совсем. Ее мать имела сильный характер и была убеждена, что Романовы-Кирилловичи должны вернуться как наследники трона, и убедила дочь в этом, помогая ей во всем.

О.К. То есть в большей степени в семье Леонида Георгиевна проявляла энергию, подготавливая дочь к «высокой миссии»... Вы встречались с Леонидой Георгиевной? Какое она производила впечатление?

Ю.Т. Характер очень сильный, но не значит, плохой, как это принято считать. Да, она умела добиться всего, чего она хотела.

О.К. Приходилось ли Вам общаться с Марией Владимировной по роду Вашей деятельности?

Ю.Т. Я ее встречал в Тюмени, где тогда жил, когда они ездили по всей России. После этого я раз ужинал с ней в Париже, но ее знаю хуже, чем Владимира Кирилловича.

О.К. В эмиграции все друг знают друга. Когда происходили какие-то общественные мероприятия, приемы замечали ли Вы в поведении Марии Владимировны позиционирование себя как «государыни»?

Ю.Т. После смерти Владимира Кирилловича я все меньше с ней встречался. Трудно ответить на вопрос прямо. Иногда кажется, что да, иногда — нет. Как всегда, все зависит от окружения. Короля делает свита.

О.К. Была ли у князя Владимира Кирилловича боль за Россию?

Ю.Т. Это было. Однако, нужно сказать, что до самого конца он имел малую роль в жизни эмиграции, плохо ее знал. Он не был ярким человеком, то есть активным как многие другие тогда и сейчас.

О.К. То есть не был лидером?

Ю.Т. Лидером не был. Тем не менее, я глубоко уважал князя Владимира Кирилловича.

О.К. Есть ли сейчас ли наследник Императорского дома?

Ю.Т. Слово «наследник» мне не нравится в данном случае. Есть Глава Императорского дома, кем был Владимир Кириллович Романов, а затем Николай Романович Романов.



Безбрежный Русский мир

Елена Лебедева

Елена Алексеевна Лебедева — представитель Межрегионального Шаляпинского Центра (творческая общественная организация, занимающаяся изучением жизни и творчества певца Фёдора Шаляпина). Публикуется около 20 лет. В Париже познакомилась с родственниками жены Шаляпина, автор около 70 статей о русской жизни в Париже, написала 20 статей для парижской газеты «Русская мысль».

Один день в Монморанси под Парижем

Небольшой городок Монморанси, находящийся в пятнадцати километрах севернее Парижа известен своими историческими памятниками, среди которых готический собор Сен-Мартен с витражами, самые старые из которых датированы XVI веком. Интересно и здание мэрии — небольшой замок в неоклассическом стиле, а также музей французского философа и писателя Жан-Жака Руссо (1712—1778), уроженца Женевы, прожившего в городке около пяти лет — с 1757-го по 1762 год. Особняк XVIII века, в котором он располагается, является хранилищем документов, рукописей и произведений писателя и воссоздаёт в маленьком доме Мон-Луи, стоящем внутри, среду его обитания. В саду есть уютный зелёный уголок, где, по воспоминаниям, летом Руссо принимал гостей, а также небольшой павильончик, где был его кабинет. Музей в особняке существует с 1952 года и был отремонтирован к 300-летию философа, которое недавно отмечалось.

В истории городка есть две интересные страницы, связанные с приездом в него многочисленных эмигрантов. Так, в XIX веке он стал пристанищем для польских эмигрантов-аристократов, которые укрылись в нём после неудавшегося национального восстания в Польше в 1830 году. Восстание было подавлено царским правительством, и польским аристократам, чтобы уцелеть, пришлось уехать из страны. Пользуясь связями с французскими военными, которые жили в Монморанси, они нашли себе надёжное убежище. Сейчас об этом свидетельствуют памятные доски и памятники, установленные внутри собора Сен-Мартен, а также многочисленные могилы на старом городском кладбище Шампо, которые сохраняются в идеальном порядке благодаря обществу охраны польских памятников. А в XX веке в Монморанси, как и в других предместьях Парижа селились русские эмигранты, вынужденные уехать из России из-за революции 1917 года и Гражданской войны. Однако отдалённость городка от пригородной железной дороги создавала транспортные трудности, и поэтому это были в основном те, кто редко ездил на работу в Париж — творческие работники либо русские, которые могли себе позволить жить без работы. После Второй мировой войны, в 1951 году, в городке был создан Русский дом для бывших военных-эмигрантов из России, которые были участниками Первой мировой войны или Гражданской войны, конечно, в рядах Белой армии.

Одним из его основателей был капитан В.А. Рагимов (1894—1984) — выпускник петербургского Павловского пехотного училища, который успешно был директором дома 29 лет. Через год после его открытия, в 1952 году, прошло освящение домово́й церкви Святого Николая. Её роспись выполнили супруги А.А. Бенуа и М.А. Бенуа. По сообщениям газет дом был одним из образцовых. В 1964 году был построен новый корпус, и в пансионе проживало 104 пансионера. В сентябре 1971 года, как писала парижская газета «Русская мысль», торжественно отмечалось 20-летие пансиона. Его многолетнему директору была вручена фарфоровая тарелка с изображением здания и памятной надписью. В 1975 году открылся ещё один новый корпус для приёма пансионеров. Дом существовал 50 лет и закрылся в 2001 году.

К сожалению, сейчас все обитатели Русского дома уже умерли, и теперь рассказать о нём могут лишь только те, кто приходил в гости к ним, дружа с постояльцами.

Мне удалось познакомиться с Владимиром Сергеевичем Деларовым — жителем Монморанси, который встречал меня на железнодорожной станции и любезно согласился показать мне достопримечательности городка. Он пригласил меня к себе в гости в небольшой двухэтажный дом с

мансардой, стоящий на одной из тихих улочек неподалёку от бывшего Русского дома. Пока хозяин готовил угощение, я с интересом посмотрела его дом и расспрашивала его об истории эмиграции его родителей.

Его отец Сергей Павлович Деларов (1896—1965) происходил из семьи известного петербургского коллекционера Павла Викторовича Деларова (1861—1913), который был действительным статским советником и служил юрисконсультом Министерства путей сообщения. Всё своё свободное время он отдавал собиранию европейской и русской живописи, был знаком со многими известными русскими художниками и вёл переписку с ними. Покупая у них картины, он имел дома богатейшую коллекцию. Это был один из крупнейших собирателей в России, большой знаток итальянской и нидерландской живописи. Его коллекция насчитывала около 2000 картин. Среди них были полотна Рембрандта, Йорданса, Рейсдала. Его имя часто мелькало на страницах газет. Он владел шестью языками, и к нему обращались для выявления подделок шедевров в Европе. Вторая жена Павла Викторовича, которая была матерью Сергея Павловича (отца Владимира Сергеевича), Елена Романовна Аршеневская происходила из старинного дворянского рода Аршеневских и была талантливой художницей. Она не имела профессионального образования, но особенно хорошо ей удавались натюрморты. После смерти коллекционера в 1913 году часть его коллекции была продана в Париже. Планировалась и продажа в Лондоне, но помешала Первая мировая война.

После революции часть картин оказалась в ленинградском Эрмитаже. Отдельные картины ушли в разные музеи. В 1937 году семью сослали в Уфу без права проживания в больших городах. Там Елена Романовна умерла в 1942 году. В Архангельском художественном музее имеется семейный портрет Деларовых кисти И.Е. Репина, написанный в 1906 году. На картине изображён коллекционер вместе с женой и дочерью Ниной — сестрой Сергея Павловича. Нина Павловна мечтала стать певицей, но у неё это не получилось. Она была очень замкнутым человеком, вероятно, из-за сложной судьбы своих родственников. Она умерла в Ленинграде около 1960 года.

Сергей Павлович окончил до революции Николаевское военное кавалерийское училище. Он служил в Лейб-Гвардии Кирасирском Его Величества полку. При подходе армии Юденича к Петрограду Сергей Павлович ушёл с ней из Павловска (где стоял его полк), думая, что покидает родительскую семью ненадолго и скоро вернётся обратно. Он был молод и в армии находился в чине корнета. Но жизнь распорядилась так, что после отступления армии Юденича от Петрограда он попал в Польшу, а потом в Париж, где устроился таксистом и проработал им всю жизнь, любя свою работу за гибкий график, встречи и знакомства с интересными людьми.

Судьбы двух старших братьев отца Владимира Сергеевича, оставшихся в России, были трагичны. Дмитрий Павлович (1898—1970) был офицером царской армии. В 1935 году, после убийства Кирова, его сослали без права переписки на строительство Беломорско-Балтийского канала. Через 10 лет его послали в Казахстан, в посёлок Озёрный, где он прожил всю оставшуюся жизнь. Вторым братом Борис Павлович обвинялся в контрреволюционной деятельности и причастности к монархическим организациям. Он был арестован в феврале 1925 года, а затем расстрелян. Первопричиной послужило празднование очередной годовщины окончания Царскосельского лицея в 20-е годы с собравшимися друзьями. Компания, изрядно выпив, пела при открытых окнах гимн «Боже, царя храни». Это было слышно на улице, и нашлись люди, которые проинформировали об этом соответствующие органы. Поэтому и начались преследования всех присутствующих на той вечеринке.

Мать Владимира Сергеевича — Ольга Фёдоровна Деларова (1909—1975), урождённая фон Засс, была баронессой. Её отец был судьёй. Семья жила в Полтаве, но во время революции оказалась в своём имении Натальино на Кубани, вблизи станции Гулькевичи. Имение было названо так в честь бабушки Ольги Фёдоровны. После революции мать Ольги Фёдоровны Тамару Васильевну, урождённую Маркозову, арестовали в Натальино и посадили в тюрьму, а затем расстреляли. Старшая сестра Ольги Фёдоровны — Мария Фёдоровна, даже не могла добиться потом её тела. Отец сестёр тоже был арестован. Его сослали на север, а затем отправили по этапу. Он вскоре умер в Новочеркасской тюрьме.

Мария Фёдоровна (1893—1981), тётя Владимира Сергеевича, была замужем за Антоном Мейнгардовичем Шифнер-Маркевичем (1887—1921) — офицером царской армии, который в Гражданскую войну был генералом Белой армии. Он получил два ранения, эвакуировался в Галлиполи. Там заразился тифом, посещая в госпитале своих больных однополчан, и вскоре умер в Галли-

поли. В семье был маленький ребёнок, который умер в России от инфекционного заболевания в тяжёлое время Гражданской войны. Ольга Фёдоровна тоже перенесла тиф. Ей удалось выздороветь, но детей больше не было. Всю свою жизнь она помогала сестре и её семье. После Галлиполи она сумела оказаться в Париже, откуда в середине 1920-х годов, когда в России уже был НЭП, ей удалось прислать приглашение в Париж младшей сестре Ольге Фёдоровне, которая в то время переехала с юга России к родственникам мужа сестры Шифнер-Маркевичам под Ленинград.

В Париже и познакомились родители Владимира Сергеевича. Семья поселилась в северо-западном районе города — недалеко от Аньера. Во всех окружающих домах жило по несколько русских семей. Владимир Сергеевич с большой теплотой вспоминал свою тётю, которая много занималась с детьми — с ним и его сестрой Екатериной. Ему и его сестре удалось получить высшее образование. Он даже параллельно получил два диплома. В 1952 году он окончил три курса Сорбонны с правом преподавания истории и высшую химическую школу, знания которой легли в основу его профессии химика. Он занимался анализами при испытаниях лекарств в фармацевтической промышленности. Его сестра была сотрудницей металлургического предприятия. Она ездила в Россию как переводчица в командировки. Они очень дружны со своей сестрой и до сих пор он каждую неделю навещает её.

Жена Владимира Сергеевича — Людмила Богдановна (урождённая Флери-де-Россет) родилась во Франции в 1933 году и имела русские корни. Её мать была урождённая Павлова. Отец служил в польской и русской армии. Когда Людмила была совсем маленькой, он поехал в Польшу и вскоре там умер. Вторым браком мать вышла за двоюродного дядю Владимира Сергеевича. Семья вначале жила на юге Франции, а позже переехала в Париж. Владимир Сергеевич познакомился со своей будущей женой, когда был в гостях у родственника. В Париже Людмила работала в магазине «Оптика». Они стали часто встречаться и соединили свои судьбы. Вначале жили в Париже, а в 1968 году переехали в этот дом в Монморанси, где я оказалась в гостях. Там было свободней, и дети могли много времени проводить на свежем воздухе. В семье выросло четверо детей с русскими именами: Алексей, Сергей, Павел, Анна. Они все умеют разговаривать по-русски и некоторые используют знание языка для работы. В 2003 году Людмила Богдановна умерла от тяжёлого заболевания. За ней был очень сложный уход, и поэтому её пришлось в последние годы поместить в Русский дом в Кормей-ан-Паризи под Парижем, в котором в конце жизни жила тётя Владимира Сергеевича Мария Фёдоровна Шифнер-Маркевич.

Сейчас все дети со своими семьями живут отдельно от отца, но собираются у него на Рождество и Пасху. Уже семеро внуков — четвёртое поколение от отца Владимира Сергеевича, покинувшего Россию.

Приготовленный хозяином обед был очень вкусным. Мне удалось посмотреть альбомы со старыми фотографиями и узнать, что хозяин и его жена бывали в Русском доме в Монморанси.

Ещё с детства Владимир Сергеевич помнит, как в середине 1930-х годов к ним в гости приходила жена генерала армии Врангеля Ф.Н.

Бековича-Черкасского (1870—1953) — княгиня Надживат Бекович-Черкасская (?—1979), которая была приятельницей его тёти. Мальчику очень хорошо запомнилось при знакомстве её необычное имя. После смерти генерала его вдова, оставшись одна, около 10 лет провела в Русском доме в Монморанси. Там её часто навещала Людмила Богдановна, с которой они были очень близки. Бывал и Владимир Сергеевич. Именно его жена выполнила последнюю просьбу княгини Надживат о её похоронах на мусульманском кладбище в Бобины под Парижем, где был похоронен её муж-генерал.

В доме Владимира Сергеевича в Монморанси в конце 1960-х собирались однополчане его отца по кирасирскому полку и их потомки. Обычно приходило человек 10—15, которые встречались один раз в год в полковой праздник — день создания полка в начале июня.

Вместе с Владимиром Сергеевичем мы посетили Новое кладбище Монморанси — кладбище Гролэ, находящееся на восточной окраине Монморанси. О русских военных и их вдовах, живших в Русском старческом доме, свидетельствуют 264 могилы, начиная с 1951 года до 2000 года. Русская часть кладбища находится в большом запустении. На неё можно попасть, если идти от ворот по центральной асфальтированной дороге, сворачивающей направо. Через 20—30 метров после её поворота можно увидеть многочисленные православные кресты, часть из которых уже повали-

лась на землю. Ухоженных русских могил — единицы. Надписи на памятниках с трудом читаемы. Среди них могила Павла Старжецкого-Лаппы (1880—1970), однополчанина отца Владимира Сергеевича и большого друга, которого Владимир Сергеевич из-за преклонного возраста не раз отвезил домой в Париж, когда собирались у него. Неподалёку обнаружилась могила генерала Леонида Богаевского (1867—1951), жившего до Второй мировой войны в Югославии, а после войны переселившегося во Францию.

На кладбище есть небольшая православная часовня в очень хорошем состоянии в память русских, участвовавших в Первой мировой войне. Её можно увидеть сразу же слева от ворот. При истечении сроков хранения в неё сносятся останки всех похороненных из Русского дома. Интересно, как будет выглядеть русский участок кладбища спустя несколько десятилетий? Ведь русские памятники, в отличие от польских, на кладбище Шампо, не охраняются никаким обществом, а факт их разрушения очевиден. С высокой степенью вероятности большая часть их исчезнет.

Осмотрев кладбище, мы поехали на станцию железной дороги. По пути, в машине, я интересовалась у своего спутника, доводилось ли ему бывать на родине его отца — в России. Он рассказал мне, как три раза посетил нашу страну.

Первый раз это удалось ещё при жизни отца, в 1958 году, с группой сотрудников научно-исследовательского института, где он работал. Его отец не радовался этой поездке. Он очень боялся за сына, который решил разыскать в Ленинграде родственников и встретиться с ними. Он считал также, что сын может навредить родственникам. Вся французская группа из одиннадцати человек путешествовала на машинах. Владимира Сергеевича взяли потому, что он хорошо знал русский язык и обеспечивал общение группы в СССР. Через Германию и Польшу приехали в Москву, посетив по дороге Смоленск. Затем через Загорск поехали осматривать Ленинград. В Ленинграде спустя более 30 лет удалось найти только родственников Шифнер-Маркевичей, у которых перед отъездом во Францию жила его мать Ольга Фёдоровна в середине 20-х годов. Встреча с ними была непродолжительной, так как они очень боялись. Владимир Сергеевич передал им подарки и представился сыном Ольги, которая уехала от них в Париж в 20-е годы. Об этой встрече при его длительном отсутствии среди туристов стало известно сопровождающему группы из Ленинграда. Было сделано замечание о том, что не следует на длительное время отлучаться из группы. Город очень заинтересовал всех туристов и понравился. Осмотрев Ленинград, все погрузились на паром. Через Балтийское море переправились в Германию и вернулись во Францию. Путешествие окончилось благополучно, несмотря на предупреждения и инструктаж во Франции перед поездкой об опасностях, подстерегающих иностранных туристов в СССР.

Второй раз он попал в СССР спустя 20 лет. Это было уже с семьёй по туристическим путёвкам в 1979 году. А в 1995 году он ездил ещё раз как турист и смог уже видеться с родственниками без всяких опасений. Завязались контакты. Несколько лет назад его двоюродный брат Андрей Дмитриевич (сын Дмитрия Павловича, сосланного в Казахстан) приезжал к нему на месяц из Санкт-Петербурга и жил в его доме в Монморанси.

Я интересовалась, состоит ли мой спутник в какой-либо общественной организации в Париже, связанной с русской эмиграцией, и узнала, что он член правления Союза потомков галлиполийцев. Союз регулярно собирается. Разговаривают на встречах в основном по-русски, чтобы не забыть язык, прослушивают доклады и организуют торжества, связанные с историческими датами.

Наша встреча подошла к концу. На станции я, уезжая в Париж, обещала написать статью о сложных судьбах, с которыми меня познакомил мой спутник. Я благодарю его за гостеприимство и большое внимание.



Берега культуры и искусства

Владислав Краснов



Доктор философии Владислав Краснов, общественный деятель и учёный, проживает в США, где возглавляет общество русско-американской дружбы Родом из Перми, выпускник истфака МГУ, он закончил карьеру профессором Монтерейского Института Международных Исследований в Калифорнии. Книги на русском языке: Пермский крест: Михаил Романов. Москва, 2011, Солженицын и Достоевский: искусство полифонического романа, Москва, 2012, Новая Россия: от коммунизма к национальному возрождению, Москва: «Литературная Россия», 2014. Статьи печатал в эмигрантских журналах Грани, Посев, Континент и в газете Новое Русское Слово, а также в The New York Times, Wall Street Journal, Christian Science Monitor, Los Angeles Times, San Diego Union etc.

Без царя в голове

Русская культура на перепутье

Хочется думать, что русская культура могла бы послужить не только одним из ресурсов, но даже ГЛАВНЫМ стратегическим ресурсом России в соревновании с другими странами в обеспечении мира, правопорядка и благоденствия у себя дома и на Планете. Увы, при трезвом взгляде на обстановку в России, можно говорить лишь о потенциале развития этого ресурса. Этот потенциал огромен, но он так и останется втуне, если в самой России не найдутся деятели, способные превратить русскую культуру в реальный фактор внутренней и внешней политики.

Главная загвоздка тут в том, что разгром дореволюционного культурного наследия в годы советского лихолетья размыл и засорил само понятие русской культуры. До сих пор неясно: можно ли совместить возрождённые элементы этого наследия с теми достижениями подспудного развития русской культуры, которые, несомненно, были сделаны в течение советского периода внутри и вне официальной советской культуры? Мне думается, что будущее русской культуры вообще, и литературы особенно, зависит именно от способности нынешних деятелей культуры — создать такой органический синтез.

Погром русской культуры

Начнём с погрома русской культуры, устроенного большевиками в самом начале культурной революции. Главным вдохновителем погрома был В. И. Ленин. «В каждой национальной культуре есть, хотя бы не развитые, элементы демократической и социалистической культуры, ибо в каждой нации есть трудящаяся и эксплуатируемая масса, условия жизни которой неизбежно порождают идеологию демократическую и социалистическую», — наставлял Ленин своих партийных товарищей. При этом, «в каждой нации есть также культура буржуазная (а в большинстве еще черносотенная и клерикальная)». Конкретно для России он признавал, что «буржуазная культура» присутствует здесь «в виде господствующей культуры», что «национальная культура вообще есть культура помещиков, попов, буржуазии».¹

¹ Цитируется по книге И. В. Кузнецов, В. И. Лебедев. Пособие для учителей «ИСТОРИЯ СССР. XVIII - середина XIX вв». Учпедгиз. Москва, 1958 г. <http://www.detskiysad.ru/raznlit/istoria113.html>

Теория «двух культур»

Такова теория «двух культур», на которую, как помнят люди нашего поколения, опиралась вся мощь советской пропаганды до самого конца СССР. Однако я нашёл эти ссылки на авторитет Ленина не в архиве, а на одном сегодняшнем сайте, посвящённом детскому воспитанию. Цитаты взяты не из собрания сочинений Ленина, а из пособия для учителей, изданного Учпедгизом в 1958 году. С расчётом на студентов педагогических заведений создатели сайта рекламируют эту книгу, которая якобы «во многом совершенно не устарела».

Далее идут цитаты из статьи Ленина «*О национальной гордости великороссов*», которая легла в основу советской культурной политики. На неё ссылались всякий раз, когда надо было подкрепить марксизм-ленинизм «русским патриотизмом». «Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, — говорит Ленин, — чувство национальной гордости? Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою родину, мы больше всего работаем над тем, чтобы ее трудящиеся массы (т. е. 9/10 ее населения) поднять до сознательной жизни демократов и социалистов».

Что бы Ленин ни говорил о своей *русскости*, его главным увлечением было не своеобразие русского национального опыта, а приверженность к учению Карла Маркса о классовой борьбе как движущей силе прогресса. По существу, Ленин отверг духовный опыт своего народа в пользу абстрактной теории, нигде не испытанной на практике, зато «*западной*». Особую ненависть *богоборца* Ленина вызывал тот факт, что национальная русская культура опиралась на ценности христианского православия (отсюда его причисление «попов» к эксплуататорам).

Итоги погрома

Преклонение Ленина и других русских революционеров перед «учённостью» Запада обернулось трагической *западнёй*, в которую Россия провалилась в 1917-м и просидела там чуть ли не весь XX век. При этом сами западные народы показали себя умнее. Отказавшись от самоубийства классовой борьбы и от крайнего богоборчества, они добились большего социального и экономического прогресса, чем Россия, погнавшаяся за марксистским «Западом».

В результате ленинской «культурной политики» за борт советской культуры были выброшены выдающиеся русские люди. Десятки писателей были убиты. Сотни репрессированы. Запрещённых писателей и деятелей культуры было ещё больше. Даже такие официально не запрещённые классики как Лев Толстой, Фёдор Достоевский и Антон Чехов допускались к советскому читателю только в урезанном и искажённом виде. Запуганным и задёрванным авторам несть числа. Даже «пролетарские» Маяковский и Горький не могли выжить в стране «демократической и социалистической великорусской культуры».

Суровой была судьба таких «несозвучных» эпохе писателей, как Василий Розанов, Евгений Замятин, Андрей Платонов, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Максимилиан Волошин, Михаил Булгаков, Николай Заболоцкий. Начало «*избиению младенцев*» и превращению русской культуры в советскую макулатуру положил сам Ленин. Как известно, он был причастен как к казни Николая Гумилёва, так и к высылке за границу в 1922 году «философского парохода»

Из-под глыб

В 1974 по инициативе Солженицына в Париже был издан сборник «Из-под глыб»,¹ циркулировавший потом в самиздате в СССР. Кроме Солженицына, в сборнике участвовали Игорь Шафаревич, Михаил Агурский, Евгений Барабанов, Ф. Светов, М.К. Поливанов и В.М. Борисов. Тезис сборника в его названии: русская культура раздавлена, но её остатки и осколки могут быть ещё извлечены *из-под глыб*, уцелевших после проката коммунистического бульдозера. Картина разгрома русской культуры в результате *культурной революции*, терзавшей страну более полувека, была

¹ https://ru.wikipedia.org/wiki/Из-под_глыб

более удручающей, чем последствия 250 лет татаро-монгольского ига. Ведь монголы не старались выкорчевать христианскую веру русского народа, которая издревле составляла ценностную основу русской культуры.

Наивно предполагать, что *гласность*, открывшаяся в годы *перестройки*, восстановила хотя бы остов русской культуры. Скорее, гласность дала возможность поговорить и повздыхать об уроне, ужаснуться его масштабами. Но реанимировать полуживое тело дореволюционной русской культуры и восстановить менталитет, её породивший, гласность была не в состоянии.

Зато дух русской культуры сохранился и даже кое в чём укрепился в *русской диаспоре*. Недаром среди русских эмигрантов бытовало выражение *«Мы не в изгнании, а в послании»*. Так думали и философы, как Николай Бердяев и Иван Ильин, и литераторы, как Мережковский, Гиппиус, Михаил Осоргин, Илья Сургучёв, Иван Бунин, Вячеслав Иванов, Иван Солоневич. И деятели театра, как Сергей Дягилев и Анна Павлова; художники Наталья Гончарова и Борис Григорьев, композиторы Игорь Стравинский и Сергей Рахманинов. Их *«послание»* состояло в убеждении, что *политическое и военное поражение сил правопорядка в России в 1917 году не означало духовной капитуляции русского народа*. Это послание было *благой вестью* для России. Это послание было живым напоминанием Западным политикам, заигрывавшим с СССР, что коммунизм не вечен и что Россия может ещё воспрянуть. Это *послание* вдохновляло здравые силы Запада и мыслящих россиян на сопротивление советскому тоталитаризму.

Живительная сила «послания» белых эмигрантов окрепла послевоенным «экспортом» на Запад сочинений Бориса Пастернака, Андрея Амальрика, Варлама Шаламова, Владимира Максимова, Михаила Булгакова, Александра Зиновьева, Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Иосифа Бродского и других запретных авторов. Утечка диссидентских сочинений на Запад показала леволиберальной западной элите, что социалистическая система страдает неизлечимым недугом.

Пожалуй, самую заметную роль в просвещении Запада сыграли произведения Солженицына. Именно он заклеил советскую систему как родину ГУЛАГа. Когда же он был выслан на Запад в 1974, то прямо предрёк грядущую смерть советской системы. За это он был освистан леволибералами, заправлявшими западными СМИ. Тем не менее, крен западной интеллигенции в сторону коммунизма был сильно заторможен.

В своей вступительной статье **«На возврате дыхания и сознания»** к сборнику *«Из-под глыб»* Солженицын предупреждал против соблазна бездумного копирования западной демократии: *«И если Россия веками привычно жила в авторитарных системах, а в демократической за 8 месяцев 1917 года потерпела такое крушение, то, может быть [...] следует признать, что эволюционное развитие нашей страны от одной авторитарной формы к другой будет для неё естественней, плавнее, безболезненней?»*

Вопрос резонный. Писатель знал, что его сочтут ретроградом. *«Но и реальных путей перехода от нашей сегодняшней формы к демократической республике западного типа тоже нам никто ещё не указал. А по меньшей затрате необходимой народной энергии первый переход представляется более вероятным»*. Ввиду колоссальных людских и производственных потерь в результате *демократической шоковой терапии* 1990-х, иначе как пророческими слова Солженицына не назовёшь.

Формально гражданская война прекратилась в 1922 году, но идеологическая гражданская война против русской культуры велась весь советский период и закончилась лишь в августе 1991 года. Именно тогда в Москву были впервые приглашены *«белоэмигранты»* и другие *россияне в рассеянии сущие*, которые исповедали не «советскую культуру», а *единую и нераздельную русскую культуру*. Речь идёт о Первом Конгрессе Соотечественников, который состоялся 19-30 августа того же года. Мне посчастливилось быть среди участников этого эпохального, но, увы, почти не замеченного и сейчас забытого события.

Не замечен он был, вероятно, потому, что день его открытия совпал с началом путча. Как советские, так и западные СМИ моментально *забыли о новости, которую ждали семьдесят лет*. Ведь это было возвращение на «блудную» родину её верных сынов. Злобой дня тогда было: Кто кого одолеет? Путч ГКЧП? Или фронда Горбачёв? Или путч Ельцина? Советские СМИ не захотели или не сумели показать эти два события, Конгресс Соотечественников и путч, во взаимосвязи. Оба события должны были бы дополнять и прояснять друг друга символически и практически. Ведь 19 августа был христианский праздник *Преображения*.



Лихолетье 1990-х

Как развивалась русская культура после августа 1991, Вы знаете лучше меня. Вместе со всей страной в лихолетье 1990-х она не столько жила, сколько выживала в условиях нищеты и национального унижения в купе с *разгулом свободы на грани беспредела*. Книг печаталось много на самые разные темы. Свобода литераторов (деятелей театра, кино и искусства вообще) была ограничена *только* безденежьем и развалом советской сети распространения книг по библиотекам и книжным магазинам страны. Только на заре нового тысячелетия видные деятели советской культуры оправились от *культурного шока 1990-х*.

Но главным препятствием для возрождения русской культуры были не материальные трудности, а *цепкость советского менталитета* как среди писателей, так и читателей. И те, и другие в 1990-е годы *перестали быть людьми советскими, но не стали ещё людьми русскими*. Под словом «русские» я имею в виду не только этнических русских. Я имею в виду всех приверженцев русской культуры, независимо от их этнической, политической, конфессиональной принадлежности. Такая приверженность едва ли возможна без признания факта, что православное христианское мирозерцание лежало в основе дореволюционной русской культуры. *Русская культура была целым и единым организмом, который жил сложно и противоречиво, но полной жизнью до 1917 года, до тех пор, пока большевики не покусились разорвать его на части по принципу классовой ненависти и гражданской войны*.

И вот этой приверженности к единой и неделимой русской культуре я не вижу до сих пор среди широких масс населения России. Она не исчерпывается знанием русского языка или политической лояльностью к РФ. Она требует любви и уважения к исторической и культурной самостоятельности русского народа и его ключевой роли в многовековой Российской империи. К сожалению, память о своеобразии русской культуры по большому счёту была утрачена. Поэтому вопрос о способах извлечения русской культуры *из-под глыб* и её возрождения в условиях глобализации стоит остро.

Внутренний Железный занавес

Мы склонны забывать, что Советская Россия была изолирована *Железным Занавесом* не только от внешнего мира, но и от своей собственной истории и культуры. Как и предупреждал Солженицын, с поднятием *внешнего* Железного Занавеса через подворотню в Россию потекли не только плоды западного просвещения—не буду оспаривать ценности многих из них,— но и навозная жижа, да ещё и с ядохимикатами под привлекательными наклейками глобализации. И эта жижа не только затопила *«совковую»* культуру, лишившуюся государственной поддержки, но и отвлекла внимание от первейшей задачи извлечения досоветской русской культуры *из-под внутреннего* Железного Занавеса.

Общей чертой постсоветского состояния культуры стала её *коммерциализация*, то есть такие условия рыночной игры, которые постоянно соблазняют, свращают и растлевают авторов на интеллектуальную проституцию, то есть торговлю бездушным телом произведений, насыщенных банальностью, пошлостью, а то и порнографией, и криминалом. Разумеется, в России, как и на Западе, есть много талантливых и честных авторов, но боюсь, не они определяют общее состояние культуры.

Эффективного противоядия от чужеродного влияния до сих пор нет. Иммунная система, которая отличала открытую и восприимчивую дореволюционную русскую культуру со времён Пушкина и Гоголя, была разрушена диктатом ленинской концепции двух культур.

К Новому Синтезу

Поэтому задача восстановления единой и самобытной русской культуры после её разгрома Лениным и его наследниками остаётся актуальной. Страна нуждается в новой концепции строительства русской культуры, нацеленной на создание животворного синтеза:

- лучших произведений дореволюционной эпохи;
- лучших произведений советского периода;
- лучших образцов литературы русского Зарубежья;
- лучших переводов на русский авторов малых народов РФ.

Называя этот синтез русским, я ни в коей мере не хочу исключить из него культуру других народов России, будь то угро-финны, татары, кавказцы, буряты или евреи. Полноводная река единой русской культуры испокон веков питалась мощными притоками всех народов России как в царское, так и в советское время. От распада этого единого «водного бассейна» пострадают все народы РФ. Задача российских политиков обеспечить тесное общение, взаимопонимание, взаимодействие и дружбу всех народов России через посредство русского языка при государственной поддержке переводов с русского языка и на русский язык лучших авторов страны.

Речь не идёт также об исключении иностранных и чистке советских авторов. Речь идёт о восстановлении естественного процесса *полифонического сосуществования, взаимопроникновения и взаимовлияния разных школ, методов и стилей, независимо от их политической, идеологической или эстетической ориентации*—того процесса, который был искусственно и насильно задушен монологом ленинской культурной политики.

Состояние русской культуры в настоящее время можно определить гоголевской фразой об одном обманщике, который до поры до времени умудряется жить вольготно и размахисто. При этом он *«несколько приглуповат и, как говорят, без царя в голове»*, то есть *«не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли»*. Вот и нынешняя русская культура вообще и литература в частности, кажется, стоят сейчас на перепутье, не могут сосредоточиться на главном, то есть живут без царя в голове.

Разумеется, ещё со времён Радищева, Чаадаева, Белинского, Чернышевского, Некрасова и Салтыкова-Щедрина русская литература отличалась социально-политическим пафосом, как Ленин правильно заметил. В этом была её сила и уникальность. Её полемический настрой позволял ей играть *роль гражданской оппозиции в условиях самодержавия*, не допуская партийной оппозиции, как это было в западных странах.

Пролетарский Интернационализм или Всемирное Братство?

8 (20) июня 1880 в связи с открытием памятника Пушкину в Москве Достоевский сделал смелую попытку примирить русское общество, разделившееся на западников и славянофилов. Он отметил своеобразие русского национального опыта. *«Стать настоящим русским, стать вполне русским... значит ...стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите. О, всё это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение, хотя исторически и необходимое. Для настоящего русского Европа и удел всего великого арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей»*.

Достоевский признал, что и славянофилы, и западники были движимы чувством любви к родине и желанием облегчить нелёгкую долю трудового народа. Он указал на Пушкина как образец для всех писателей в деле служения высоким общественным идеалам, независимо от политической ориентации. Он выразил уверенность, что именно людям русской культуры предстоит сказать «НОВОЕ СЛОВО» для преодоления религиозных, социальных и политических противоречий, раздиравших тогда Европу. В терминологии того времени он предрекал, что Россия должна сыграть роль объединителя всех цивилизованных *«арийских»* народов на основе христианских заповедей.¹

Этому не суждено было случиться. Ибо тенденцию к полемическому противоборству классической русской литературы большевики раздули в идеологическую, политическую, да и просто гражданскую войну, поставив марксистско-ленинскую идеологию монопольным заказчиком на культуру бывшего СССР.

¹ Речь Достоевского была произнесена 8 июня 1880 года на заседании Общества любителей российской словесности. http://az.lib.ru/d/dostoevskij_f_m/text_0520.shtml

Вместо поиска всемирного братства, Россия пошла по порочному пути *«пролетарского интернационализма»*. Идеиные шатания российской интеллигенции спихнули страну к терроризму и революции 1905 года. А девятью годами позже *«цивилизованная»* Европа сама скатилась к мировой войне за передел границ и рынков сбыта. Ни Россия, ни Америка не смогли или не захотели воспрепятствовать этой бойне и сами втянулись в неё. Бессмысленность войны помогла большевикам осуществить их план превращения *«империалистической войны в войну гражданскую»*. Война закончилась падением трёх монархий и традиционного, освященного христианской церковью порядка в России, Австро-Венгрии и Германии. На смену пришли народные *«вожди»*, *«дуче»* и *«фюреры»*. Так, на волне демократического соблазна, популизма и заигрывания с народом двадцатый век оказался веком жестоких тиранов и демагогов.

Примирение на Донском Кладбище

В конце мая 2012 года я побывал на кладбище Донского монастыря, чтобы почтить могилу Александра Исаевича Солженицына, великого сына русского народа, сыгравшего огромную роль в освобождении России от марксистско-ленинского ига. Не меньшую роль он сыграл и в духовном сопротивлении Западу против советской экспансии. Сейчас на этом кладбище мирно сосуществуют обе «половины» русской культуры. *«Реакционная»* философия покоится в могилах Ивана Ильина и Ивана Шмелёва. *«Помещичья и буржуазная»* культура представлены здесь захоронениями «белых» героев Владимира Каппеля и Антона Деникина, а революционно-демократическая Петром Яковлевичем Чаадаевым.

Когда-то Чаадаев предрёк, что России суждено преподать всему миру важный урок. Через коммунистический эксперимент Россия действительно дала миру урок, и даже несколько уроков. Что насильно мил не будешь, ни у себя на родине, ни за границей. Что нельзя повести за собой другие страны, раздувая ненависть внутри них. Что нельзя полюбить весь мир, презирая самого себя. По иронии судьбы, этот последний урок вытекает из недооценки самим Чаадаевым своеобразия русского национального опыта. Большевики тоже погнались за западной «золотой рыбкой», которую им обещал марксизм, презрев ловлю «простой рыбки» у себя дома. И оставили Россию у разбитого корыта.

А вот пророчество Достоевского остаётся невыполненным. Русская культура до сих пор стоит на перепутье. Дабы не остаться навсегда у разбитого корыта, дабы избежать своего дробления и упадка, Россия должна сосредоточиться на возрождении и развитии своей собственной уникальной культуры. Только крепко укоренившись в своей земле, древо русской национальной культуры сможет вознести свою крону на мировой уровень.

«Пролетарский» выпускник ГУЛАГа Солженицын символизирует примирение этих двух культур на Донском кладбище. Пусть ему не удалось произнести то НОВОЕ СЛОВО, которое должно было примирить все народы, как мечтал Достоевский. Но тот вклад, который он и другие деятели русского *«послания»* сделали для спасения Запада от коммунизма, является залогом того, что русская культура может ещё стать главным стратегическим ресурсом для превращения Российского государства в гаранта мира, правопорядка и благоденствия на всей планете.



Берега культуры и искусства

Лидия Довыденко

Прорыв русского искусства

Художественные направления в русской живописи и их отражения на сцене (1880—1930): Проект выставки

Уникальный по масштабу и значимости выставочный проект Государственного театрального музея имени А.А. Бахрушина и Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства был представлен 30 января в Музее имени Бахрушина. «Уникальный» произнесено не для красного словца. В самом деле, впервые в российской и мировой экспозиционной практике будут представлены все направления русского театрально-декорационного творчества блистательной эпохи его расцвета конца XIX — первой трети XX века.

Эскизы костюмов и декораций, макеты постановок, афиши спектаклей, выполненные такими великими мастерами, как Лев Бакст, Александр Бенуа, Александр Головин, Константин Коровин, Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Александра Экстер, Казимир Малевич, Александр Родченко, а также их учениками и последователями — всего более 400 произведений — будут дополнены фото- и киноматериалами, видеопрограммами, которые позволят расширить рамки восприятия выдающейся коллекции.

В своём кратком вступлении на презентации проекта Александр Михайлович Рубцов, заместитель директора Музея имени Бахрушина, отметил: «Для нас это счастливые дни. Завтра, по старому стилю, исполняется 150 лет со дня рождения основателя нашего музея Алексея Александровича Бахрушина. А 12 февраля мы будем отмечать его юбилей по новому стилю — два замечательных дня.

Только что мы отметили 120-летие музея, 100-летие передачи удивительной коллекции театральных раритетов Алексеем Александровичем Бахрушиным Российской Императорской Академии Наук. На этой импровизированной сцене вы видите живописную работу в наивном, декоративном стиле. Это портрет Алексея Александровича Бахрушина. Нам его привезли вчера. Автор — большой друг нашего музея — Юрий Александрович Бурков, художник-любитель из города Апрелевка. Там есть Малые Горки, где у Бахрушина была дача. Спасибо большое Юрию Александровичу!»

Выставка в Лондоне

«Как вы понимаете, — продолжил Александр Рубцов, — один из главных символов музея — это дом. Его главное настроение, дыхание, линия. У нас бывает очень много гостей, но самые глобальные проекты мы осуществляем вне стен этого музея. Один из них — выставка русского театрального авангарда, которая открылась в прошлом году в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Она признана культурной общественностью одним из главных событий культурной жизни перекрёстного года Великобритании и России».

Об успехе этой выставки говорят следующие факты. Из-за напряжённых политических отношений между Россией и Великобританией выставка была перенесена в малюсенькое помещение, далеко от входа в музей. И, несмотря на то, что рекламы выставки у входа в музей по сей день не существует, её посетили уже 100 тысяч зрителей. Газета «Дейли стар» написала, что выставку разместили в «утробе» музея, но в связи с огромным интересом публики, выставку продлили на месяц.

Русская театральная живопись конца XIX — начала XX веков характеризуется качеством, красочностью, динамизмом. Этим она отличается от мировой театральной живописи, ведь ею занимались выдающиеся русские художники того времени. Они заразили Запад своим творчеством после того, как Дягилев привёз свои постановки в Париж в 1908 году.

Русский прорыв

Осуществление этого грандиозного проекта невозможно представить без объединения двух крупнейших собраний: коллекции Никиты и Нины Лобановых-Ростовских, которая находится в музее театрального и музыкального искусства в Санкт-Петербурге, и собрания знаменитого Бахрушинского музея. Его генеральный директор Дмитрий Викторович Родионов подчеркнул: «Мы уже давно договорились с Никитой Дмитриевичем о том, что в этот период мы встретимся с вами и расскажем об одной идее, об одном проекте, который Никита Дмитриевич предложил нашему музею уже достаточно давно. И мы уже год, если не больше, обсуждаем творческие проблемы. Для нас формат презентации выставочного проекта — на самом деле величайшее событие. Раньше этого не делали. Почему мы решились на выставочный проект, который мы назвали «Прорыв. Русское театрально-декорационное искусство на рубеже XIX—XX веков»? Потому что, с нашей точки зрения, действительно, был «прорыв» не только в театре, не только в живописи, это был «прорыв» в мировом искусстве, переход в другое качество, в другое измерение. Мощным толчком к этому послужили изменения в нашем отечественном русском театре. В основе этого проекта — уникальная коллекция, которую Никита Дмитриевич и его супруга Нина собирали всю жизнь. Совсем недавно эту коллекцию передали нашим коллегам в фонды Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства.

В наших фондах, по совершенно справедливому замечанию Никиты Дмитриевича, находится вторая часть этой коллекции. Если вдруг мы соединим их в одном пространстве, то, наконец-то, сможем полноценно представить панораму русского театра, русского театрально-декорационного искусства, столь важного периода в истории отечественной культуры. Это нас очень серьёзно объединило. Никто до нас такой путь не проходил».

Поддержка нужна

«Для нас важно, — подчеркнул Дмитрий Родионов, — внимание людей, которым небезразлична судьба отечественной культуры, важно, чтобы они нас поддержали в движении к этой цели. Необходимость поддержки я лично ощутил совсем недавно, очень остро и волнительно внутри себя. Когда мы выпустили к юбилею Камерного театра каталог «Камерный театр и его художники» и впервые показали более двух тысяч работ этих замечательных мастеров театра, которые работали с Таировым в разное время, это получило мощный отклик со всех сторон. Я понял, что мы идём правильным путём, ибо эти работы практически никогда не выставляют по разным причинам: по историческим, идеологическим и, извините за слово, материально-техническим. И вдруг двухлетняя работа над этим каталогом вместе с Еленой Ивановной Струтинской, кандидатом искусствоведения из ГИИ, дала такой мощный результат. Выставка «Прорыв» идёт в этом направлении. Не только выставка, но и каталог, который бы позволил показать вместе это колоссальное количество работ. Конечно, в каталоге их будет не 400, а значительно больше.

Я искренне признателен Никите Дмитриевичу за оказанное нашему музею доверие, за совершенно фантастическое сотрудничество. В частности, в деле создания и организации выставки с Музеем Виктории и Альберта, которая идёт сейчас в Лондоне, за человеческую поддержку, за внимание, за высокую интеллигентность в решении даже самых непростых вопросов. Это редчайшее качество сегодня, на которое невозможно не откликнуться. Я благодарю Никиту Дмитриевича за это от всей души!

Выставка планируется к показу на осень этого года. Есть разные варианты, где эту выставку мы могли бы показать. С Никитой Дмитриевичем ещё не обсуждали, но всё-таки мы, может быть, остановимся на залах нашего музея, добавив к пространству экспозиционному не только пространство Лужнецкого зала, где мы с вами находимся, но и пространство, которое мы открываем рядом с Главным домом, это флигель Главного дома (Каретный сарай). 12 февраля там для Вас будет представлена первая выставка. Каретный сарай — это большое пространство. Первая выставка будет посвящена Алексею Александровичу Бахрушину в связи с его 150-летием. Я думаю, что вот эти два пространства, объединённые генетически Бахрушиным (он их строил практически вместе в одно время), решат эту проблему».

Уникальность России

Собрание Лобановых формировалось на протяжении 55 лет. В нём выявился талант коллекционеров, бесконечное трудолюбие, но, главное — покоряющая любовь к искусству, ведь чтобы найти и приобрести шедевры таких художников, как Врубель, Рерих, Билибин, включая и перечисленных выше мастеров, неповторимых в своей цельности и красоте, надо приложить много усилий. Ритм линий и красок, их яркость гармонирует с ритмом движения танца, зрелищностью театральных представлений, новаторством конструкций. Театрально-декорационное искусство России стало самобытным национальным явлением, не имеющим аналогов в мире. Но немало важно то, что значительную часть этого направления в искусстве спас своим страстным собирательством от гибели князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский, выступление которого было встречено горячими аплодисментами: «Мы здесь благодаря уникальному человеку, чей портрет мы здесь видим. Кто такой Бахрушин? Бахрушин — олигарх царской России. Чем он отличается от нынешних олигархов? Тем, что в те времена олигархи России и Соединённых Штатов вкладывали свои средства в развитие своей страны, а не «перекачивали» деньги в Швейцарию или Великобританию. Тот факт, что Бахрушин отдал целый квартал Москве и оставил городу этот музей, даёт нам возможность здесь сегодня встречаться. Итак, о нашем проекте. Почему предлагаемая выставка востребована, для чего её делать и каково её значение?

Я хотел бы поставить русскую театральную живопись в мировой контекст. Русская театральная живопись периода 1880–1930 годов — самая уникальная в мире. Нигде такого достижения нет! Чем она уникальна? Она приятна для глаза. Это, может быть, моё субъективное суждение, потому что, видимо, большая часть работ на выставке будет из нашего собрания. Но я Вам цитирую опубликованные факты. Сейчас выставку в Музее Виктории и Альберта, огромном музее в Лондоне, посетило 100 тысяч человек. Эта цифра впечатляет. Несмотря на то, что выставку эту трудно найти, нужно купить билет, чтобы её увидеть, всё-таки 100 тысяч людей туда «попёрли», чтобы насладиться русской театральной живописью. А почему это так? Потому что в России в этот период сложились уникальные обстоятельства русского Серебряного века. Нигде в мире не было такого одновременного расцвета музыки, балета, живописи, театра, поэзии. И среди всего этого — уникальный феномен русской живописи, где театральная живопись и станковая живопись не считались разными. На старых photographиях выставок Коровина вы видите театральную декорацию вместе с пейзажем. И тот факт, что выдающиеся художники занялись театром, привело к тому, что их произведения очень качественные. А этого не было нигде в мире в эту эпоху!

Ещё важный феномен, который тоже уникален. В царской России не было разделения между женщинами-живописцами и мужчинами-живописцами. Все были на равных. И, может быть, эта случайность привела к тому, что в России есть женщины-«гиганты» живописи. Если Вы выставите 10 работ (из них 5, созданных мужчинами, и 5 — женщинами), неподписанных (потому что много из живописи авангарда было не подписано), невозможно отличить картины художников женщин и мужчин, — например, Попову от Веснина. Так же, как невозможно отличить работы Пикассо в его кубистический период, от работ его соратника Брака... Так что мы имеем огромные козыри, которыми нам нужно воспользоваться, выставляя работы как в самой стране, так и за рубежом. Это послужит культуре России. Успех нынешней выставки в Лондоне показывает, что нужно пробовать и доказывать достижения страны.

Педагогический аспект

Важным аспектом выставки, как считает Никита Дмитриевич, является образовательно-воспитательный. Он продолжил: «Тот факт, что все течения модернизма в русской живописи отразились в театре, желательно показать таким образом, чтобы посетитель ознакомился с ними до посещения экспозиции. Для этого надо соорудить кабинки, и в каждой из них повесить одну станковую работу плюс пару эскизов костюмов и одну декорацию, которые соответствуют по стилю станковой работе. Помимо этого надо повесить щит с описанием данного стиля живописи не более чем в 50 слов. Ознакомившись с материалами в кабинках и со всеми живописными движениями, начиная с неомпрессионизма и кончая конструктивизмом, посетители смогут войти в зал и воочию увидеть воплощение всех течений на сцене.



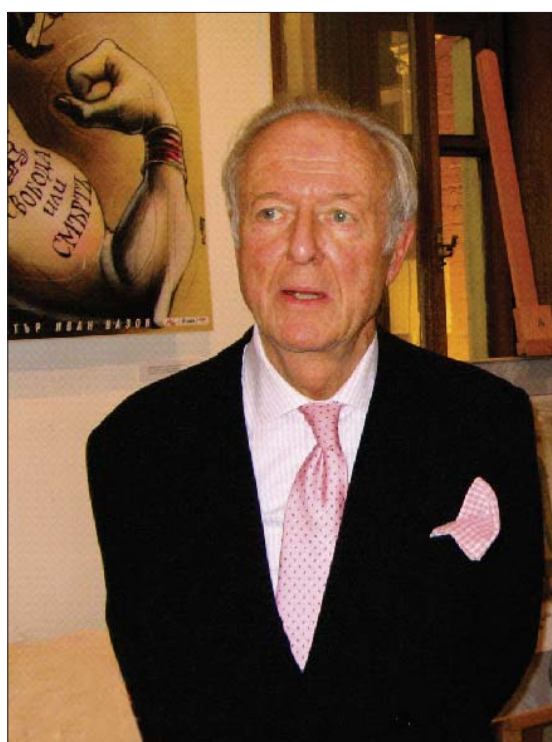
Валерий Дудаков



Дмитрий Родионов и Никита Лобанов-Ростовский



Виктор Леонидов



Князь Н.Д. Лобанов-Ростовский

Я надеюсь, что эта выставка, как и та, что сейчас проходит в Лондоне, станет передвижной выставкой, чтобы пропагандировать и учить молодое поколение, которое гордилось бы достижениями русского искусства начала XX века. Единственное живописное движение, которое возникло после 1917 года — это конструктивизм. Так что, я надеюсь, господин директор, что вместе нам удастся эти планы воплотить в жизнь и сделать серьёзный каталог».

Суперпрофессионал

Выступление искусствоведа Валерия Александровича Дудакова дополнило и расширило образ талантливого коллекционера и мецената Никиты Лобанова Ростовского:

«Есть понятие «коллекционер», он же собиратель, открыватель, возможно, как Георгий Дионисович Костаки. А есть понятие «коллекционер» как «суперпрофессионал». Это «высший пилотаж» коллекционеров. Я собираю 45 лет, Никита Дмитриевич — больше 55-ти. Но я понимаю, что такое профессия «коллекционер». Перед вами сидит человек, который всю свою жизнь, независимо от его геологической работы, окончания двух серьёзных университетов в разных странах, является коллекционером по призванию, по пониманию проблемы, по знаниям. Вы слышите, как он сегодня гордится той страной, которая принесла ему много несчастий. Вы же, наверное, знаете подробности его биографии, о том, как погиб его отец, как он сам чуть не погиб в тюрьме из-за коммунистического режима, который был распространён на весь соцлагерь. Но даже в советские времена, участвуя в спорах с отвратительными людьми из разных официальных представительств, он понимал, что есть страна, есть Россия, есть народ. Есть некоторые политики, которые уходят и приходят. А Россия остаётся. Да Бог бы с ними! Он сегодня нас призвал не только гордиться искусством нашей страны, не только любить это искусство, но и знать, что в этом смысле мы абсолютно уникальны».

Первая встреча

Валерий Дудаков поделился воспоминаниями: «Я вспоминаю нашу первую встречу ровно 40 лет назад у Якова Рубинштейна, моего учителя, известного коллекционера, человека, который во многом определил мою судьбу. Я вспоминаю первую встречу у нас дома на Кутузовском проспекте в 1983 году. Никита был вместе с Ниной. Пришли к нам в гости. Мы были гостеприимны, как всегда, и вдруг он говорит: «Вы знаете, Валерий, вот когда Вы приедете в Англию, в Лондон...» Я ему сделал жест и сказал: «Ты сошёл с ума?! Какой Лондон?! 1983-й год... Я дальше Венгрии не был».

И наступил 1989 год. Перед вами сидящий Никита Дмитриевич Лобанов с моей помощью и с помощью искусствоведа Дэвида Элиота организовал в Лондоне выставку под названием «Сто лет русскому искусству». Это была не Третьяковка, это был не Русский музей. Это были мы — частные коллекционеры, которые предложили свои собрания. Сделана выставка была не во славу того, что наши алмазные партнёры De Bears хороши, а во имя того, чтобы прославить русское искусство. Без Никиты Дмитриевича этого не произошло бы никогда в жизни. Коллекционеры плакали, когда увидели всё это.

Ещё я хочу сказать, что есть коллекционеры, которые помогают другим всю жизнь. Они помогают не в смысле атрибуции, для этого есть музеи. Они помогают обрести самих себя, понять, что же ты всё-таки хочешь собирать, как ты должен это собирать. Что такое атрибуция и систематизация, хранение, обрамление...

Я понимаю, скольким людям помог Никита Дмитриевич в этом смысле. Я думаю, что здесь его в этом плане трудно сопоставить с кем-то из российских коллекционеров второй половины XX века. И, простите меня, никакие Костаки ни черта не сделают из того, что сделал наш уважаемый герой! Они собирали для себя, а он собирал для России!

То, что Никита Дмитриевич собрал такую уникальную коллекцию, что происходило с конца 1950-х годов, это никак не связано с меркантильными делами. Мы совершенно не руководствовались, и он в первую очередь, тем, сколько это стоит, будет стоить, прославится или нет. Мы не знали, что все мы станем миллионерами. Этим мы не гордимся. Мы гордимся тем, что художники, которых мы собирали, стали настолько прославлены в мире, а наше дело было просто любить их и собирать. Без любви ничего не соберёшь.

Никита Дмитриевич разделяет идеалы старой русской интеллигенции. Я процитирую слова Достоевского: «у нас — русских — две родины: наша Россия и Европа». Вот это объединение русской и европейской культуры в лице одного человека — это уникальный случай. Он написал сотни статей. Его библиография огромная. Самая главная мысль, которая фигурирует во всех действиях нашего героя: «посмотрите на эту Россию — яркую, замечательную, уникальную и любимую».

Собирание России

Презентацию проекта украсил исполнением под гитару нескольких песен Виктор Леонидов, бард, создатель первого в СССР архива-библиотеки русской эмиграции, сказав тёплые слова о Н.Д. Лобанове-Ростовском:

«Никита Дмитриевич и своей судьбой, и своей яростной «самосжигающей деятельностью», как сказал В.А. Дудаков, — пример собирания России, любви к ней, он показал всему миру, к какой великой стране, к какой великой культуре мы принадлежим.

Есть такое понятие, и все его часто слышали, — «американская мечта», — то есть человек сам себя создаёт. Никита Дмитриевич — воплощение «русской мечты». В этой жизни было всё: тюрьма, ожидание расстрела, голодной смерти, была гибель отца, было существование на краю гибели в послевоенной коммунистической Софии, была учёба в Оксфорде, была учёба в Америке. Несколько раз Никита Дмитриевич чуть не погиб в степях Аргентины и в афганских песках, где он занимался геологоразведкой. Этот удивительный человек окончил два университета в Европе, в Америке, стал вице-президентом Всемирного банка. Для этого дана «пламенная страсть», как говорил Лермонтов. «Страсть спасти», как написано на православных крестах — «Спаси и сохрани»! Спаси русское наследие, познакомить с ним мир. Благодаря ему огромный пласт русской культуры, который соединился в сценографии, не пропал. Я могу гордиться тем, что, работая в Фонде культуры, познакомился с Никитой Дмитриевичем в 1988 году, что он подарил мне чудо бесед, чудо общения с ним, чудо его рассказов, а это энциклопедия не только русского авангарда, русской сценографии, это энциклопедия огромного историко-культурного пласта коллекционеров, известных художников. Мы ещё раз скажем спасибо Вам, Никита Дмитриевич за то, что Вы спасли огромный пласт нашей культуры.

Был фильм Никиты Михалкова «Русские без России». Он был посвящён поколению тех людей, которых называли «русской эмиграцией», «русским зарубежьем». В конце каждой серии звучала песня. Титры были очень мелкими, никто не знал, кто поёт под гитару. Михалкову приходили письма с вопросами о том, где похоронен автор этой песни... Я хочу Вам исполнить эту песню, потому что в ней я попытался показать попытку прикосновения к таким людям, как Никита Дмитриевич, которые, невзирая ни на что, служили своей стране. И они всё время разделяли власть и страну, любили безмерно, беззаветно, до физической боли, всей кожей любили Россию, её великую культуру, литературу и искусство. Песня называется «Сон».

Беспрецедентное событие

Итак, дан старт грандиозному проекту. Просветительский, педагогический аспект выставки собраний двух столичных театральных музеев также значим, и его трудно переоценить. Все течения модернизма в русском искусстве или зародились на сцене, или же были использованы в театре. Это беспрецедентное событие в истории мировой живописи, когда по театральному оформлению можно проследить развитие новых течений искусства, и все они будут представлены на выставке.

Главными акцентами станут всемирно признанные дягилевские «Русские сезоны», постановки московского Камерного театра, новаторские опыты Всеволода Мейерхольда. Такой шириной диапазона и разнообразием прежде не обладала ни одна экспозиция театрального искусства. Аспект первенства русской культуры следует знать и пропагандировать как в России, так и за рубежом. Этот факт недостаточно известен, и России должно и следует им гордиться, так же, как и выдающимся собирателем и спасителем русского искусства за границей Никитой Дмитриевичем Лобановым-Ростовским.

Берега культуры и искусства

Марта Логвин

Рисование книги

Илья Горностаев — представитель довольно редкой профессии. Он художник-иллюстратор. Родился и вырос на краю земли — на острове Сахалин. Там же, на Дальнем Востоке началась и его творческая биография. Илья Горностаеву — 30 лет, и все у него еще впереди. Но старт он взял хороший.



Мы познакомились с тогда еще начинающим художником в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 14 лет назад. Один из центров культуры островного края давно стал площадкой для представления народных талантов. Здесь проходят фестивали и конкурсы, заседания клубов по интересам, творческие встречи, городские праздники и фестивали.

Вот и в 2000-м году при поддержке одного из старейших библиотекарей СахОУНБ Ирины Андреевны Кокориной здесь была организована первая персональная выставка Ильи Горностаева «Рисунки меж газетных строк». Художник работал пером и тушью, и его оригинальные графические работы вместе с фотографиями сопровождали материалы авторов Сахалинской областной молодежной газеты «Молодая гвардия». Ирина Андреевна сразу разглядела мастера в начинающем художнике.

В «молодежке» начала века двери не закрывались. Газета была настоящим прибежищем творческих людей, причем разных возрастов, а так же информационной базой общественного движения Сахалина и Курильских островов.

Здесь для художника-графика нашлось настоящее дело и настоящие друзья.

«Сначала я не знал, как поступить, — вспоминает Илья. — Практически все мои товарищи годились мне в деды. Дело в том, что «Молодая гвардия», образованная в 1947 году, к 2000 году не потеряла своих старых читателей и внештатных авторов. И в нашей редакции всегда собирались как молодежь — школьники и студенты, так и ветераны. Всем находилось дело, и всем было интересно друг с другом.

Я поделился своими переживаниями с родителями. И они меня успокоили. Мол, тебе с этими людьми интересно? Да. Ну, так это самое главное».

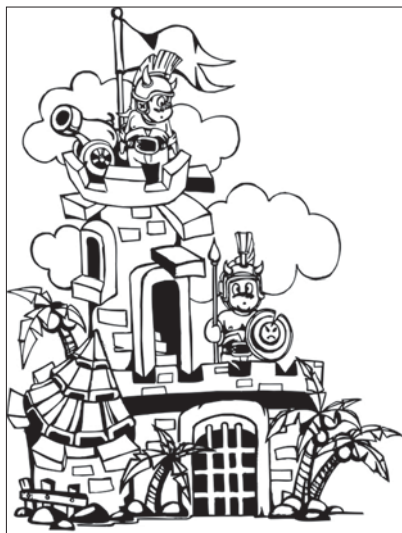
В редакции Илья познакомился с писателем-краеведом Владимиром Ивановичем Рудомановым. Слово за слово, и ветеран с юнцом перешли на тему японского аниме. Они разгорячились, долго дискутировали, а победила в споре двух поколений молодость. Илья «подбил» старика Рудоманова написать книжку по известному японскому мультфильму «Таро — сын дракона». Сказку опубликовали в газете, а иллюстрировал её Илья.

Вскоре проект получил продолжение. Известный на Дальнем Востоке бард Сергей Хан — он же владелец небольшой типографии — выступил в роли мецената и выпустил книжку небольшим тиражом, поддержав ветерана. А Илья впервые попробовал вкус к иллюстрированию книг.

В литературном сообществе Сахалина заинтересовались молодым художником. И к нему потянулись местные писатели.

Следующий проект, в который пригласили участвовать И. Горностаева, был поэтическим. Илья оформил сборники стихов детского поэта Ивана Григорьевича Рогожкина: «Вкусные олады» и «Зайкино солнышко».

«Больших денег не было. Чтобы удешевить производство книжек, рисунки для этих сборников мне пришлось делать черно-белыми. Я очень переживал, ведь дети любят всё яркое, красивое. И пошёл на маленькую хитрость, — посвящает художник в свои тайны. — Фактически я сделал книжки-раскраски. И юные читатели быстро сообразили, что к чему. Сам лично видел, как, не успев приоб-



Открытка
Неприступная Троя

студенты Сахалинского государственного университета, внештатные авторы молодежной газеты.

Ребята выпускали в «молодёжке» несколько тематических страниц. В том числе посвященную компьютерным играм и современной анимации. Илья впервые опубликовал здесь стрипы (одностраничные истории) и комиксы, а также попробовал себя в роли обозревателя компьютерных игр.

Студийцы продолжили выставочную деятельность, и у Илья прошло еще несколько персональных выставок. Девушки-мастерицы занялись изготовлением сувениров и бижутерии и стали активными участницами всевозможных сахалинских ярмарок. Так же отаку провели четыре крупномасштабных областных фестиваля аниме с участием неформальной молодёжи из разных районов области. Стали выигрывать грантовые конкурсы правительства Сахалина и Курил и реализовывать проекты по выпуску книг для местной туриндустрии.

Первый такой проект назывался «Сказки народов Сахалина». Книга издавалась к 60-летию Сахалинской области. В сборник вошло несколько произведений, которые иллюстрировал Илья.

«Уже тогда я обратил внимание на сказку народа уйльта, — рассказал художник. — Она показалась мне довольно атмосферной. Завершив данный проект, я стал искать другие сказания этого народа, изучать его культуру. И наткнулся на сказку «Гэвхэту». Это имя главного героя истории».

Студия вновь выиграла областной грант, и «Отаку» начала работу над вторым этапом мегапроекта «Сказки народов Сахалина». Прежде чем начать рисовать, Илья старался разобраться во всех тонкостях быта уйльта, определить особенности внешности представителей этого малочисленного народа. В 2010 году уйльта, или орочей, как их ещё называют, оставалось всего 350 человек.



Иллюстрация к сказке
Таро — сын дракона

рести книжку, ребятня бросалась увлеченно разукрашивать мои рисунки. Значит, они понравились детям».

«Полезными» были и книжка в стихах «Шахматная азбука» и диалогия «Чемпионы Мира по шахматам» Ореста Григорьевича Курбатова. По ним в дальних сёлах, где не было шахматных клубов, учителя средних школ сначала учились сами, а потом обучали шахматной грамоте деревенских ребятшек. Сам же О. Курбатов, которому было далеко за семьдесят, защитил диплом в народном университете по специальности «шахматный тренер».

Книги стихов о шахматной науке были размещены в Президентской библиотеке. Ныне это библиотека имени Б. Н. Ельцина. Так работы художника Илья Горностаева впервые попали уже не на областной, а на всероссийский уровень.

Шло время, и на базе редакции газеты «Молодая гвардия» сформировалось сначала общественное объединение, а затем и общественная молодежная организация «Студия «Отаку».

«Отаку» — значит фанаты. Илья Горностаев стал одним из учредителей и активным членом студии, в которую, кроме него, вошли

вопросы было много: как и из чего уйльта строили жилище, где располагался очаг, как обустроивался, как они запрягали оленей и так далее. Кроме того, у рисованной книги есть свои каноны. Поэтому художник принимал самое активное участие в работе над текстом. Сказку необходимо было адаптировать так, чтобы повествование сочеталось с иллюстрациями.

Параллельно другая команда — японских и российских ученых, не ведая о работе над книжкой, разрабатывала алфавит уйльта, создавала его письменность. С российской стороны группу возглавляла директор сахалинского областного краеведческого музея Татьяна Роон, а учёных страны Восходящего Солнца — почётный профессор высшей школы университета Хоккайдо Дзиро Икэгами.

Их работа шла 15 лет. И ничего удивительного в том, что пути учёных и творческой молодежи Сахалина пересеклись на презентации уйльтинского букваря.

Там студийцы познакомились с переводчицей и носительницей языка уникального северного народа из города Ноглики Еленой Бибиковой и договорились о партнёрстве.

Идея издать книжку не только на русском, но и на языке уйльта пришла сразу. Но работа осложнялась тем, что хотя проект письменности был разработан на основе кириллицы, многих букв уйльтинской азбуки не было и не могло быть на компьютерной клавиатуре. Так как Илья не только рисовал, но и верстал книжку, он взял решение этой проблемы на себя.

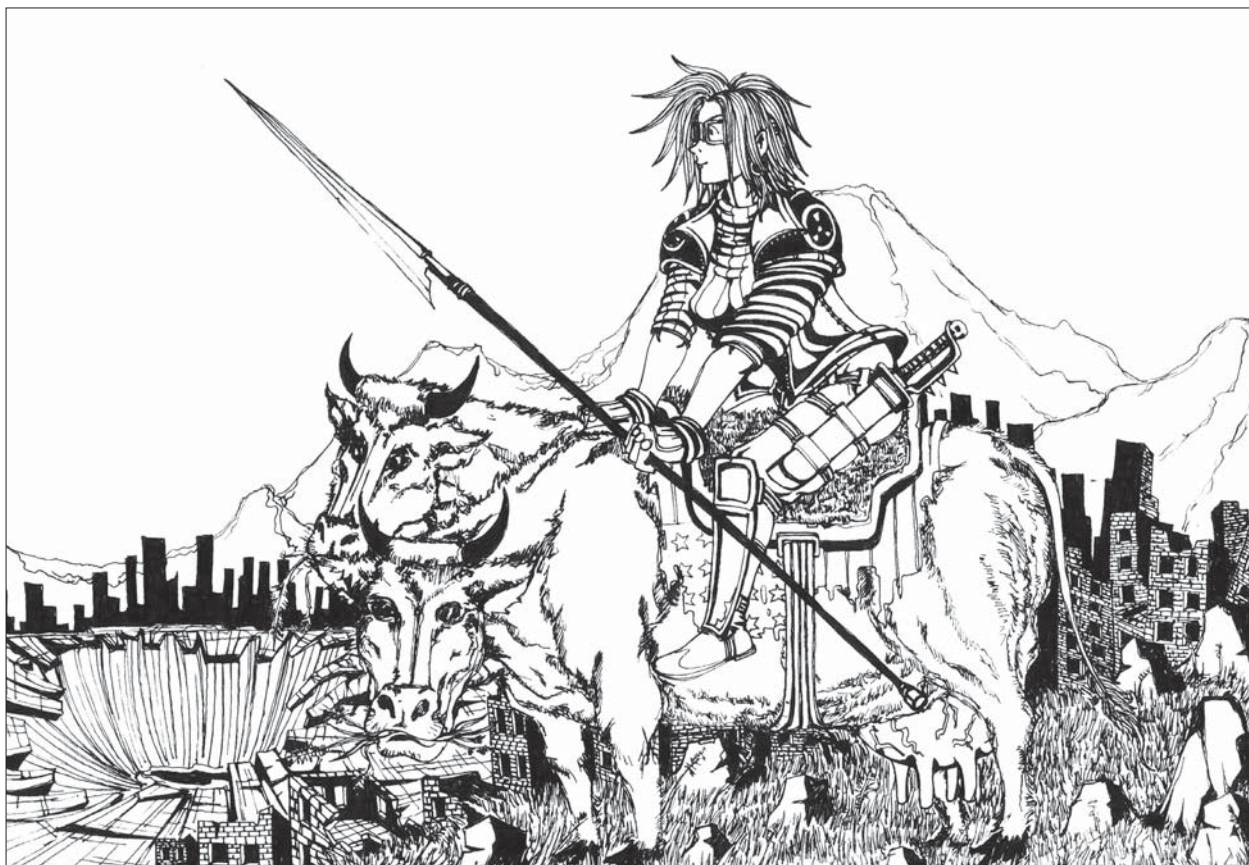
Надо иметь огромное терпение, чтобы буквально «лепить» новые буквы из тех, что имелись в арсенале компьютера, или дорисовывать их. Позднее художник узнал, что такой же путь прошли и его коллеги — дизайнеры областной типографии, печатавшей букварь.

Не считая учебника, «Гэвхэту» стала первой в мире книгой на языке уйльта. А для самого художника — первой полноцветной работой, выполненной на компьютере в растровой технике 2D.

Сразу уточню для тех читателей, которые считают, что рисование с помощью планшета и компьютера — легкое дело: нажал кнопку и готово. На экране художник именно рисует. Только окунает «кисть» не в «живые» краски, а в программные. Мазки же, линии он выполняет точно так же как на бумаге или на холсте.

Работой молодого российского иллюстратора заинтересовались зарубежные соседи. Японская вещательная корпорация «Эн Эйч Кэи» сняла об Илье Горностаеве небольшой документальный фильм «Мастер комиксов».

Сначала его демонстрация состоялась на канале телевидения префектуры Хоккайдо. Тот факт, что буквально через пролив, в России живет художник, который корпит над рисунком, как ювелир над алмазом, и делает в простейших компьютерных программах уникальные вещи, потряс японских зрителей. В редакцию поступило так много звонков, что руководство компании приняло решение — фильм Сасса Кадзуто показать всей Японии через главное бюро корпорации в Токио. Реакция



the GIRL on BRAHMIN

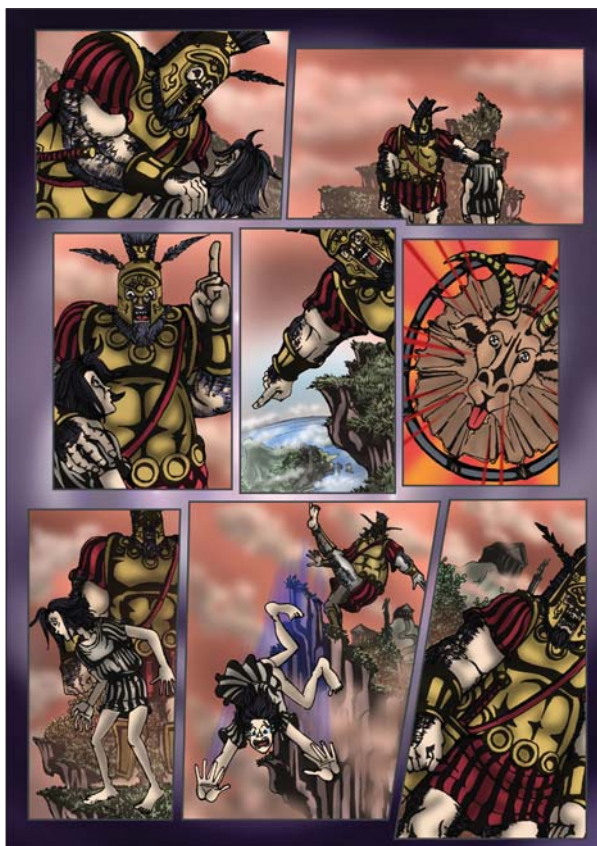
телезрителей была такой же, как и в первый раз. Затем Сасса Кадзутто подготовил радиопередачу об Илье Горностаеве. И опять шквал звонков.

На Сахалин Кадзутто-сан вернулся из Японии с подарками. Он привез сахалинскому художнику книги по теории рисования комиксов и манга. По русской традиции ему тоже преподнесли презент. Мама Ильи связала японцу длинный черный шарф, а Илья подарил журналисту нарисованную тушью страницу на шумевшей книжке, вставленную в раму. Вскоре Сасса отправился на повышение — материал о русском художнике с восточным характером помог сделать ему карьеру.

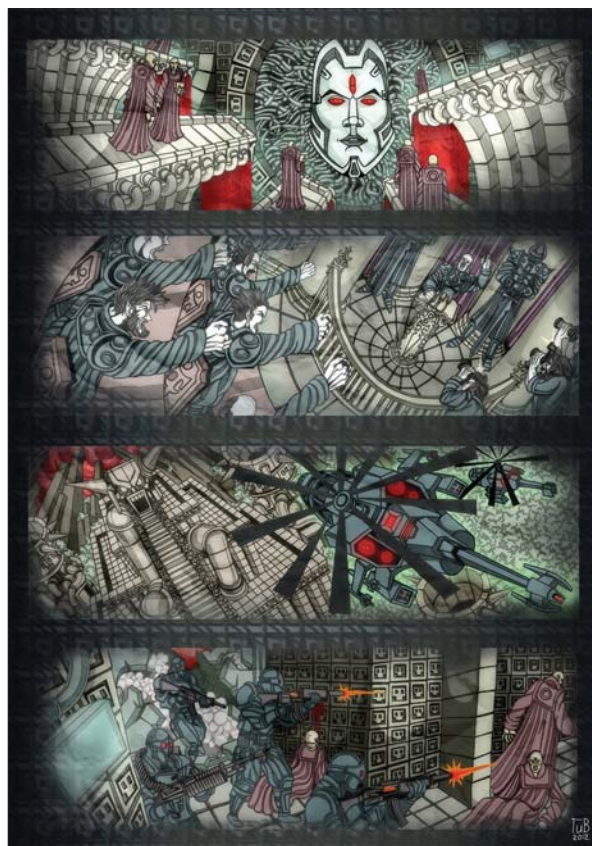
Третий этап мега-проекта «Сказки народов Сахалина» был не менее трудным. На этот раз идею новой книги подсказал традиционный островной фестиваль «Студенческая весна». Здесь отаку услышали оригинальную легенду о Сахалине и Курилах. Оказалось, что её автор — студентка Южно-Сахалинского университета Вероника Ткаченко.



Страница из комикса «Некрополис»



«Жизнь богов. С небес на землю»



«ДемонКратия»

Легенда, оправдывая своё название, передавалась из уст в уста, но нигде никогда не публиковалась. Студийцы решили исправить эту несправедливость и закрепить произведение, издав книжку, которая была бы интересна как жителям области, так и туристам. За основу они взяли культуру айнов.

Этот народ фактически не сохранился в России. После второй мировой войны его немногочисленные представители переселились с Сахалина на остров Хоккайдо, так как сильно зависели от поставок японского риса.

Когда труд над рисованной книгой был завершён, Илья решил показать книгу широкой общественности. Ему, как автору иллюстраций, была интересна оценка его творчества коллегами по цеху. И первой площадкой, на которую попала книжка в 2009 году, стал международный конкурс славянского искусства в Киеве. «Легенду» отметили 2-м местом в номинации «Графика». Это было неожиданно для сахалинца. Прежде всего, потому что в данном конкурсе принимали участие люди, имеющие академическое образование. Илья же — талантливый самоучка.

Его академия — это шкаф, доверху набитый дисками с художественными фильмами, аниме и компьютерными играми. То, что для других — развлечение, для него — уроки мастерства. И то, что такое самообразование дает плоды, подтверждают победы Ильи в других международных конкурсах, которые проходили в различных странах Европы.

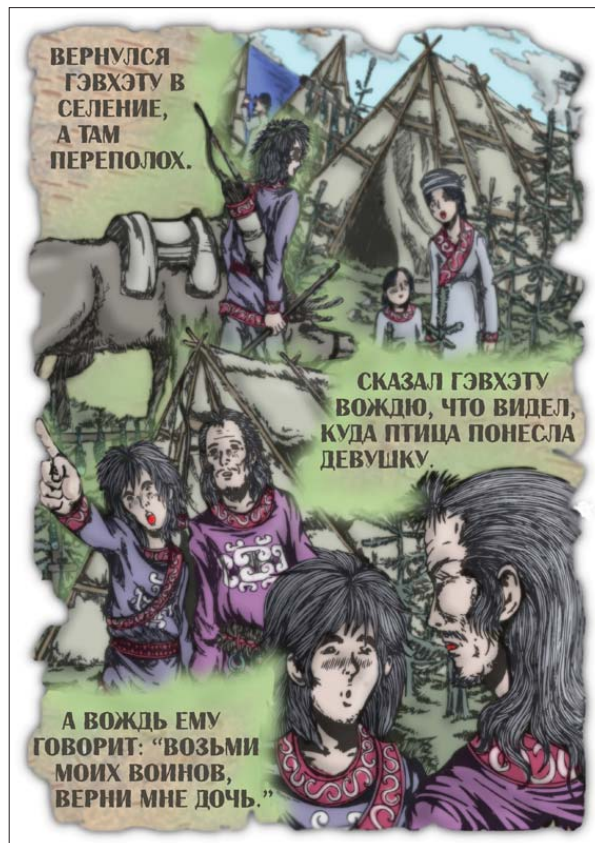
В 2010 году «Легенда» была отмечена 3-м местом на конкурсе славянского искусства в Вильнюсе (Литва) и 1-м в Братиславе (Словения). А картина «Путь воина. Новая мелодия», на которой изображен самурай, осторожно трогающий струны русской балалайки, в 2010 году занял в Москве 1-е место, а на следующий год в Петербурге — второе. Стрип об экономическом кризисе под названием «Жизнь богов. С небес на землю» — 3-е место в Санкт-Петербурге и в Софии (Болгария), а также 1-е место на конкурсе в Берлине (Германия).

Работы Ильи принимали участие в выставках современного искусства на таких знаменитых площадках столицы как «Винзавод» и «М АРС».

Рисунок Ильи узнаваем — в нем много мелких деталей, приглушенные тона. Не любит дальневосточный художник кричащие краски. И очень точно передает характер героев.



Иллюстрация к мордовской сказке «Сыре-варда»



Страница книги «Гэвхэту»



Обложка книги
«Легенда о Сахалине и Курилах»



«Путь воина.
Новая мелодия»



Страницы книги «Легенда о Сахалине и Курилах»

«Я решил взять тайм-аут, и хотя приглашения приходят постоянно, в выставках не участвую, — рассказывает И. Горностаев. — Вместе с художницей Светланой Камушковой, которая рисует в стиле аниме, мы реализовали несколько социальных проектов против наркотиков, в поддержку развития спорта. Это были переносные выставки.

Пробовал себя в анимации, сделал пару флэш мультфильмов. Но один я не потяну мультипликационный проект. Здесь нужна команда: инженер, актер на озвучку. Нужно корпеть над каждым кадром. Мы пробовали сотрудничать с Евгением Панихиным, но осилили только один мультик. Классная вещь вышла, но дальше дело не пошло. Женя — актёр и под завязку занят в театрах — кукольном и в Международном Чехов-центре, часто ездит на гастроли.

Какое-то время я сотрудничал с гляцевыми журналами, рисовал открытки, плакаты, даже оформлял рисунками витрину. Интересным было партнёрство с писателем Владимиром Гринем. Иллюстрировал его повесть «Пускай я умру у тебя» о чеченской войне. Книга вышла под эгидой Народного Пушкинского фонда.

Для Музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» я выполнил серию рисунков о путешествии классика на сахалинскую каторгу. Недавно завершил работу над авторской рисованной книгой в стиле фэнтези. И сейчас тружусь над Кёнигсбергским циклом графики. Ежегодно выставляю что-то новенькое на фестивале рисованных историй «КомМиссия». Мне очень важно знать, как оценивают мой труд собратья по цеху».

Я заглянула в интернет и познакомилась с этими отзывами. Вот некоторые из них: «Шикарно смотрится», «Серьезная работа», «Стильно и индивидуально», «Получил огромное удовольствие от прочтения и рассматривания».

— А вообще я — мастеровой, ремесленник, — даёт оценку себе Илья Горностаев. — Я должен рисовать каждый день. Иначе у меня руки не на месте.



Маргарита Шварова

Святая Москва Н.С. Арсеньева

Известный философ, культуролог, литературовед, Николай Сергеевич Арсеньев (1888 — 1977), оказавшись за границей в 1920 году, до конца своих дней жил мыслями о богатой и самобытной культуре России. В текущем году исполняется 75 лет со дня выхода в свет его книги «Das Heilige Moskau» («Святая Москва») на немецком языке в Германии. Предоставляем читателям размышления М.В. Шваровой, которая впервые перевела замечательную книгу на русский язык.

Н.С. Арсеньев, воспитанный в духовных традициях русской культуры, писал: «В общем итоге много я получил духовно-ценных вкладов, умственно будящих импульсов в дни моей юности. Богат посев, богаты были мною не заслуженные и не заработанные дары духовной культуры... какого требовало... подвига жизни, чтобы оплатить такую юность, — так воспоминал он в журнале «Современник» (Торонто, 1962). — Особенно же благодарен своим родителям и родительскому дому, ибо это — ...основа для всего другого хорошего и высший дар из всех, мною полученных ...здесь весь вопрос... в постоянном преодолении себя, в горении внутренней жизни. И хотя мы призваны к мужеству и к подвигу — мы гораздо больше ведомы, чем сами идем» [2, с.311].

Становление творчества Н.С. Арсеньева происходило в России в конце XIX — начале XX века. Это время вошло в историю как Серебряный век русской культуры, атмосфера которого была насыщена необыкновенным взлетом духовности. Именно в эти годы проблема охраны памятников старины стала осознанным предметом систематических исследований. В Москве и в Санкт-Петербурге в то время создавались различные общества, религиозно-философские и литературные кружки, о чем пишет автор в одной из своих работ [2, с. 300-311]. Вкус к старине в те времена, «способность к их восприятию были в русском обществе величиной постоянной» [3, с.148]. Проблема сохранения наследия стала той темой, которую сочувственно и с пониманием переживала просвещенная часть российского общества, находившаяся как в стране, так и за рубежом, в том числе и Н.С. Арсеньев.

В творчестве Н.С. Арсеньева поэтизированное восприятие прошлого достигло своего апогея в книге «Святая Москва», где проблема сохранения культурного наследия раскрывается не только посредством детального описания памятников архитектуры и культуры, перечислением имен и фамилий известных писателей, мыслителей, но и путем сопоставления конкретных исторических событий и вытекающих из них последствий.

В книге «Святая Москва» он стремился обратить внимание всего мира на тот факт, что война способна уничтожить великие культурные ценности русского народа. В книге — 9 глав. Это — исследование духовной жизни общества. «Картины из религиозной и духовной жизни XIX столетия», — так определил автор жанр своего произведения [1, с. 2].

Н.С. Арсеньев обращается к образу Москвы не только в знак безграничной любви к России. Уже в предисловии к книге ярко выражена главная мысль о том, что каждый человек, оберегая наследие своей нации, должен уметь сохранять культурные ценности других народов. «Каждый немец, который искренне и глубоко чувствует кровную связь со своей горячо любимой Германией, который ценит подъем народного самосознания и рост национальной духовной жизни своего народа, особенно хорошо сумеет оценить и эпоху расцвета московской культуры, и эпоху подъема русского народного самосознания, и рост национальной духовной жизни, что являлось отличительной чертой московской культуры XIX века», — так обращается Н.С. Арсеньев к немцам на первой же странице своего произведения [1, с.7]. С одной стороны, он ставит проблему сохранения культурного наследия, а с другой — акцентирует внимание на проблеме войны и мира как на двух полюсах, способных либо уничтожить всемирное наследие, либо его сохранить. Автор акцентирует внимание на бесславной судьбе тех, кто пытался когда-либо завоевать Россию, цитируя при этом Лермонтова на немецком языке (перевод дан по четырехтомному изданию М.Ю. Лермонтова [4, с. 376]):

...Напрасно думал чуждый властелин
 С тобой, столетним русским великаном,
 Померяться главою и обманом
 Тебя низвергнуть. Тщетно поражал
 Тебя пришлец; ты вздрогнул — он упал!
 Вселенная замолкла... Величавый,
 Один ты жив, наследник нашей славы [1, с. 12].

Арсеньев пишет и об Александре I, который в 1816 году, оценивая роль Москвы в войне 1812 года с французами, сказал: «Пожар Москвы был страстным огнем свободы для всех земных государств. Из поругания ее святых церквей произросла победа веры. Подорванный злом Кремль уничтожил своим падением главу зла» [1, с.12-13]. В самом названии первой главы книги — «Москва как центр национального русского самосознания XIX столетия» — есть объяснение того, благодаря чему победил русский народ в войне с Наполеоном. Силу народа писатель видел в том чувстве, которое сплотило всех в одно целое, охватило одной гигантской волной. Арсеньев приводит в качестве примера на немецком языке строки из «Евгения Онегина» А.С. Пушкина, (перевод дан по десяти tomному изданию А.С. Пушкина; из седьмой главы [5, с. 132-133]):

...Но вот уже близко. Перед ними
 Уж белокаменной Москвы,
 Как жар, крестами золотыми
 Горят старинные главы.
 Ах, братцы! как я был доволен,
 Когда церковью и колоколен,
 Садов, чертогов полукруг
 Открылся предо мною вдруг!
 Как часто в горестной разлуке,
 В моей блуждающей судьбе,
 Москва, я думал о тебе!
 Москва...как много в этом звуке
 Для сердца русского слилось!
 Как много в нем отозвалось!
 Вот, окружен своей дубравой,
 Петровский замок. Мрачно он
 Недавнею гордится славой.
 Напрасно ждал Наполеон,
 Последним счастьем упоенный,
 Москвы коленопреклоненной
 С ключами старого Кремля:
 Нет, не пошла Москва моя
 К нему с повинной головою.
 Не праздник, не приемный дар,
 Она готовила пожар
 Нетерпеливому герою.
 Отселе, в думу погружен,
 Глядел на грозный пламень он... [1, с.10]

Арсеньев на немецком языке цитирует стихи Федора Глинки [1, с.9-10]:

Прекрасный город, достопочтенный город!
 Ты охватываешь своими границами поместья и деревни, дворцы и замки...
 Опясанная пашнями, сверкаешь ты в пышности пестрых садов.
 Сколько церквей, сколько башен возвышается над твоими семью курганами!..
 На твоих старых церквях вверх растут деревья.
 Глаза не могут обозреть эти длинные улицы.

Это — Матушка Москва!..
Какой богатырь был в состоянии поднять Царь-колокол?
Кто смог передвинуть на это место Царь-пушку?
Какой гордец не снимет шляпу перед священными воротами Кремля?..
Как мученица пылала ты, о, Белокаменная!
Кипящий поток пламени излился на тебя.
И лежала ты, плененная, под пеплом.
И поднялась ты из пепла, — неизменившаяся...

Напоминая о событиях 1812 года, Арсеньев фактически заявил о неизбежном финале войны немцев с Россией. И сделал он это в 1940 году в Кенигсберге. «Прочь от Москвы! Она — Святая!», — призывал писатель немцев учесть горькие уроки войны Наполеона против России и отказаться от идей, способных погубить великую нацию и ее культурное наследие.

Истоком формирования образа Святой Москвы стала идея «Москва — Третий Рим», высказанная еще иноком Филофеем, монахом Псковского Елизарова монастыря в конце XV века. Согласно этой концепции, единственным оплотом и хранительницей истинной христианской веры — православия — стала Москва, пришедшая на смену Риму и Константинополю. Первый Рим, погрязший в ереси и разврате, пал под ударами варварских племен. Второй Рим — Константинополь в 1453 году был захвачен турками. Как считал Филофей, произошло это согласно древнему пророчеству: «два убо Рима падоши, а третий стоит, а четвертому не быти» [6, с. 608]. По мнению Филофея, именно Москва должна сохранить веру православную до наступления конца света. При этом необходимо подчеркнуть, что теория «Москва — Третий Рим» не являлась обоснованием претензий Руси на мировое господство. Главный ее пафос — Москва должна хранить в чистоте православную веру и давать защиту и поддержку всем православным людям любых стран и национальностей. Понятие «Святая Русь» в рассуждениях Филофея приобретает особый смысл и становится одной из важнейших категорий его теории. Как знамя подхватывает эту мысль проф. Арсеньев и выражает ее в своей книге «Das Heilige Moskau».

Н.С. Арсеньев самим названием своего произведения продолжает тему Святой Москвы, Святой Руси. Московский Кремль, Красная площадь, церкви и святые места, храмы и соборы — вот те памятники культуры и архитектуры, то российское наследие, которое, по мысли Н.С. Арсеньева, достойно как поклонения, так и сохранения. По мнению мыслителя, в XIX столетии именно в церквях, храмах, соборах по всей Руси Великой сохранялась православная вера, объединяющая народ в одно целое, независимо от образования и сословной принадлежности. Эта вера, с ее традициями, иконами и молитвами, лежала в основе духовной жизни общества, формируя национальное самосознание России и создавая духовные памятники культуры. Москва, церкви, величественные соборы, литургическая жизнь — это и есть Святая Москва.

Рассказы об исторических событиях, которые когда-то принесли славу нашему народу о небывалом мужестве, о великом чувстве сплоченности масс проходят в «Святой Москве», объединенные идеей непобедимости русского народа и его единства.

Воссоздавая картины религиозной и духовной жизни Москвы XIX столетия, писатель делает акцент на формировании под влиянием православных традиций русского национального характера. «Литургическая жизнь» — одна из самых сложных, но интересных глав «Святой Москвы». Молитвы, песнопения — это святая святых самой церкви. За этим, кажется, и стоит Великая тайна мира. Но как бы ни был сложен текст молитв для перевода с немецкого на русский, становится очевидно, что за этими словами скрывается исповедь человека, перенесшего все ужасы перемен: революций, войн, эмиграций. Опасаясь за личную жизнь (шел 1940 год, война), автор использовал в своей книге известный в литературе прием «подводного течения», выражая свои мысли и чувства о жизни и смерти в форме молитв.

Сама жизнь — это величайший дар, и задача каждого человека — обратиться к Богу во спасение своей души, для обретения жизни вечной. Таков лейтмотив этой главы. Вот эта исповедь: «Чем я должен оплакивать поступки моей проклятой жизни? Бог милосердный, воздай мне отпущение моих грехов! Я шел вслед за преступлениями первородного Адама, и я осознал, что я лишился Бога и Вечного Царства Святого из-за моих грехов. Я грешил больше всех людей, я один столько перед Тобой

грешил, но смилуйся, Боже, о Всевышний, над Твоим Творением! Я осквернил одежды моей плоти и осквернил Твой образ и подобие. Я очернил красоту моей души страстями желаний и полностью превратил мою душу в земной прах. Мою первую одежду, которую мне ткал Творец, я разорвал, и вот я лежу нагой. Я приложил разорванное платье, сотканное по совету Змеи, и вот я стыжусь себя. Слезы раскаяния я преподношу Тебе, о, Наидобрый! Очисти меня, мой Повелитель, Твоею милостью. Я один Тебе грешил, перед всеми я грешен, Христос, мой Повелитель, не отталкивай меня!... И хотя я заблудился, не отталкивай меня!» [1, с. 26].

В этих словах звучит голос не только одного человека, здесь крик целого поколения людей, лишенных родины, вынужденных искать спасения за рубежом. «Хорошо тем, кто живет без порицаний, кто живет по закону Господа... Хорошо тем, кто придерживается Его заповедей, кто соблюдает их всем сердцем... Я сам оглядываюсь на Твои заповеди, чтобы не быть опозоренным...», — признается Арсеньев [1, с. 30].

Религиозные заповеди воплощают в себе духовно-нравственные ценности, которые лежат в основе мирного сосуществования людей. Это то культурное наследие, которое важно сохранять и передавать от поколения к поколению во имя мира на Земле. Арсеньев считал, что адекватными формами ретрансляции этого культурного наследия являются религиозные ритуалы и праздники, духовные традиции русского народа. Особенно он подчеркнул социальную значимость праздника Пасхи, как момента интеграции и объединения людей на основе единой веры в Бога. Эта вера была основой духовной жизни в России в XIX столетии. Она побуждала людей к взаимному прощению, к просветлению, к общей радости во имя возрождения Христа. Церкви были заполнены как простым народом, так и представителями самых разных дворянских родов, наследовавших из поколения в поколение особую систему духовно-нравственных ценностей. Атмосфера духовной «трезвости» и строгости была универсальной, она окутывала всех — от мала до велика. Зажженные свечи, освященные куличи, покаянная молитва, церковные песнопения, троекратные поклонения, пасхальные приветствия и колокольный перезвон как знак всеобщего ликования, как символ Вечной жизни, победы жизни над смертью — вот главные составляющие Пасхи, о которых подробно пишет Н.С. Арсеньев в книге «Das Heilige Moskau». «Всегда обновленная русская душа — душа русского народа, а также и душа представителей русской духовной культуры была залита и согрета волнами радости, которая зарождалась именно в Пасхальную ночь», — так описывает великий Пасхальный праздник Н.С. Арсеньев [1, с. 34].

В каждой строчке «Святой Москвы» Арсеньев выражает гордость за русский народ, его историческое прошлое и богатое культурное наследие. Называя имена известных русских писателей, мыслителей: Ивана Киреевского, Алексея Хомякова, Федора Достоевского, Владимира Соловьева, братьев Е.Н. и С.Н. Трубецких — писатель отражает круг высокообразованных людей, являвших собой хранителей отечественных традиций. Каждому из этих имен он посвящает специальную главу в этой книге. В своем произведении «Святая Москва» Н.С. Арсеньев утверждал мысль о важности сохранения культурного наследия России, одним из ключевых моментов которого является сохранение православной веры, ценностей ближайшего окружения человека — дома, семьи, религиозно просветленного быта.

Литература

1. Nikolaus von Arseniew. Das Heilige Moskau. 1940. Verlegt bei Ferdinand Schöningh / Padeborn Auslieferung Wien / F. Heindrich — Zürich / B. Göschmann.
2. Арсеньев Н. О московских религиозно-философских и литературных кружках и собраниях начала XX века // Воспоминания о серебряном веке / Сост. В. Крейд. М., 1993
3. Памятники архитектуры в дореволюционной России. Очерки архитектурной реставрации / Под ред. А.С. Щенкова. М., 2000.
4. Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений. В 4-х томах // Т.2. Поэмы и повести в стихах. 1828-1841 / Примеч. И.Л. Андроникова. М., 1976. 582 с. С. 376.
5. Пушкин А.С. Собрание сочинений. В 10-ти томах // т. 4. Евгений Онегин. Драматические произведения / Прим. Д. Д. Благого, С. М. Бонди. М., 1975. 520 с. С. 132-133.
6. История отечественной культуры // Хрестоматия по истории мировой культуры / Автор-составитель Гриненко Г.В. М., 1999.

Критика

Вячеслав Лютый

ВОЗГОВОРИ, НОЧНАЯ ЧАЩА...

Чувство рода и земли в поэзии Александра Нестругина

Первая мать — Пресвятая Богородица,
Вторая мать — сыра земля,
Третья мать — кая скорбь приняла.

Русские духовные стихи

Но я слово такое знал,
Что посулом пустым не манит.
И, склонившись к земле, позвал
Потерявшееся в тумане.

И река, тихий свет струя,
Ткнулась в отмель, легка на помине.
И луна, словно денежка скифская,
Отыскалася меж полыни.

И тогда тальники сошлись,
Предо мной и за мною встали.
И с листвою слова слились,
И сквозь них — небеса блистали.

Александр Нестругин

1

Современная русская поэзия поделена на два духовных ареала, каждому из которых свойственно особое видение мира, свои отношения с прошлым и будущим, представления о реальной жизни и бытии. И здесь нет нужды в специальных акцентах, давно уже принятых в нашей литературе: философские стихи, поэзия мысли, пейзажная лирика, стихи о любви, гражданские строки и т.п. Речь идёт о поэзии города и деревни, о чувстве земли — и осязании асфальта, о созерцании парка — и напряжённом взглядывании в природу леса и реки. Такое резкое деление художественного пространства русской поэзии, конечно, во многом условно. Однако стоит обозначить тот смысловой пункт, который эту условность почти снимает: проблема целостности русского человека, его верности родовым вехам и христианскому преданию.

Городской человек — существо, живущее смыслами во многом рациональными. Это хранитель церковной и светской культуры, цивилизатор, перестраивающий по своим чертежам всё, доставшееся ему по наследству от прошлых времён. Как правило, он лишён природного слуха, позволяющего не только улавливать тончайшие зовы стихий и живых существ, но и понимать себя частью великого и таинственного природного целого. Житель города обладает многими иными достоинствами и талантами, однако это свойство его природы обычно или не развито, или атрофировано.

Сельский человек, сохранивший в себе детское внимание к окружающему миру и память о запахе трав, плеске тихой речной волны, просторе луга и насторожённой обособленности леса, интуитивно воспринимает знаки стихий и подчиняет свой быт циклам времён года. Соединение собственного уклада с распорядком внешней среды происходит сегодня на уровне почти бессознательном, в рамках семейной привычки или давней, плохо укладываемой в слова традиции. Но это — покрытая тенью более поздних веков часть огромного мира, в котором человек был вплетён в природу и понимал и ценил такое гармоничное единство.

Прежняя целостность души теперь, практически, утрачена. Однако черты «природного» человека, словно разбросанные по осени листья, встречаются пока ещё часто. В поэзии они выражены очень отрывочно, вскользь и оставляют впечатление смутной памяти о минувшем. «Земля уходит из-под ног» — эти слова впрямую перекликаются с психологическим состоянием русского ума сегодня. Поэтому явление художника, в творчестве которого душа и природа «единокровны» — событие огромной важности, поскольку в подобном случае литература и жизнь получают спасительную прививку от многих болезней цивилизации.

В творчестве Александра Нестругина образ «природного» человека присутствует как некий художественный центр, и его приметы требуют уяснения и мировоззренческого понимания.

С одной стороны, в лирическом герое трепещет душа дохристианской поры, когда шёпот трав и птичий щебет многое сообщали слуху и уму, лесная чаща таила в себе загадочные силы, подчас неизъяснимые на людском языке, а речные воды почитались неким пограничным рубежом и очистительной стихией. Древний мир был пространством, в котором жили и действовали старые славянские боги, а сам человек являлся неотъемлемой частью природной среды.

Но вот уже тысячелетие Русь не мыслит себя вне православной веры, в забвении её святых и подвижников, и потому сегодня иерархия мистических смыслов выглядит совсем иначе, нежели прежде. Храм стал пристанищем измученного человеческого сердца, душа лелеет надежду на светлое воскресение, нравственное начало приобрело значение жизнеустроительного принципа.

Однако при этом как-то умалились и оказались почти факультативными, необязательными взаимоотношения человека с таинственным и многообразным живым миром природы, который сопутствует нам на каждом шагу даже в асфальтовой паутине городских улиц. И сегодня совершенно отчётливо возникла задача восстановить чуткие связи между православным бытованием и естественным человеческим присутствием в координатах четырёх стихий, среди зверья и птиц, деревьев и трав. Разумеется, подобная задача обладает бытийной широтой. Между тем, именно поэзия в состоянии стать внимательным проводником в этом долгом и неизбежном пути.

Первые шаги в таком направлении уже сделаны. Творческая эволюция Юрия Кузнецова есть гениальный пример упомянутого мировоззренческого соединения. Интуиция и тонкий вкус поэта позволили ему воссоздать художественную вселенную, в которой непротиворечиво соприкасаются родовое, природное — и нравственное, христианское. У Кузнецова это осуществлено в литературных и мистических границах мифа.

Но реально поэзия может явить читателю древние интуиции в сочетании с просветлённым разумом почти обыденными средствами. Наитие и острое зрение, чувство правды и желание слиться с рекой, дубравой и израненной русской землёй делают стихи Александра Нестругина ещё одной тропой в заповедный мир, где Спасителю послушны и понятны каждый цветок, всплеск волны, дрожание крыльев птицы, причудливое очертание облака.

2

Первые значимые стихотворные опыты Александра Нестругина относятся ко второй половине 1970-х. Спустя десять лет в его поэзии происходит глубокое внутреннее преображение. Будто кто-то вышний придаёт лёгким невозможный прежде объём и глубину дыхания, а голосу — силу, звонкость и редкую способность говорить шёпотом внятно и разборчиво. Если ранее к читателю обращался литературно одарённый, сердечный собеседник, то с этой поры слышишь речь поэта по истине большого.

Поразительно точно и выразительно Нестругин прописывает реальность: бытовое утрачивает собственный стёртый облик и обретает смысловую значимость, лица прохожих становятся отчётливо индивидуальными, словно под карандашом портретиста. Природа в его стихах предстаёт во

взаимосвязи отдельных частей и явлений, а сам автор оказывается включён в её неостановимое движение.

Ещё не улетели ласточки!
Зачем ветра осоку клонят?
Ещё не улетели ласточки,
И стужа никого не тронет.

Столбом не вейся, пыль дорожная,
Леса и луг, не трепещите!
Ещё мы с вами под надёжною,
Под ласточиною защитой...

Столь органичную связь с природой в поэзии теперь встретишь не часто; пейзажные картины её, как правило, описательны и фрагментарны. Тогда как у Нестругина за деталями всегда чувствуется целое и — тоска по целому.

В его строках звук ли, промельк, дуновение будто видятся-слышатся боковым зрением или фоновым слухом. Душа их воспринимает и беспокоится, хотя ум не может пояснить, что же происходит вокруг и в чём заключена тревога. Это — контур таинственного существования человека в природе, когда душа и дыхание мира взаимосвязаны («безлюдно, угрюмо пространство ночное... И кажется: есть кто-то рядом со мною, и он-то в обиду не даст никому...»); «где лог, заросший нехворощей, где луг — не видно ничего. Но стёжка узнаёт на ощупь, и не оставит своего...»). Удивительным образом в поэзии Нестругина сохранился психологический отпечаток древнего русского человека — его внутренняя конституция, чувственное устройство, которые с рациональным современным умом соприкасаются лишь точечно.

Опадает листва...
И становится слышно,
Как трубят,
Как трубят на душе журавли!
Сняли шапки с голов
И на видное вышли
Все деревья
Тревожной
Родимой земли.
Стая ласточек быстрых,
В плохое не веря,
Как на санках,
Катается на сквознях...
Но просёлки уже
Проступили — как вены
На усталых
Осенних
Крестьянских руках.

Нестругинские стихи нередко становятся художественным камертоном прошлого и настоящего. Так, живые степные запахи, идущие издалека или из вчерашнего дня («сломишь кустик полынка, изомнёшь сухие стебли, — сколько дней потом рука будет отзываться степью!...»), есть подобный отклик-отзыв. Он объединяет в себе и смутную родовую память о кочевьях «в Лету канувших племён», и сон о влажном выгоне, «где, от школы вдалеке, сердце лодочкой бумажной пляшет в мартовском ярке».

Природный мир — потаённое царство, которое открывается не каждому. В нём порой наглядны обычно незримые связи между деревом и птицей, травой и речной водой, землёй и изменчивым не-

бом. В стихах Нестругина образы природы слиты один с другим. И сама она предстаёт загадочным целым, которое невозможно разъять на части: «с певчею птахой приложит ко лбу влажную ветку»; «клён-то на ветках не почки качает, а стаю шмелей».

Но природное «всеединство» включает в себя и детей как образ человека с естественно устроенной душой, хотя скорее — с душой, ещё не испорченной непомерным эгоизмом («...деревья рядом с детворой, оказалось, могут улыбаться тёплой морщинистой корой»). Ничего подобного по отношению к взрослым современникам у Нестругина не найти. Более того, лирический герой поэта постоянно соизмеряет собственный внутренний мир с живой внешней средой, учится у неё, говорит с ней, иногда самозабвенно погружается в неё — и не мыслит собственного существования в отрыве от её тайн и многообразия.

Возговори, ночная чаща,
Огня мерцанье обойми!
Нет для меня светлей и слаще,
Роднее звуков меж людьми,

Нет для меня верней, тревожней,
Заветней нескольких минут,
Когда твой шёпот осторожный
Вершины тёмные вернут

Душе, в которой столько мрака
И звёздочка дрожит одна —
По звуку твоему, по знаку
Водой небес вознесена

Над пепелищем и сумою,
Над горькой ляжкой — «за харчи»,
И кажется — над тьмой самую, —
Не этой тьмою, не в ночи...

3

С середины 1980-х в стихах Александра Нестругина начинается тонкое проникновение «природного» начала в социальную сферу и душевную, «совестную» среду обитания лирического героя. Это происходит на фоне ощущения трагизма человеческого существования, кровавых бездн русской истории XX века, невозможности найти «золотую правду» земной жизни.

Одно из лучших стихотворений этих лет, «Встреча», посвящено Геннадию Луткову — воронежскому поэту, в юности осуждённому за участие в работе молодёжной антисталинской группы. В давнем судебном деле много противоречивого и неясного до сих пор — когда и архивы стали доступны исследователям, и мемуарная литература представила читателям свои свидетельства. Отвлекаясь от подробностей прошлого, чрезвычайно важных в иных обстоятельствах, Нестругин изображает встречу лирического героя с «сидельцем», чья судьба искорёжена и незавидна. Мастерски точными штрихами обозначено минувшее, настоящее и выход в будущее:

Устали ответы, затихли вопросы,
В костре головешки, как речка, дымились.
А в банке, где сок был, осенние осы
Тонули, карабкались, плакали, бились...

И что ему вспомнилось в эту минуту?
Суровые годы? Жестокость людская?
Склонился... И подал им тоненький пруттик,
Как будто бы осы те — ценность какая.

А после глядел сквозь кусты чернотала —
И что он там видел, где не было света?
И мне в ту минуту понятнее стало,
Как жить, чтобы стать настоящим поэтом...

Классическая простота стиля позднего Твардовского здесь соединена с волевым авторским импульсом, содержательная сторона которого — увидеть, понять, действовать.

В стихотворении сравнительно малого объёма сосредоточено чрезвычайно много глагольных форм — это, к слову, одна из примет нестругинской поэзии («устали»; «затихли»; «дымились»; «сок был»; «тонули, карабкались, плакали, бились»; «вспомнилось»; «склонился»; «подал»; «глядел»; «видел»; «не было света»; «понятнее стало»; «жить»; «стать настоящим поэтом»). И потому сюжет напряжён до предела, хотя, на первый взгляд, перед читателем-зрителем — вполне статичная мизансцена. Но, по сути, перед нами — вопрошание более позднего творческого поколения. Нравственное и духовное здесь соединились с частным и природно-обычным, за изложением случая возникла судьба и облик «верного пути».

Мир в стихах Александра Нестругина переполнен узнаваемыми деталями и ситуациями. Для поэта реальность становится неисчерпаемым источником коллизий и картин, его перо способно легко создать набросок происходящего — и это будет эскиз живой, дышащий, в котором «персонажи» двигаются, а сюжет развивается. Такое качество письма, редкое по естественности владение изобразительными средствами делают автора одним из лучших художников в нынешней поэзии, более склонной то к умозрительной рассудочности, то к грубой лапидарности предметов.

Нестругин — мастер природных изменений, перехода из одного состояния в другое, из одного времени года — в иное. В этом смысле его поэзия вся посвящена моменту перемен, когда прежнее отходит и не забывается — а новое наступает и ещё не враждебно старому, но лишь слегка эгоистично углублено в самоё себя.

В приложении к социальному пространству это почти недостижимо, особенно в последние годы торжества наживы, рационализма, бессердечной подмены исторической памяти. И на этой черте нашего бытования исключительно важную роль играет родовая преемственность русского человека, долгое время изгоняемая из обихода и праздничного обычая, отделяемая от чувства долга и чести, много раз поруганная — и всё-таки затаённо живая, подсознательно чаемая.

Свидетели горя и славы,
Хранители древних былин,
Редуют донские дубравы,
Редуют...
С восторгом мой сын,
Лещины раздвинувши ветки,
Кричит мне: «Я место нашёл!
Вот эти пеньки — табуретки,
А этот здоровущий — стол...».
И шепчет дубрава мне тихо:
«Удобно, он прав, но окрест
Не слишком ли много таких вот
Удобных для отдыха мест?
Где лишь черноклён да лещина
Жируют, пеньки полоня.
Ты счастлив — ты вырастишь сына,
Но нету детей у меня...».

Минувшее предстаёт тылом и защитой, когда «лишь чернота впереди»: «хорошо, что не продано прошлое — есть к чему прислониться спиной...». Зацветающие на русских холмах воронцы соединяют в себе и судьбу, и родню. И тут скрыт очень важный духовный акцент. Личная судьба, простёртая в будущее, есть продолжение настоящей родни и прошлой — всей уходящей в глубину

времени и земли родовой ветви («там теперь батя мой... Крепко он спит — он не проснётся...»); «знал ты: пугающий космос отверст; знай: и земляца...»).

Будто невидимые и лёгкие корни тянутся от фигуры лирического героя к отчей земле, небу, воде, дому, зверю и птице. Эта странная корневая система не углублена в почву, но пронизывает собою весь объём предметов и чувствований. Тонкая родовая энергетика — не взрывная, а тайно растворённая в пространстве — насыщает русские дали, русские разговоры, русские действия, русские голоса и русские песни.

Русь листок последний сронит —
И тогда заметим мы:
Нет, не нашим ветром клонит
Наши, русские дымы!

Наши травы, наши ветви,
Наши сумрачные дни...
Ну, а где же наши ветры,
Что гуляли искони?

Что шумели, что летали,
Будто духи во плоти,
И смыкали, и сплетали
Годы, судьбы и пути...

Обнимали... Обжигали!
И спасали от невзгод
Синим небушком в прогале
Разгулявшихся погод...

Где ж вы, ветры? Не пора ли
Гикнуть, душу веселя?
Чтоб чужие не орали,
Нашу родину деля...

Удивительное стихотворение, написанное без малейшего аффекта и барабанной декларативности, мягкое, с чувством родного простора и обыкновения, с чувством *своего*. Это ощущение неразрывной связи и неизъяснимой духовной близости крайне сложно передать на словах, особенно сегодня, когда вор и разбойник спокойно вершат своё неправо дело, а чистое сердце унижено и оскорблено («настежь раскрытого времени жаль — остро, по-волчьи!...»; «такое времечко: во тьму степей роняет семечко один репей»).

4

Обладающий зрением художника, Нестругин — замечательный пейзажист. В его стихах природа живёт и меняется, и сопрягается с человеческим бытом и бытием. Годовой поэтический цикл «С рекой» включает в себя самые разные жанровые картины, которые, словно на полотнах русских реалистов конца XIX века, содержат в себе глубину жизни и чуткую мысль о ней, любовь и сострадание к человеку и его истерзанной родине.

Вообще Александра Нестругина по праву можно назвать «человеком равнинной реки». Соединяя в веках народы и земли, река в его поэзии становится Божьей нитью, которая сшивает лоскутное существование современного человека, минуя успех и неудачу, тщеславие и богатство, гражданские свободы и наслаждение. Она стягивает к своим протяжённым берегам леса и луга, вбирает их тайный говор и несёт его в дальнюю даль. «Родовой человек» прорастает сквозь видимое пространство и пласты веков, и даже сквозь горизонт — вместе с течением Реки-воды, с течением Реки-времени...

В его стихах постоянно встречается понятие «текущей воды» («как вода, ударяясь в запруду, оглушённо на круг уходя»; «бурлящая жадно вода»):

Гляди: меж верб сквозит и рдеет,
Впитав закат и холода, —
О нет, не русская идея!
А просто — русская вода.

Её порой рисуют тёмной,
Текущей из глухих болот.
Зачем же к ней идёт бездомный,
Любой обиженный народ?

Конечно, есть трава и тина,
Камыш, глухие рукава...
Но, как душа, жива стремнина,
Сейчас — заметная едва.

Естественно соприкасаясь с землёй в своих берегах и у дна, скрытого глубиной вод, река и озеро отражают небо во всех его изменениях, зримых и метафизических. Обращаясь к речному зеркалу, к властной силе течения, поэт всегда видит знаки небесные, неявный подтекст происходящего. Эта фоновая, важнейшая часть души любого человека откликается в стихотворной строке то скромной приметой, то мыслью о запредельном просторе (тёмный плёс «держит небеса в ладонях, чтоб мы по ним проплыть смогли»). Причём «надмирное», парящее над землёй в поэзии Нестругина не снижает реальность, сводя её к перечню бытовых обстоятельств и деталей, ничтожных по духовному счёту; у него — своё место: это подложка видимых событий и поступков, пространство за границами плотного мира. Тогда как река — место встречи земного и небесного.

Вовсе не глухи вода и камыш,
Немы лишь, немые лишь...
Что ж ты в потёмках пришло и стоишь,
Озеро Немереж?

Я и не звал тебя — просто шептал
Что-то потерянно...
Так, как ольховник, когда облетал
В стынущей темени.

Лист за листом — затихала листва,
О воду торкаясь.
Чтоб пожило в нас хоть час или два —
Тихое, тонкое.

Нет, не волнение, не грусть — полугрусть —
Жизнь недопевшая...
Слышишь, как, торкаясь, просят в грудь
Дни облетевшие?

Вовсе не глухи, не глухи они, —
Немы лишь, немые лишь.
А на всём свете — одни мы, одни,
Озеро Немереж...

В этом примере единения человека и природного окоёма пограничная линия проведена уже не по давнему родовому пунктиру: в тех координатах жизнь человеческая избегала мучительных сомнений. Христианское (или скрыто-христианское, советско-атеистическое, но — с зерном милосердия) правило движения мысли и чувства, понимание собственной вины и ответственности — вот воздух этого стихотворения.

Странное, совершенно не догматическое, живое соединение нравственного поиска с мистикой окружающей среды в поэзии Александра Нестругина не кажется противоречивым. Оно обладает огромным спектром оттенков, опирается на чистейшую по искренности авторскую интонацию, проникновенную любовь к родине. Сюжеты его лирики непредсказуемы, образы и смыслы как будто обладают собственной волей, а автор лишь отчасти направляет течение слов и строк. Предметный реализм Нестругина буквально пронизан «близким дыханием реки» — и дальним отсветом русской православной традиции.

Туда, в ольховник, в снег и темень!
К ветвям — обрубками ветвей...
Как боль доверить мёртвым стенам,
Как в мёртвых стенах — выжить ей?

Умру — и то ведь не проснётся
Мир, ограниченный стеной.
А этот — вздрогнет, и коснётся,
И будет плакать надо мной...

В отличие от множества строк, в которых «есть лозунги, физиология, рифмованная хохлома», в стихах Нестругина «глаз своих поэзия не прячет, как лекари — в остывшую латынь... И сбивчивы её чудные речи: так, шёпот, вздох, касание руки».

Чувство русской неприкаянной души и одухотворённого пространства — в таком художественном поле развёртываются коллизии нестругинских стихотворений. Их автор обладает редкой способностью «очеловечить» природное («октябрь разводит старый сурик, сухую охру в ступке трёт») и «оприроднить» человеческое («мы знакомы рекам и словам»). Уже это свойство делает его фигуру одной из крупнейших в современной отечественной литературе и свидетельствует: русская поэзия по-прежнему волшебна и сильна, содержательна и умна в своих классических формах. И авангард не отменяет её, такую, за якобы слабость средств выражения — но лишь демонстрирует собственную частность, ограниченность, злободневность, не в силах художественно охватить большое и глубокое, тонкое и мгновенное.

...Ширясь и ширясь, выходит из времени лес —
И обнимает озябшие плечи равнин...

В стихотворении «На озере Вольчьем вечерние ветры ворчливы...» вдохновенно воссозданы одиночество лирического героя, загадочная красота земли и дыхание былинного времени. Древний мистицизм перекликается с мятущимся христианским сердцем, их соседство не переходит в тихий спор — тут, скорее, взаимный шёпот, отрывочный, но не прекращающийся.

Над волчьей водою качаются ивы устало,
Но дальнее небо ещё с темнотой не слилось.
И в редких просветах простора щемящего мало,
А было бы много — к чему бы так сердце рвалось...

У Нестругина даже евангельская осина с упрёком и угрозой волшебным образом идёт за Иудой — не только как знак и предмет священной истории, но ещё и как часть природы, низвергнутой в падшее состояние первым грехопадением («Ему Господь, и въяве будь, неведом...»): она исподволь отъединена от общего Спасения предателем, отвергнувшим Христа.

При всех своих очень непростых духовных основаниях поэзия Александра Нестругина плотно соприкасается с современностью.

В последние два десятилетия стихотворная публицистика заполонила страницы журналов и книг, что вполне понятно: разрушенный Советский Союз, в сердцевине которого таилась Россия, был для многих родиной и судьбой. Вековые устои обывательской русской жизни, в советскую эпоху жестоко перемолотые государственным механизмом, но сохранившиеся в памяти стариков и пожилых людей, теперь оказались словно в безвоздушном пространстве. Молодёжь соблазнена идолами успеха и богатства, система передачи духовных приоритетов от старшего поколения младшему осыпается буквально на глазах. И «прямое» слово в творчестве современных русских поэтов — казалось бы, по праву — обрело почти непререкаемую власть. Однако с годами строгие формулы и гневные упрёки будто «натёрли» глаза и уши читателю. Отсутствие художественной глубины стало вызывать недоверие, а громкие стихотворные возгласы, в отсутствие творческого поступка, уже не воспринимаются аудиторией с энтузиазмом. На этом временном и художественном изломе важнейшей задачей художника стало воплощение бытийных черт в бытовом антураже текущего дня. Высокий русский реализм в литературе и живописи понимал такой постулат как сверхзадачу: в частном — увидеть общее, в индивидуальных чертах лица и поступках — типовое, в конкретно-временном — вечное...

В зрелых стихотворениях Александра Нестругина отчётлива тень собственной вины: за то, что не удержал страну — деревню, природу, стариков, детей — на краю обрыва; и русский мир упал в водоворот духовной и нравственной смуты. Понимание своей «удерживающей» роли присуще только очень большим художникам. Оно сопряжено с внутренней готовностью их к самопожертвованию и в огромной степени связано с сердечным восприятием Христова подвига. Здесь же — терпение и стояние в истине, чувство правды и плеча («но за нами — Родная Речь, и стоим мы — плечом к плечу») — братского, родового и духовного, апостольского.

Родина это. Тобою забыта.
Брошенки-избы ласкает паук.
Но ведь окошко одно не забито.
И занавеска качнулась на стук...

Как тут живут — без решёток, без кода,
С тусклою лампочкой в пару свечей?
Сердцем упавшим стукнет щеколда...
Сможешь ответить отчизне — ты чей?

Поэзия знает множество стихотворений, в которых «ушедший в люди» житель почвы возвращается к старой знакомой ветле и покосившейся калитке родного дома. Евангельский мотив «блудного сына» вполне традиционен и, наверное, вечен. Но в нём важны, прежде всего, смысловые и этические нюансы. Как правило, подобное возвращение оказывается следствием или жизненного поражения, или преуспевания — в совсем ином, «не-отчем», месте.

Для Нестругина мотив возвращения — это невозможность личным усилием возделывать родную землю во всех местах, где сокрушённый взгляд автора видит разорение и упадок — и хозяйственный, и бытовой, и человеческий. Потому что вся она, земля, будто живое существо — родная: со своим голосом, слухом, дыханием, наконец — материнским теплом... И становится вполне понятным и естественным стихотворение о русском бурьяне, который «пришёл не цвести, а спасать»:

Чуть ненастье — и всякий без спроса
Станет ломкие стебли бросать
Столбовому пути под колёса.

И, как будто бы в чём-то винась,
Византией, распятым Союзом
Ляжет он в эту веру и грязь,
Под эпоху, летящую юзом.

Я не знаю, кем я вам кажусь —
 Жёлтой налунью, белым туманом?
 Я и донником жить не стыжусь,
 Придорожным сутулым бурьяном.

Лечь в провал дороги, восстановить путь — реальный ли, исторический — подобное самоумаление в творческой среде почти не встречается. Оно может свидетельствовать о скромности автора, о небольшой величине его творческого дарования. Но стоит помнить, что перед нами — тихое уверение самого поэта, неразрывно слитое с его художественным словом, редкой и очень естественной свободой стихотворной речи, образным восприятием мира, которое вбирает в себя и родовые символы и знаки — и христианские акценты.

И станет очевидным, что творческий дар Александра Нестругина не нуждается во внешних отличиях, потому что, попросту говоря, «внутри него — его много». Подобное затаённое чувство присуще только подлинным поэтам, которые могут вести разговор с памятью, временем, почвой, родом и небесами. Хотя высокое у него подаётся крайне просто, тайное показывается — только краешком. А собственное место и заботы в стихах — обыденны и не ярки, в отличие от текстов столичных «медийных» авторов.

А ноябрь опять распушил кугу,
 Белым крестиком стёжка вышита.
 Ну, а вам-то что? Вы в своём кругу,
 Грудь на грудь сойдясь, рвёте-пишете.

Рвёте-пишете — помогай Господь,
 Ведь и я ищу осиянное.
 Котелок со мной да сольцы щепоть,
 Ложка древняя, деревянная.

Рвёте-пишете — чтоб ноздря в ноздю
 Выйти к финишу... Я ж за гаткою
 Бирючков ловлю да уху творю,
 Да всё мучаюсь над загадкою:

В кабаках уха — кулинарный рай,
 И стерляжий сок — жёлтой биркою,
 А губам подай — стёртой ложки край,
 Ложки батиной, со шербинкою...

Практически все нестругинские стихотворения — подчас еле уловимо — окрашивает тоска по природной свободе. В ней и отзвук смертной доли каждого живущего, и придавленная слоем времени родовая память о взаимной гармонии человека, земли и воды.

В поэме «У переправы» с жёсткого троса срывается паром и уходит вниз по течению реки, будто преодолевает назначенную ему узкую судьбу и соединяется с движением стихии, вековечным, мерным — но всегда новым...

Этот образ плена и воли, сделанного шага и упоительного, согласного с космосом движения — по существу, один из центральных в творчестве Александра Нестругина. В нём сокровенная внутренняя музыка поэта, слова «с запинкой» — и дрожь мокрых листьев, незатаивающая зыбь речной воды:

Не надо плакать — вечность прожита.
 Мерцает солнце мутным рыбьим зраком.
 Я не вернусь из белого листа
 Ни буквою, ни деревом, ни злаком.

Я в нём давным-давно уже кружу,
Наст проминаю даже тёмной ночью.
И обернусь порой, и погляжу:
А где мой след? — вокруг одни сорочки.

Смотала пряжу всю с веретена
Кабы швея, а то — змея-позёмка.
И за мою колготой она
И день, и ночь приглядывает зорко.

И ведом путь мой только ей одной:
Она скользнёт, ровняя снег — и баста.
Но если кто-то вдруг пойдёт за мной,
На ощупь, — я сломал железо наста...



Критика

Владислав Краснов

Владислав Краснов, доктор философии, бывший профессор и директор Русского Отдела Монтерейского Института Международных Исследований в Калифорнии, живёт в Вашингтоне, где возглавляет организацию RAGA.org.

Рецензия на книгу Дмитрия Тамойкина «Советские ювелирные изделия»

Что бы читатель ни думал об СССР и большевистской революции вообще, никто не может отрицать, что это было абсолютно УНИКАЛЬНОЕ явление не только в России, но и в мировой истории [1]. Как ни странно, Советское государство и возникло, и исчезло неожиданно и в одночасье, как фантом. И так же быстро было забыто. А ведь существовало-то оно удивительно долго, почти 73 года, слишком долго для фантома, определившего ГЛАВНОЕ содержание 20-го века.

Уникальность книги канадского бизнесмена Дмитрия Тамойкина «Soviet jewelry» — в трёх томах — в том, что она привлекла внимание предприимчивого западного сообщества к теме, о которой обыватель ничего не знал и знать не хотел. Сейчас книга эта доступна, в основном на Украине, на русском языке в одном томе «Советские ювелирные изделия», с цветными иллюстрациями и в твёрдом переплёте. И уже нуждается в срочном переиздании.

Книга состоит из трёх частей: 1) об истории советской ювелирной продукции, 2) каталога клейм советского периода и 3) руководства для потенциального коллекционера и/или инвестора. Автор знает своё дело. Он начал составлять свою коллекцию ещё в 2006 году и вскоре вошёл в инвестиционный бизнес, переросший в SovietJewelry.com /USSRJewelry.com, одну из ведущих мировых фирм.

Преуспев в своём деле, Дмитрий Тамойкин приглашает в русском издании книги российских коллекционеров и инвесторов взглянуть на советские ювелирные изделия не как побочный продукт неудавшегося общественного эксперимента, а как чрезвычайно редкие и потому потенциально чрезвычайно ценные предметы коллекционирования. Уникальны они ещё и потому, что советская идеология всегда трактовала ювелирные украшения, как дань буржуазным предрассудкам, мещанским вкусам, пережиткам прошлого и низкопоклонству перед Западом.

Помните как в «лихие 90-е» на лестницах станций метро в Москве, на железнодорожных вокзалах и на базарах всей страны продавались за бесценок не только обручальные кольца и юбилейные кулоны, но и редчайшие боевые награды и ордена? Даже в начале нового тысячелетия, в связи с ростом цен на золото, они продавались «на вес золота», то есть как металлолом для выплавки из них золотого содержания, без малейшего учёта их исторической значимости, уникальности их судьбы и своеобразия эстетического оформления.

Теперь же интерес к советским ювелирным изделиям как предметам коллекционирования и инвестиций решительно набирает обороты. Поэтому, поскольку первое русское издание книги уже разошлось (в основном, на Украине), назрела срочная необходимость второго издания для российского читателя.

Автор далеко не апологет «Красной Империи» и советского эксперимента. Но всегда подчёркивает, что ювелирное производство, будучи «единственным непритеснённым искусством в Советском Союзе» (с. 26), интересно само по себе. Более того, он взывает к патриотизму российских коллекционеров. «Если мы забудем о Советском Союзе, то автоматически забудем и свою историю. Поступая так, мы только лишаем себя всемирно важных событий, которые сформировали этот мир».

Если Нью Йоркские биржевики и звёзды Голливуда зарабатывают на бренде «СССР», рассуждает Тамойкин, почему бы российским патриотам, знающим всю подноготную советского ювелирного дела, не заняться тем же самым? Доскональное знакомство с советскими реалиями могло бы дать огромное преимущество российским ценителям искусства, как в коллекционировании, так и в инвестициях.



Дмитрий Тамойкин

В отличие от западных ценителей искусства, Тамойкин считает, что есть объективные критерии, которые делают советские ювелирные изделия объектом интереса самых взыскательных коллекционеров и самых ясновидящих инвесторов. Ещё в 2004 году, совместно с отцом, он получил первый патент в России на Устройство для оценки предметов коллекционирования (№ 2264654). Сейчас они закрепили свои права на свои интеллектуальные «ноу-хау» Торговой Маркой (Канада, № ТМА768-836) и Авторскими Правами (Канада, № 1065138 / 1071091 / 1071092 / 1076203 / 1076943).

В пике субъективизму в оценке ювелирных изделий, Тамойкины формулируют новую методологию с упором на такие объективные критерии, как дата изготовления, страна и год происхождения, а также данные о предыдущих владельцах и т. п. Хотя какая-то доля субъективности неизбежна, методология Тамойкиных создаёт определённый

вектор в оценке и сильно ограничивает произвол, как и преступные сговоры между продавцами, беззастенчивыми поставщиками и крышующими их структурами.

Методология Тамойкиных в оценке произведений искусства соответствует их цели как коллекционеров и коммерческих вкладчиков. Эту цель они определяют, как «Спасение своих предметов, ваших фамильных ценностей и того, что вам дорого. Спасение национальных шедевров. Наконец, спасение всего мирового антикварно-музейного рынка, а через него — культуры народов».

Тамойкины не зовут читателей ограничиться альтруистическими и благотворительными целями. Дмитрий Тамойкин в своей новой книге без обиняков пишет, что «золотые украшения, сделанные в Советском Союзе, являются одним из наиболее перспективных активов на сегодняшний день». И ещё конкретнее: «С 2007 года, когда я впервые обнаружил скрытый потенциал советского золота, его стоимость возросла более чем на 500%. Это, заметьте, живые цифры из eBay» (крупнейший интернет магазин).

Да, Дмитрий не теоретик, а практик своего дела. Как он пишет на стр. 237, «...поскольку я работал на всех трёх рынках — товарном, финансовом и рынке искусства, то могу сказать вам, что советское золото (и серебро) — это новый уникальный инвестиционный актив, который быстро растёт в цене и может сделать вам крупные деньги. Я очень много инвестировал в него сам и надеюсь, что

после прочтения этой книги вы последуете моему примеру. Как видите, я рискую вместе с вами, да и значительно больше, чем средний инвестор. Так что мы с вами в одной лодке».

На этой доверительной ноте можно бы и завершить наш обзор. Остаётся только пожелать, чтобы нашлись российские издатели этой книги, так чтобы дело сохранения советского культурного наследия — да и деньги, связанные с ним — не уплыли полностью за границу.

Не сомневаюсь, что для вящей убедительности, Дмитрий мог бы создать серию видеофильмов и на русском языке, которым он владеет не хуже английского. Его книга прекрасно иллюстрирована и читается легко, как путеводитель. Про неё можно сказать: «Тонкая ювелирная работа!»

1. Историческая справка. По глубине экономического, социального, и духовного переворота Великая Октябрьская Социалистическая Революция беспрецедентна. Большевистскую революцию 1917 года в России часто сравнивают с Великой Французской революцией 18 века, которая, однако, каких-нибудь десять лет (1789—1799) прежде,





чем выродилась в наполеоновские войны, реставрацию династии Бурбонов и пародийную монархию Наполеона III.

Большевики же, назвав себя коммунистами, с удивительным упорством держались за те же догмы в 1991, что и в 1917. А СССР сохранял тот же герб с серпом и молотом на фоне земного шара с тем же лозунгом в шапке всех советских газет: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Это вам не несколько лет якобинства во Франции, не двенадцать лет нацизма в Германии, не двадцать лет фашизма в Италии и не двадцать пять лет франкизма в Испании. 73 года существования советского государства это три поколения людей, воспитанных в условиях тоталитарного режима. Цели всемирной пролетарской революции они не добились, но не из-за недостатка старания: они добились национализации, коллективизации, подавления религии, индустриализации, бесплатного образования, развития науки и космонавтики (не говоря уж о чистках и ГУЛАГе), всё это под эгидой «единственно верной идеологии».

По глубине и размаху задуманных и проведённых перемен Октябрьский переворот 1917 года сопоставим, пожалуй, только с реформами фараона Аменхотепа IV (Эхнатона) в XIV веке до н. э. в Древнем Египте. Но и реформы Эхнатона ограничились, главным образом, духовной сферой: подавлением жречества и заменой многобожия на поклонение одному Богу Солнца Атону. И продолжались они не 73 года, а всего 17 лет.

ВКрасн

Наши друзья

Дальневосточный журнал «Сихотэ-Алинь»: haos216@mail.ru Почтовый адрес: 690003, Владивосток, ул. Авраменко, д.17, кв. 65

Литературный журнал «Наш современник»: nash-sovremennik.ru

Журнал «Великоросс»: http://www.velykoross.ru/journals/all/journal_29/article_1253/

Журнал «Экоград» Москва: <http://ekogradmoscow.ru/novosti/novosti-press-sluzhb/zhurnal-berega-pobedil-v-konkurse-zhurnalistikogo-masterstva-slava-rossii>

Виртуальный салон искусств «Преголя-арт»: <http://pregolia-art.com>

Международный пресс-клуб: <http://www.pr-club.com/>

Русский народный дом: <http://rusnardom.ru/russkaya-literatura/poeziya/intervyu-yunnyi-morits/>

Журнал «Воин России»: voin-rossii.ru

Журнал «Новая Немига литературная»

Портал Переправа <http://pereprava.org/>

Общество Русско-Американской дружбы «Добрая Воля» в Вашингтоне www.raga.org

Русская народная линия ruskline.ru